
В. Г. КОРОЛЕНКО

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ



Собрание сочинений
в шести томах



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1971

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
К. И. Тюнькина

Иллюстрации художника
П. Н Пинкисевича.

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ



Без языка

Рассказ

I

На моей родине, в Волынской губернии, в той ее части, где холмистые отроги Карпатских гор переходят постепенно в болотистые равнины Полесья, есть небольшое местечко, которое я назову Хлебно. С северо-запада оно прикрыто небольшой возвышенностью. На юго-восток от него раскинулась обширная равнина, вся покрытая нивами, на горизонте переходящими в синие полосы еще уцелевших лесов. Там и сям, особенно под лучами заходящего солнца, сверкают широкие озера, между которыми змеятся узенькие, пересыхающие на лето речушки.

Сторона спокойная, тихая, немного даже сонная. Местечко похоже более на село, чем на город, но когда-то оно знало если не лучшие, то во всяком случае менее дремотные дни. На возвышенности сохранились еще следы земляных окопов, на которых теперь колышется трава, и пастух старается передать ее шепот на своей нехитрой дудке, пока общественное стадо мирно пасется в тени полузасыпанных рвов...

Невдалеке от этого местечка, над извилистой речушкой, стоял, а может, и теперь еще стоит, небольшой поселок. Речка от лозы, обильно растущей на ее берегах, получила название Лозовой; от речки поселок назван Лозищами, а уже от поселка жители все сплошь

носят фамилии Лозинских. А чтобы точнее различить друг друга, то Лозинские к общей фамилии прибавляли прозвища: были Лозинские птицы и звери, одного звали Мазницей, другого Колесом, третьего даже Голенищем...

Трудно сказать, когда этот поселок засел под самым боком у города. Было это еще в те времена, когда на валах виднелись пушки, а пушкари у них постоянно сменялись: то стояли с фитилями поляки, в своих пестрых кунтушах, а казаки и «голота» подымали кругом пыль, облегая город... то, наоборот, из пушек палили казаки, а польские отряды кидались на окопы. Говорили, будто Лозинские были когда-то «реестровыми» казаками и получили разные привилегии от польских королей. Ходили даже слухи, будто они были когда-то и за что-то пожалованы дворянством.

Все это, однако, давно забылось. В шестидесятых годах умер столетний старик Лозинский-Шуляк. В последние годы он уже ни с кем не разговаривал, а только громко молился или читал старую славянскую библию. Но люди еще помнили, как он рассказывал о прежних годах, о Запорожье, о гайдамаках, о том, как и он уходил на Днепр и потом с ватажками нападал на Хлебно и на Клевань, и как осажденные в горящей избе гайдамаки стреляли из окон, пока от жара не лопались у них глаза и не взрывались сами собой пороховницы. И старик сверкал дикими потухающими глазами и говорил: «Гей-гей! Было когда-то наше время... Была у нас свобода!..» А лозищане — уже третье или четвертое поколение,— слушая эти странные рассказы, крестились и говорили: «А то ж не дай господи боже!»

Сами они давно уже запахали в землю все привилегии и жили под самым местечком ни мужиками, ни мещанами. Говорили как будто по-малорусски, но на особом волынском наречии, с примесью польских и русских слов, исповедывали когда-то греко-униатскую веру, а потом, после некоторых замешательств, были причислены к православному приходу, а старая церковка была закрыта и постепенно развалилась... Пахали землю, ходили в белых и серых свитах, с синими или красными поясами, штаны носили широкие, шапки ба-

раньи. И хотя, может быть, были беднее своих соседей, но все же смутная память о каком-то лучшем прошлом держалась под соломенными стрехами лозищанских хат. Ходили лозищане чище крестьян, были почти все грамотны по-церковному, и об них говорили, что они держат себя слишком гордо. Правда, это очень трудно было бы заметить постороннему, потому что при встрече с господами или начальством они так же торопливо сворачивали с дороги, так же низко кланялись и так же иной раз целовали смиренно господские руки. Но все-таки было *что-то*, и опытные люди *что-то* замечали. О лозищанах говорили, что они *что-то* вспоминают, о *чем-то* воображают и *чем-то* недовольны. Действительно, на обычные вопросы при встречах: «Как себе живете?» или: «Как вам бог помогает?» — лозищане, вместо «слава богу», только махали рукой и говорили: «А, какая там жизнь!» или: «Живем, как горох при дороге!» А иные, посмелее, принимались рассказывать иной раз такое, что не всякий соглашался слушать. К тому же у них тянулась долгая тяжба с соседним помещиком из-за чинша, которую лозищане сначала проиграли, а потом вышло как-то так, что наследник помещика уступил... Говорили, что после этого Лозинские стали «еще гордее», хотя не стали довольнее.

И нигде так радушно не встречали заезжих людей, которые могли порассказать кое-что о широком белом свете.

II

Так же вот жилось в родных Лозищах и некоему Осипу Лозинскому, то есть жилось, правду сказать, неважно. Земли было мало, аренда тяжелая, хозяйство беднело. Был он уже женат, но детей у него еще не было, и не раз он думал о том, что когда будут дети, то им придется так же плохо, а то и похуже. «Пока человек еще молод,— говаривал он,— а за спиной еще не пищит детвора, тут-то и поискать человеку, где это затерялась его доля».

Не первый он был и не последний из тех, кто, попрощавшись с родными и соседями, взяли, как говорится, ноги за пояс и пошли искать долю, работать, биться с лихой нуждой и есть горький хлеб из чужих печей

на чужбине. Немало уходило таких неспокойных людей и из Лозищей, уходили и в одиночку, и парами, а раз даже целым гуртом пошли за хитрым агентом-немцем, пробравшись ночью через границу. Только все это дело кончалось или ничем, или еще хуже. Кто возвращался ободранный и голодный, кого немцы гнали на веревке до границы, а кто пропадал без вести, затерявшись где-то в огромном божьем свете, как маленькая булавка в омете соломы.

Лозинский Осип был, кажется, еще первый, который не пропал и отыскался. Человек, видно, был с головой, не из тех, что пропадают, а из тех, что еще других выводят на дорогу. Как бы то ни было,— через год или два, а может и больше, пришло в Лозищи письмо с большою рыжею маркой, какой до того времени еще и не видывали в той стороне. Немало дивились письму, читали его и перечитывали в волости и писарь, и учитель, и священник, и много людей позначительнее, кому было любопытно, а, наконец, все-таки вызвали Лозинскую и отдали ей письмо в разорванном конверте, на котором совершенно ясно было написано ее имя: Катерине Лозинской, жене Лозинского Иосифа Оглобли, в Лозищах.

Письмо было от ее мужа, из Америки, из губернии Миннесота, а какого уезда и села, теперь сказать очень трудно, потому что... Впрочем, это будет видно дальше.

В письме было написано, что Лозинский, слава богу, жив и здоров, работает на «фарме» и, если бог поможет ему так же, как помогал до сих пор, то надеется скоро и сам стать хозяином. А впрочем, и работником там ему лучше, чем иному хозяину в Лозищах. Свобода в этой стороне большая. Земли довольно, коровы дают молока по ведру на удой, а лошади — чистые быки. Человека с головой и руками уважают и ценят, и вот даже его, Лозинского Осипа, спрашивали недавно, кого он желает выбрать в главные президенты над всею страной. И он, Лозинский, подавал свой голос не хуже людей, и хоть правду сказать, сделалось не так, как они хотели со своим хозяином, а все-таки ему понравилось и то, что человека, как бы то ни было, спросили. Одним словом, свобода и все остальное очень хорошо. Только Лозинскому очень скучно без жены, и потому он старал-

ся работать как только можно, и первые деньги отдал за *тикет*, который и посылает ей в этом письме. А что такое *тикет*, так это вот эта самая синяя бумажка, которую надо беречь, как зеницу ока. На ней нарисован паровоз с вагонами и пароход. Это значит, что по этому билету Лозинскую повезут теперь даром и по земле, и по воде,— стоит ей только доехать до немецкого города Гамбурга. А на другие расходы пусть продаст избу, корову и имущество.

Пока Лозинская читала письмо, люди глядели на нее и говорили между собой, что вот и в какой пустой бумажке какая может быть великая сила, что человека повезут на край света и нигде уже не спросят плату. Ну, разумеется, все понимали при этом, что такая бумажка должна была стоить Осипу Лозинскому немало денег. А это, конечно, значит, что Лозинский ушел в свет не напрасно и что в свете можно-таки разыскать свою долю...

И всякий подумал про себя: а хорошо бы и мне... Писарь (тоже лозищанин родом), и тот не сразу отдал Лозинской письмо и билет, а держал у себя целую неделю и думал: баба глупая, а с такой бумагой и кто-нибудь поумнее мог бы побывать в Америке и поискать там своего счастья... Но на билете было совершенно ясно, хоть и не по-нашему, написано: mississ Katharina Ioseph Losinsky-Oglobla. Иосиф Лозинский и Оглобля — это бы, конечно, еще ничего, но Катерина — это уже было ясно, что женщина, да и mississ тоже, пожалуй, обозначает бабу. Одним словом, хотя и в последнюю минуту писарь все еще как-то вздыхал и неприятно косился, вынимая из стола билет, который у него был припрятан особо, но все-таки отдал. Лозинская взяла его, села на лавку и горько заплакала.

Разумеется, она была рада письму, да ведь и от радости тоже плачут. Притом все-таки приходилось покинуть и родную деревню, и родных, и соседей. Затем, нужно сказать, что Лозинская была баба молодая и, как говорится, гладкая. Без мужа мало ли беды,— не видела проходу хотя бы и от этого самого писаря, а на духу приходилось признаваться, что и «враг» не оставлял ее в покое. Нет-нет, да и зашепчет кто-то на ухо, что Осип Лозинский далеко, что еще никто из

таких далеких стран в Лозищи не возвращался, что, может, вороны растаскали уже и мужнины косточки в далекой пустыне, а она тут тратит напрасно молодые лета — ни девкой, ни вдовой, ни мужниной женой. Правда, что Лозинская была женщина разумная и соблазнить ее было не легко, но что у нее было тяжело на душе, это оказалось при получении письма: сразу подкатили под сердце и настоящая радость, и прежнее горе, и все грешные молодые мысли, и все бессонные ночи с горячими думами. Одним словом, упала Лозинская в обморок, и пришлось тут ее родному брату Матвею Лозинскому, по прозванию Дышло, нести ее на руках в ее хату.

И пошел по деревне говор. Осип Лозинский разбогател в Америке и стал таким важным человеком, что с ним уже советуются, кого назначить в президенты... Стали молодые люди почасту гостить в корчме, пьют пиво и мед, курят трубки, засиживаются за полночь, шумят, спорят и хвастают. Кто бы послушал эти толки, то подумал бы, что не останется в Лозищах ни одного молодого человека к филипповкам... Если уже Осипа спрашивали, кого он хочет в президенты, то что там наделают другие, получше Осипа!.. Потому что там — свобода!

Свобода! Это слово частенько-таки повторялось в шинке еврея Шлемы, спокойно слушавшего за своей стойкой. Правду сказать, не всякий из лозищан понимал хорошенько, что оно значит. Но оно как-то хорошо обращалось на языке, и звучало в нем что-то такое, от чего человек будто прибавлялся в росте и что-то будто вспоминалось неясное, но приятное... Что-то такое, о чем как будто бы знали когда-то в той стороне старые люди, а дети иной раз прикидываются, что и они тоже знают...

Ну, да ведь мало ли кто о чем говорит! Поговорили, пошумели и бросили. И, может, уже забыли и тянут лямку, как вол в борозде, а может, говорят и до сих пор, все на том же месте. А все-таки отыскались тут два человека из таких, что не любят много говорить, пока не сделают... Подумали, потолковали на стороне друг с другом и принялись продавать хаты и землю. Продавать-то было, пожалуй, немного, и, когда все это дело покон-

чили, тогда и объявили: едем и мы с Осиповой Лозихою, чтобы ей одной не пропасть в дороге.

Один приходился ей близким человеком: это был ее брат, Матвей Дышло, родной правнук Лозинского-Шуляка, бывшего гайдамака,— человек огромного роста, в плечах сажень, руки, как грабли. голова белокурая, курчавая, величиною с добрый котел,— настоящий медведь из пущи. Говорили, что он наружностью походил на деда. Только глаза и сердце — как у ребенка. Женат он еще не был, изба у него была плохая, а земли столько, что если лечь такому огромному человеку поперек полосы, то ноги уже окажутся на чужой земле. Говорил мало, смеялся редко. У него была старая дедовская библия, которую он любил читать, и часто думал что-то про себя стыдливо и печально. Никогда его в Лозищах умным не считали, и парни нередко издевались над ним, может быть потому, что он, несмотря на свою необычайную силу, драться не любил.

Был у него задушевный приятель, Иван Лозинский Дыма, человек уже совсем другого рода: небольшого роста, не сильный, но веселый, разговорчивый и острый. Дыма был сухощав, говорлив, подвижен, волосы у него торчали щетиной, глаза бегали и блестели, язык имел быстрый, находчивый, усы носил длинные, по-казачьи,— книзу. Никто его дураком не считал, и он никому не давал спуску. Но если кого заденет своим колючим словом, то уже, бывало, все старается держаться поближе к Матвею, потому что на руку был не силен и в драке ни с кем устоять не мог.

Когда узнали в Лозищах, что и эти двое собрались в Америку, то как-то всем это стало неприятно.

— Да где же тебе, Матвей,— говорили приятели,— в такую даль забираться? Ты глуп, а Иван слаб. Да вас там в Америке гуси затопчут.

Но Матвей отвечал:

— Будет, что бог даст. А я от сестры да от Дымы не отстану.

Так и поехали втроем в дальнюю дорогу... Не стоит описывать, как они переехали через границу и проехали через немецкую землю; все это не так уж трудно. К тому же в Пруссии немало встречалось и своих людей, которые могли указать, как и что надо делать

дорогой. Довольно будет сказать, что приехали они в Гамбург и, взявши свои пожитки, отправились, не долго думая, к реке, на пристань, чтобы там узнать, когда следует ехать дальше.

А Гамбург немецкий город, стоит на большой реке, не очень далеко от моря, и оттуда ходят корабли во все стороны. Вот видят наши лозищане в одном месте, на берегу, народу видимо-невидимо, бегут со всех сторон, торопятся и толкаются так, как будто человек — какое-нибудь бревно на проезжей дороге. А с берега, от пристани, два пароходика все возят народ на корабль, потому что корабли, которые ходят по океану, стоят на середине поодаль, на самом глубоком месте. Видят лозищане, что один корабль дымится, а к нему то и дело пристают пароходы. Выкинут в него народ, сундуки, узлы и чемоданы — и тотчас же опять к пристани, и опять нагружаются, и везут снова.

Вот Иван Дыма, рассмотревши все хорошенько, догадался первый.

— А знаете,— говорит,— что я вам скажу: это, должно быть, корабль в Америку, потому что очень велик. Вот мы и попали как раз. Давай, Матвей, пробираться вперед.

Поставили они женщину с билетом впереди и пошли проталкивать ее между народом. Дошли до самого края пристани, а там уж, видно, последнюю партию принимают. Боже мой, что только творилось на этой пристани: и плачут, и кричат, и смеются, и обнимаются, и ругаются, и машут платками. И редкое лицо не взволновано, и на редких глазах не сверкают прощальные слезы... И все кругом,— чужой язык звучит, незнакомая речь хлещет в уши, непонятная и дикая, как волна, что брызжет пеной под ногами. Закружились у наших лозищан головы, забились сердца, глаза так и впились вперед, чтобы как-нибудь не отстать от других, чтобы как-нибудь их не оставили в этой старой Европе, где они родились и прожили полжизни...

Матвею Лозинскому не трудно было пробить всем дорогу, и через две минуты Лозинская стояла уже со своим сундуком у самого мостика и в руках держала билет. А пароходик уже свистнул два раза жалобно и тонко. и черный дым пыхнул из его трубы в сы-

рой воздух,— видно, что сейчас уходить хочет, а пока лозищане оглядывались,— раздался и третий свисток, и что-то заклокотало под ногами так сильно, что наши даже вздрогнули и невольно подались назад. А в это время какой-то огромный немец, с выпученными глазами и весь в поту, суетившийся всех больше на пристани, увидел Лозинскую, выхватил у нее билет, посмотрел, сунул ей в руку, и не успели лозищане оглянуться, как уже и женщина, и ее небольшой узел очутились на пароходике. А в это время два других матроса сразу двинули мостки, сшибли с ног Дыму, отодвинули Матвея и выволокли мостки на пристань. Кинулись наши лозищане к высокому немцу.

— А побойся ты бога, человече! — закричал ему Дыма.— Да это же наша родная сестра, мы хотим ехать вместе.

Дыма, конечно, схитрил, называя себя родным братом Лозинской, да какая уж там к черту хитрость, когда немец ни слова не понимает. А тут пароходик отваливает, а с парохода Катерина так разливается, что даже изо всех немецких голосов ее голос слышен. Завернули лозищане полы, вытащили, что было денег, положили на руки, и пошел Матвей опять локтями работать. Стали опять впереди, откуда еще можно было вскочить на пароход, и показывают немцу деньги, чтобы он не думал, что они намерены втроем ехать по одному бабьему билету. Дыма так даже отобрал небольшую монетку и тихонько сунул ее в руку немцу. Сунул и сам же зажал ему руку, чтобы монета не вывалилась, и показывает ему на пароходик и на женщину, которая в это время уже начала терять голос от испуга и плача...

Ничего не вышло! Немец, положим, монету не бросил и даже сказал что-то довольно приветливо, но когда наши друзья отступили на шаг, чтобы получше разбежаться и вскочить на пароходик, немец мигнул двум матросам, а те, видно, были люди привычные: сразу так принялись за обоих лозищан, что нечего было думать о скачке.

— Матвей, Матвей,— закричал было Дыма,— а нука, попробуй с ними по-своему. Как раз теперь это и нужно! — Но в это время оба отлетели, и Дыма упал, задравши ноги кверху.

Когда он поднялся,— пароходик уже скользил, поворачиваясь, вдоль пристани. Показались кожухи, заворочались колеса, обдавая пристань мутными брызгами, хвост дыма задел по лицам густо столпившуюся публику, потом мелькнуло заплаканное лицо испуганной Лозинской, и еще через минуту — между пристанью и пароходом залегла бурливая и мутная полоса воды в две-три сажени. Колеса ударили дружнее, и полоса растянулась в десять-двадцать сажен, а пароходик стал уменьшаться, убегая среди мглистого воздуха, под мутным небом, по мутной реке...

Лозищане глядели, разинувши рты, как он пристал к одному кораблю, как что-то протянулось с него на корабль, точно тонкая жердочка, по которой, как муравьи, поползли люди и вещи. А там и самый корабль дохнул черным дымом, загудел глубоким и гулким голосом, как огромный бугай в стаде коров,— и тихо двинулся по реке, между мелкими судами, стоявшими по сторонам или быстро уступавшими дорогу.

Лозищане чуть не заплакали, провожая глазами эту громаду, увезшую у них из-под носа бедную женщину в далекую Америку.

Народ стал расходиться, а высокий немец снял свою круглую шляпу, вытер платком потное лицо, подошел к лозищанам и ухмыльнулся, протягивая Матвею Дышлу свою лапу. Человек, очевидно, был не из злопамятных; как не стало на пристани толкотни и давки, он оставил свои манеры и, видно, захотел поблагодарить лозищан за подарок.

— Вот видишь,— говорит ему Дыма. — Теперь вот кланяешься, как добрый, а сам подумай, что ты с нами наделал; родная сестра уехала одна. Поди ты к черту! — Он плюнул и сердито отвернулся от немца.

А в это время корабль уже выбрался далеко, подымил еще, все меньше, все дальше, а там не то, что Лозинскую, и его уже трудно стало различать меж другими судами, да еще в тумане. Защекотало что-то у обоих в горле.

— Собака ты, собака! — говорит немцу Матвей Дышло.

— Да! говори ты ему, когда он не понимает,— с досадой перебил Дыма.— Вот если бы ты его в свое вре-

мя двинул в ухо, как я тебе говорил, то, может, так или иначе, мы бы теперь были на пароходе. А уж оттуда все равно в воду бы не бросили! Тем более у нас сестра с билетом!

— Кто знает,— ответил Матвей, почесывая в затылке.— Правду тебе сказать,— хоть оно двинуть человека в ухо и недолго, а только не видал я в своей жизни, чтобы от этого выходило что-нибудь хорошее. Что-нибудь и мы тут не так сделали, верь моему слову. Твое было дело — догадаться, потому что ты считаешься умным человеком.

Как это бывает часто, приятели старались свалить вину друг на друга. Дыма говорит: надо было помочь кулаком, Матвей винит голову Дымы. А немец стоит и дружелюбно кивает обоим...

Потом немец вынул монету, которую ему Дыма сунул в руку, и показывает лозищанам. Видно, что у этого человека все-таки была совесть; не захотел напрасно денег взять, щелкнул себя пальцем по галстуку и говорит: «Шнапс», а сам рукой на кабачок показал. «Шнапс», это на всех языках понятно, что значит. Дыма посмотрел на Матвея, Матвей посмотрел на Дыму и говорит:

— А что ж теперь делать. Конечно, надо идти. Пешком по воде не побежишь, а от этого немецкого черта все-таки, может, хоть что-нибудь доберемся...

Пошли. А в кабаке стоит старый человек, с седыми, как щетина, волосами, да и лицо тоже все в щетине. Видно сразу: как ни бреется, а борода все-таки из-под кожи лезет, как отава после хорошего дождя. Как увидели наши приятели такого шероховатого человека посреди гладких и аккуратных немцев, и показалось им в нем что-то знакомое. Дыма говорит тихонько.

— Это, должно быть, минский или могилевский, а то из Пущи.

Так и вышло. Поговоривши с немцем, кабатчик принес четыре кружки с пивом (четвертую для себя) и стал разговаривать. Обругал лозищан дураками и объяснил, что они сами виноваты.

— Надо было зайти за угол, где над дверью написано «Billetenkasse». Billeten,— это и дураку понятно, что значит билет, а Kasse так касса и есть. А вы лезете, как стадо в городьбу, не умея отворить калитки.

Матвей опустил голову и подумал про себя: «Правду говорит — без языка человек, как слепой или малый ребенок». А Дыма, хоть, может быть, думал то же самое, но, так как был человек с амбицией, то стукнул кружкой по столу и говорит:

— Долго ли ты будешь ругаться, старый! Лучше принеси еще по кружке и скажи, как нам теперь быть.

Всем это понравилось,— увидели, что человек с самолюбием и находчивый. Немец потрепал Дыму по плечу, а хозяин принес опять четыре кружки на подносе.

— Ну, как же нам ее догонять? — спрашивает Дыма.

— Беги за ней, может, догонишь,— ответил кабатчик.— Ты думаешь, на море, как в поле, на телеге. Теперь,— говорит,— вам надо ждать еще неделю, когда пойдет другой эмигрантский корабль, а если хотите, то заплатите подороже: скоро идет большой пароход, и в третьем классе отправляется немало народу из Швеции и Дании наниматься в Америке в прислуги. Потому что, говорят, американцы народ свободный и гордый, и прислуги из них найти трудно. Молодые датчанки и шведки в год-два зарабатывают там хорошее приданое.

— Пожалуй, дорого,— сказал Дыма, но Матвей возразил:

— Побойся ты бога! Ведь женщину нельзя заставлять ждать целую неделю. Ведь она там изойдет слезами.— Матвею представлялось, что в Америке, на пристани, вот так же, как в селе у перевоза, сестра будет сидеть на берегу с узелочком, смотреть на море и плакать...

Переночевали у земляка, наутро он сдал лозищан молодому шведу, тот свел их на пристань, купил билеты, посадил на пароход, и в полдень поплыли наши Лозинские — Дыма и Дышло — догонять Лозинскую Оглоблю...

III

Проходит день, проходит другой. Солнце садится в море с одной стороны, наутро подымается из моря с другой. Плещет волна, ходят туманные облака, летают за кораблем чайки, садятся на мачты, потом как будто от-

рываются от них ветром и, колыхаясь с боку на бок, как клочки белой бумаги, отстают, отстают и исчезают назади, улетая обратно, к европейской земле, которую наши лозищане покинули навеки. Матвей Лозинский провожает их глазами и вздыхает. Вот, думает он: и чайка боится лететь дальше, а мы полетели. И рисуется перед ним сосновый лес, под лесом речка с бледною лозой, над речкой — бедные соломенные хаты. И кажется,— вернулся бы назад к прежней беде, родной и знакомой.

А море глухо бьет в борты корабля, и волны, как горы, подымаются и падают с рокотом, с плеском, с глухим стоном, как будто кто грозит и жалуется вместе. Корабль клонит-клонит, вот, кажется, совсем перевернется, а там опять начнет подниматься с кряхтеньем и скрипом. Гнутся и скрипят мачты, сухо свистит ветер в снастях, а корабль все идет и идет; над кораблем светит солнце, над кораблем стоит темная ночь, над кораблем задумчиво висят тучи или гроза бушует и ревет на океане, и молнии падают в колыхающуюся воду. А корабль все идет и идет...

Матвей Дышло говорил всегда мало, но часто думал про себя такое, что никак не мог бы рассказать словами. И никогда еще в его голове не было столько мыслей, смутных и неясных, как эти облака и эти волны,— и таких же глубоких и непонятных, как это море. Мысли эти рождались и падали в его голове, и он не мог бы, да и не старался их вспомнить, но чувствовал ясно, что от этих мыслей что-то колышется и волнуется в самой глубине его души, и он не мог бы сказать, что это такое...

К вечеру океан подергивался темнотой, небо угасало, а верхушки волны загорались каким-то особенным светом... Матвей Дышло заметил прежде всего, что волна, отбегавшая от острого корабельного носа, что-то слишком бела в темноте, павшей давно на небо и на море. Он нагнулся книзу, поглядел в глубину и замер...

Вода около корабля светилась, в воде тихо ходили бледные огни, вспыхивая, угасая, выплывая на поверхность, уходя опять в таинственную и страшную глубь... И казалось Матвею, что все это живое: и ход корабля, и жалобный гул, и грохот волны, и движение океана, и

таинственное молчание неба. Он глядел в глубину, и ему казалось, что на него тоже кто-то глядит оттуда. Кто-то неизвестный, кто-то удивленный, кто-то испуганный и недовольный... От века веков море идет своим ходом, от века встают и падают волны, от века поет море свою собственную песню, непонятную человеческому уху, и от века в глубине идет своя собственная жизнь, которой мы не знаем. И вот теперь в эту вековечную гармонию, в это живое движение вмешался дерзкий и правильный ход корабля... И песня моря дрогнула и изменилась, и волны разрезаны и сбиты, и кто-то в глубине со страхом прислушивается к этому ходу непонятного чудовища из другого, непонятного мира. Конечно, Лозинский не мог бы рассказать все это такими словами, но он чувствовал испуг перед тайной морской глубины. И казалось Лозинскому, что вот он смотрит со страхом сверху, а на него с таким же ужасом кто-то смотрит снизу. Смотрит и сердится, и посылает своих посланцев с огнями, которые выплывают наверх и ходят взад и вперед, и узнают что-то, и о чем-то тихо советуются друг с другом, и все-таки печально уходят в безвестную пучину,— ничего не понимая... А корабль все бежит неудержимым бегом к своей собственной цели...

И много в эти часы думал Матвей Лозинский,— жаль только, что все эти мысли подымались и падали, как волны, не оставляя заметного следа, не застывая в готовом слове, вспыхивали и гасли, как морские огни в глубине... А впрочем, он говорил после и сам, что никогда не забудет моря. «Человек много думает на море разного,— сказал он мне,— разное думает о себе и о боге, о земле и о небе... Разное думается человеку на океане — о жизни, мой господин, и о смерти...» И по глазам его было видно, что какой-то огонек хочет выбиться на поверхность из безвестной глубины этой простой и темной души... Значит, что-то все-таки оставалось в этой душе от моря.

Да, наверное, оставалось... Душа у него колыхалась, как море, и в сердце ходили чувства, как волны. И порой слеза подступала к глазам, и порой — смешно сказать — ему, здоровенному и тяжелому человеку, хотелось кинуться и лететь, лететь, как эти чайки, что опять стали уже появляться от американской стороны...

Лететь куда-то вдаль, где угасает заря, где живут добрые и счастливые люди...

После Лозинский сам признавался мне, что у него в то время были такие мысли, которые никогда не заходили в голову ни в Лозищах, когда он шел за сохой, ни на ярмарке в местечке, ни даже в церкви. Там все были обыкновенные мысли, какие и должны быть в своем месте и в свое время. А в океане мысли были все особенные и необычные. Они подымались откуда-то, как эти морские огни, и он старался присмотреться к ним поближе, как к этим огням... Но это не удавалось. Пока он не следил за ними, они плыли одна за другой, вспыхивали и гасли, лаская душу и сердце. А как только он начинал их ловить и хотел их рассказать себе словами,— они убегали, а голова начинала болеть и кружиться.

Разумеется, все оттого, что было много досуга, а перед глазами ходил океан и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность...

На третий день пути, выйдя на палубу, он увидел впереди корабль. Сначала ему показалось, что это маленький игрушечный кораблик запутался между снастями того парохода, на котором они сами плыли. Но это оттого, что прозрачный и ясный воздух приближал все, а кругом, кроме воды, ничего не было. Парусный корабль качался и рос, и когда поравнялся с ними, то Лозинский увидел на нем веселых людей, которые смеялись и кланялись, и плыли себе дальше, как будто им не о чем думать и заботиться, и жизнь их будто всегда идет так же весело, как их корабль при попутном ветре... А в другой раз в сильную качку, когда на носу их парохода стояла целая туча брызгов, он опять смотрел, как такой же кораблик, весь наклонившись набок, летел, как птица. Волны вставали и падали, как горы, и порой с замиранием сердца Лозинский и другие пассажиры смотрели и не видели больше смелого суденышка. Но оно опять взлетало на вершину, и опять его парус касался пены, будто крыло чайки,— и он колыхался и шел, шел и колыхался... А Лозинский думал про себя, что это, должно быть, уже американцы. Смелые, видно, люди! И вот он едет к ним, простой и робкий лозищанин... Как-

то они его встретят, и зачем он им нужен?.. И какой-то он будет сам через десяток лет?..

И ему казалось, что и теперь он уже другой, не тот, что ходил за сохой в Лозищах или в праздник глазел на базар в соседнем городе. Уже одно то, что он видел это колыхающееся без конца море, эти корабли, этих странных, чужих людей... То, что его глаз смотрел в тайну морской глубины и что он чувствовал ее в душе и думал о ней и об этих чужих людях, и о себе, когда он приедет к ним,— все это делало его как будто другим человеком. И он вглядывался вперед, в яркую синеву неба или в пелену морских туманов, как будто искал там свое место и свое будущее...

В одну из таких минут, когда неведомые до тех пор мысли и чувства всплывали из глубины его темной души, как искорки из глубины темного моря,— он разыскал на палубе Дыму и спросил:

— Послушай, Дыма. Как ты думаешь, все-таки: что это у них там за свобода?

Но Дыма ответил сердито:

— Убирайся ты... Поищи себе трясцу (лихорадку) или паралича, чтобы тебя разбило вдребезги ясным громом.

Это оттого, что бедному Дыме в эту минуту был не мил белый свет. Потому что, когда корабль раскачивало направо и налево, то от кормы к носу, то опять от носа к корме,— тогда небо, казалось, вот-вот опрокинется на море, а потом опять море все разом лезло высоко к небу. От этого у бедного Дымы страшно кружилась голова, что-то тосковало под ложечкой, и он все подходил к борту корабля и висел книзу головой, точно тряпка, повешенная на плетне для просушки. Бедного Дыму сильно тошнило, и он кричал, что это проклятое море вывернет его наизнанку, и заклинал Христом-богом, чтобы корабль пристал к какому-нибудь острову и чтоб его, Дыму, высадили хоть к дикарям, если не хотят загубить христианскую душу. Сначала Матвей очень дивился тому, что у Дымы оказался такой непостоянный характер, и даже пробовал всячески стыдить его. Но потом увидел, что это не с одним Дымой; многие почтенные люди и даже шведские и датские барышни, которые плыли в Америку наниматься в горничные и ку-

харки, так же висели на бортах, и с ними было все то же, что и с Дымой. Тогда Матвей понял, что это на океане дело обыкновенное. Самому ему становилось иногда неприятно и только; Дыма — человек нервный — проклинал и себя, и Осипа, и Катерину, и корабль, и того, кто его выдумал, и всех американцев, даже еще не рожденных на свет... Порой, кажется, он готов был даже кощунствовать, но все-таки сдерживался... Потому что на море оно как-то не так легко, как иной раз на земле...

А все-таки мысль о свободе сидела в голове у Матвея. И еще на берегу, в Европе, когда они разговорились с могилевцем-кабатчиком, тогда сам Дыма спросил у него первый:

— А что, скажите на милость... Какая там у них, люди говорят, свобода?

— А! Рвут друг другу горла,— вот и свобода...— сердито ответил тот.— А впрочем,— добавил он, допивая из кружки свое пиво,— и у нас это делают, как не надо лучше. Поэтому я, признаться, не могу понять, зачем это иным простакам хочется, чтобы их ободрали непременно в Америке, а не дома...

— Это вы, кажется, кинули камень в наш огород,— сказал тогда догадливый Дыма.

— Мне до чужих огородов нет дела,— ответил могилевец уклончиво,— я говорю только, что на этом свете, кто перервал друг другу горло, тот и прав... А что будет на том свете, это когда-нибудь увидите и сами... Не думаю, однако, чтобы было много лучше.

Кабатчик, видимо, видал в жизни много неприятностей. Ответ его не понравился лозищанам и даже немного их обидел. Что люди всюду рвут друг друга,— это, конечно, может быть, и правда, но свободой,— думали они,— наверное, называется что-нибудь другое. Дыма счел нужным ответить на обидный намек.

— А это, я вам скажу, всюду так: как ты кому, так и тебе люди: мягкому и на доске мягко, а костистому жестко и на перине. А такого шероховатого человека, как вы, я еще, признаться, и не видывал...

Таким образом, разговор тогда кончился немного кисло...

Теперь с лозищанами на корабле плыл еще чех, человек уже старый и невеселый, но приятный. Его выписал

сын, который хорошо устроился в Америке. Старик ехал, но, по его словам, лучше было бы, если бы сын хорошо устроился на родине. Тогда бы и ехать незачем. Чешская речь все-таки — славянская. Поляку могло показаться, что это он говорит по-русски, а русскому — что по-польски. Наши же лозищане говорили на волынском наречии: не по-русски и не по-польски, да не совсем и по-украински, а всех трех языков намешано понемногу. Поэтому им было легче. Дыма к тому же — человек, битый не в темя,— разговорился скоро. Где не хватало языка, он помогал себе и руками, и головой, и ногами. Где щелкнет, где причмокнет, где хлопнет рукой, одним словом, как-то скоро стали они с чехом приятели. А чех говорит по-немецки, значит, можно было кое-что узнать через него и от немцев. А уже через немцев — и от англичан...

Вот, когда ветер стихал и погода становилась яснее, Дыму и других отпускала болезнь, и становилось на пароходе веселее. Тогда пассажиры третьего класса выползали на носовую палубу, долговязый венгерец начинал играть на дудке, молодой немец на скрипке, а молодежь брала шведских барышень за талию и кружилась, обходя осторожно канаты и цепи. И над океаном неслись далеко звуки музыки, а волна подпевала и шаловливо кидала кверху белую пену и брызги, и дельфины скакали, обгоняя корабль. А на душе становилось и весело, и грустно.

В это время Дыма с чехом усаживались где-нибудь в уголке, брали к себе еще англичанина или знающего немца, и Дыма учился разговаривать. Англичанин говорил немцу, немец — чеху, а уж чех передавал Дыме. Прежде всего, разумеется, он выучился американскому счету и затверживал его, загибая пальцы. Потом узнал, как называть хлеб и воду, потом плуг и лошадь, дом, колодезь, церковь. И все списывал на бумажке и твердил про себя. Он старался обучить и Матвея, но тому давалось трудно Только и выучил по-английски «три»,— потому что у них «три» называется по-нашему.

А потом у старого чеха Дыма тоже спросил, что такое свобода. Это, говорит, сделана у них на острове такая медная фигура. Стоит выше самых высоких домов и церквей, подняла руку кверху. А в руке — факел, та-

кой огромный, что светит далеко в море. Внутри лестница,— и можно войти в голову, и в руку, и даже на верхушку факела. Вечером зажигают огонь во лбу и около факела, и тогда выходит сияние, точно от месяца и даже много ярче. И называется эта медная женщина — свобода.

Дыма передал этот разговор Матвею, но обоим казалось, что это опять не то: один говорит: «рвут горло», другой говорит: «фигура, которая светится»... А Матвею почему-то вспоминался все старый дед Лозинский-Шуляк, который подарил ему библию. Старик умер, когда Матвей еще был ребенком; но ему вспоминались какие-то смутные рассказы деда о старине, о войнах, о Запорожье, где-то в степях на Днепре... И теперь, как память о странном сне, рассказанном старым дедом, рисовалась эта старина и какой-то простор, и какая-то дикая воля... «А если встретишь, бывало, татарина или хоть кого другого... Ну, тут уже кому бог поможет»,— вспоминались слова деда... «Что же,— думал он,— тоже, выходит, «рвали горло»... Потом он вспоминал, что была над народом панская «неволя». Потом пришла «воля»... Но свободы все как будто не было. У него кружилась голова, мысли туманились, а в душе оставался все-таки нерешенный вопрос.

IV

На седьмой день пал на море страшный туман. Такой туман, что нос парохода упирался будто в белую стену и едва было видно, как колышется во мгле притихшее море. Раза два-три, прямо у самого парохода, проплыли какие-то водоросли, и Лозинский подумал, что это уже близко Америка. Но Дыма узнал через своего чеха, что это как раз середина океана. Только не очень далеко на полдень — мелкое место. И здесь теплая струя ударяется в мель и идет на полночь, а тут же встречается и холодная струя с полночных морей. И оттого над морем в этом месте все гнездится туман. Пароход шел тихо, и необыкновенно громкий свисток ревел гулко и жалобно, а стена тумана отдавала этот крик, как эхо в густом лесу. И становилось всем жутко и страшно.

И в это время на корабле умер человек. Говорили, что он уже сел больной; на третий день ему сделалось совсем плохо, и его поместили в отдельную каюту. Туда к нему ходила дочь, молодая девушка, которую Матвей видел несколько раз с заплаканными глазами, и каждый раз в его широкой груди поворачивалось сердце. А наконец, в то время, когда корабль тихо шел в густом тумане, среди пассажиров пронесся слух, что этот больной человек умер.

И действительно, на корабле все почувствовали смерть... Пассажиры притихли, доктор ходил серьезный и угрюмый, капитан с помощником совещались, и потом, через день, его похоронили в море. Завернули в белый саван, привязали к ногам тяжесть, какой-то человек, в длинном черном сюртуке и широком белом воротнике, как казалось Матвею, совсем не похожий на священника,— прочитал молитвы, потом тело положили на доску, доску положили на борт и через несколько секунд, среди захватывающей тишины, раздался плеск... Вместе с этим кто-то громко крикнул, молодая девушка рванулась к морю, и Матвей услышал ясно родное слово: «Отец, отец!» Между тем корабль, тихо работавший винтами, уже отодвинулся от этого места, и самые волны на том месте смешались с белым туманом. От человека не осталось и следа... Туман сомкнулся позади плотной стеной, и туман был впереди, а пароходный ревун стонал и будто бы надрывался над печальной человеческой судьбой...

Скоро, однако, другие события закрыли собой эту смерть... В этот же день небольшая парусная барка только-только успела вывернуться из-под носа у парохода. Но это еще ничего. Люди на барке махали шляпами и смеялись на расстоянии каких-нибудь пяти сажень. Они были в клеенчатых куртках и странных шляпах... Другой раз чуть не вышло еще хуже. Среди белого дня, в молочной мгле что-то, видно, почудилось капитану. Пароход остановили, потом отошли назад, как будто убегали от кого-то, кто двигался в тумане. Потом стали в ожидании. И вдруг Лозинский увидел вверху, как будто во мгле, встало облако с сверкающими краями, а в воздухе стало холоднее и повеяло острым ветром. Пароход повернулся и тихо, будто украдкой, стал упол-

зать в глубь тумана налево. А направо было не облако, а ледяная гора. Лозинский не верил своим глазам, чтобы можно было видеть разом такую огромную гору чистого льда. Но это видели все. На пароходе все притихло, даже винт работал осторожнее и тише. А гора плыла, тихонько покачиваясь, и вдруг исчезла совсем, будто растаяла...

Наши двое лозищан и чех тотчас же сняли шапки и перекрестились. Немцы и англичане не имеют обычая креститься, кроме молитвы. Но и они также верят в бога и также молятся, и когда пароход пошел дальше, то молодой господин в черном сюртуке с белым воротником на шее (ни за что не сказал бы, что это священник) встал посреди людей, на носу, и громким голосом стал молиться. И люди молились с ним и пели какие-то канты, и священное пение смешивалось с гулким и жалобным криком корабельного ревуна, опять посылавшего вперед свои предостережения, а стена тумана опять отвечала, только еще жалобнее и еще глуше...

А море тоже все более стихало и лизало бока корабля, точно ласкалось и просило у людей прощения...

Женщины после этого долго плакали и не могли успокоиться. Особенно жалко было Лозинскому молодую сироту, которая сидела в стороне и плакала, как ребенок, закрывая лицо углом шерстяного платка. Он уже и сам не знал, как это случилось, но только он подошел к ней, положил ей на плечо свою тяжелую руку и сказал:

— Будет уже тебе плакать, малютка, бог милостив.

Девушка подняла голубые глаза, посмотрела на Лозинского и ответила:

— А! Как мне не плакать... Еду одна на чужую сторону. На родине умерла мать, на корабле отец, а в Америке где-то есть братья, да где они,—я и не знаю... Подумайте сами, какая моя доля!

Лозинский постоял, посмотрел и не сказал ей ничего. Он не любил говорить на ветер, да и его доля была тоже темна. А только с этих пор, где бы он ни стоял, где бы он ни сидел, что бы ни делал, а все думал об этой девушке и следил за нею глазами.

И тогда же Лозинский сказал себе самому: «А вот же, если я найду там в широком и неведомом свете свою

долю, то это будет также и твоя доля, малютка. Потому что человеку как-то хочется кого-нибудь жалеть и любить, а особенно, когда человек на чужбине».

V

На двенадцатый день народ начал все набираться на носу, как муравьи на плавучей щепке, когда ее прибивает ветром к берегу ручья. Из этого наши лозищане поняли, что, должно быть, недалеко уже американская земля. И действительно, Матвей, у которого глаза были острые, увидел первый, что над синим морем направо встала будто белая игла. Потом она поднялась выше, и уже ясно было видно, что это белый маяк. По волнам то и дело неслись лодки с косым парусом, белые пароходы, с окнами, точно в домах, маленькие пароходики, с коромыслами наверху, каких никогда еще не приходилось видеть лозищанам. А там в синеватой мгле стало проступать что-то, что-то заискрилось, что-то забелело, что-то вытягивалось и пестрело. Пошли острова с деревьями, пошла длинная коса с белым песком. На косе что-то громыхало и стучало, и черный дым валил из высокой трубы.

Дыма толкнул Лозинского локтем.

— Видишь? Чех говорил правду.

Матвей посмотрел вперед. А там, возвышаясь над самыми высокими мачтами самых больших кораблей, стояла огромная фигура женщины, с поднятой рукой. В руке у нее был факел, который она протягивала навстречу тем, кто подходит по заливу из Европы к великой американской земле.

Пароход шел тихо, среди других пароходов, сновавших, точно водяные жуки, по заливу. Солнце село, а город все выплывал и выплывал навстречу, дома вырастали, огоньки зажигались рядами и в беспорядке дрожали в воде, двигались и перекрещивались внизу, и стояли высоко в небе. Небо темнело, но на нем ясно еще рисовалась высоко в воздухе тонкая сетка огромного, невиданного моста.

Исполинские дома в шесть и семь этажей ютились внизу, под мостом, по берегу; фабричные трубы не могли достать до моста своим дымом. Он повис над водой,

с берега на берег, и огромные пароходы пробегали под ним, как ничтожные лодочки, потому что это самый большой мост во всем божьем свете... Это было направо, а налево уже совсем близко высилась фигура женщины,— и во лбу ее, еще споря с последними лучами угасавшей в небе зари, загоралась золотая диадема, и венок огоньков светился в высоко поднятой руке...

А сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка, на берегу которой он думал встретить Лозинскую. Он ждал, что она будет сидеть тут где-то со своим узелком. «Боже мой, боже мой,— думал Матвей.—Да здесь человек, как иголка в траве, или капля воды, упавшая в море...» Пароход шел уже часа два в виду земли, в виду построек и пристаней, а город все развертывал над заливом новые ряды улиц, домов и огней... И с берега, сквозь шум машины, неслось рокотание и гул. Казалось, кто-то дышит огромный и усталый, то опять кто-то жалуется и сердится, то кто-то ворочается и стонет... и опять только гудит и катится, как ветер в степи, то опять говорит смешанными голосами...

Лозинский отыскал Анну,— молодую девушку, с которой он познакомился,— и сказал:

— Держись, малютка, меня и Дымы. Видишь, что тут деется в этой Америке. Не дай боже!

Девушка схватила его за руку, и не успел сконфуженный Матвей оглянуться, как уж она поцеловала у него руку. Потому что бедняжка, видно, испугалась Америки еще хуже, чем Лозинский.

Пароход остановился на ночь в заливе, и никого не спускали до следующего утра. Пассажиры долго сидели на палубах, потом бóльшая часть разошлась и заснула. Не спали только те, кого, как и наших лозищан, пугала неведомая доля в незнакомой стране. Дыма, впрочем, первый заснул себе на лавке. Анна долго сидела рядом с Матвеем, и порой слышался ее тихий и робкий голос. Лозинский молчал. Потом и Анна заснула, склонясь усталой головой на свой узел.

И только Матвей просидел всю теплую ночь, пока свет на лбу статуи не померк, и заиграли отблески зари на волнах, оставляемых бороздами возвращавшихся с долгой ночной работы пароходов...

На следующее утро пришли на пароход американские таможенные чиновники, давали подписывать какую-то бумагу, а между тем корабль потихоньку стали подтягивать к пристани. И было как-то даже грустно смотреть, как этот морской великан лежит теперь на воде, без собственного движения, точно мертвый, а какой-то маленький пароходишко хлопочет около него, как живой муравей около мертвого жука. То потянет его за хвост, то забежит с носу, и свистит, и шипит, и вертится... А пристань оказалась — огромный сарай, каких много было на берегу. Они стояли рядами, некрасивые, огромные и мрачные. Только на одной толпились американцы, громко визжали, свистели и кричали «ура». Матвей посмотрел туда с остатком надежды увидеть сестру — и махнул рукой. Где уж!..

Наконец пароход подтянули. Какой-то матрос, ловкий, как дьявол, взобрался кверху, под самую крышу сарая, и потом закачался в воздухе вместе с мостками, которые спустились на корабль. И пошел народ выходить на американскую землю...

Скучно было нашим... Пошли и они — не оставаться же на корабле вечно. А если сказать правду, то Матвею приходило в голову, что на корабле было лучше. Плывешь себе и плывешь... Небо, облака, да море, да вольный ветер, а впереди, за гранью этого моря,— что бог даст... А тут вот тебе и земля, а что в ней... Всех кто-нибудь встречает, целуют, обнимаются, плачут. Только наших лозищан не встречает никто, и приходится идти самим искать неведомую долю. А где она?.. Куда ступить, куда податься, куда поставить ногу и в какую сторону повернуться,— неизвестно. Стали наши, в белых свитах, в больших сапогах, в высоких бараньих шапках и с большими палками в руках,— с палками, вырезанными из родной лозы, над родною речкою, и стоят, как потерянные, и девушка со своим узелком жмется меж ними.

VI

— Жид! А ей же богу, пусть меня разобьет ясным громом, если это не жид,— сказал вдруг первый Дыма, указывая на какого-то господина, одетого в круглую

шляпу и в кургузый, потертый пиджак. Хотя рядом с ним стоял молодой барчук, одетый с иголочки и уже вовсе не похожий на жиденка,— однако, когда господин повернулся, то уже и Матвей убедился с первого взгляда, что это непременно жид, да еще свой, из-под Могилева или Житомира, Минска или Смоленска, вот будто сейчас с базара, только переоделся в немецкое платье.

Обрадовались они этому человеку, будто родному. Да и жид, заметив белые свитки и барашковые шапки, тотчас подошел и поклонился.

— Ну, поздравляю с приездом. Как ваше здоровье, господа? Я сразу вижу, что это приехали земляки.

— А что,— сказал Дыма с торжествующим видом.— Не говорил я? Вот ведь какой это народ хороший! Где нужно его, тут он и есть. Здравствуйте, господин еврей, не знаю, как вас назвать.

— А! Звали когда-то Борух, а теперь зовут Борк, мистер Борк,— к вашим услугам,— сказал еврей и както гордо погладил бородку.

— А! Чтоб тебя! Ну, слушай же ты, Берко...

— Мистер Борк,— поправил еврей с еще большею гордостью.

— Ну, пускай так, мистер так и мистер, чтоб тебя схватило за бока... А где же тут хорошая заезжая станция, чтобы, знаешь, не очень дорого и не очень уж плохо. Потому что, видишь ты... Мы хоть в простых свитках, а не совсем уже мужики... однодворцы... Притом еще с нами, видишь сам, девушка...

— Ну, разве я уж сам не могу различить, с кем имею дело,— ответил мистер Борк с большою политикой.— Что вы обо мне думаете?.. Пхе! Мистер Борк дурак, мистер Борк не знает людей... Ну, только и я вам скажу: это ваше большое счастье, что вы попали сразу на мистера Борка. Я ведь не каждый день хожу на пристань, зачем я стал бы каждый день ходить на пристань?.. а у меня вы сразу имеете себе хорошее помещение, и для барышни найдем комнатку особо, вместе с моею дочкой.

— А, вот видите вы, как оно хорошо,— сказал Дыма и оглянулся, как будто это он сам выдумал этого мистера Борка.— Ну, веди же нас, когда так, на свою заезжую станцию.

— Может, вам нужно взять еще ваш багаж?

— Э! Какой там багаж! Правду тебе сказать, так и все вот тут с нами.

— Гэ, это не очень много! Джон!..— крикнул он на молодого человека, который-таки оказался его сыном.— Ну, чего ты стоишь, как какой-нибудь болван. Таке ту бэгедж оф мисс (возьми у барышни багаж).

Молодой человек оказался не гордый. Он вежливо приподнял шляпу, схватил из рук Анны узелок, и они пошли с пристани.

Прошли через улицу и вошли в другую, которая показалась приезжим какой-то пещерой. Дома темные, высокие, выходы из них узкие, да еще в половину домов поверх улицы сделана на столбах настилка, загородившая небо...

— А, господи! Матерь божья! — взвизгнула вдруг в испуге Анна и схватила за руку Матвея.

— Всякое дыхание да хвалит господа,— сказал про себя Матвей,— а что же это еще такое?

— Ай-ай, чего вы это испугались,— сказал жид.— Да это только поезд. Ну, ну, идите, что такое за важность... Пускай себе он идет своей дорогой, а мы пойдем своей. Он нас не тронет, и мы его не тронем. Здесь, я вам скажу, такая сторона, что зевать некогда...

И мистер Борк пошел дальше. Пошли и наши скрепя сердце, потому что столбы кругом дрожали, улица гудела, вверху лязгало железо о железо, а прямо над головами лозищан, по настилке, на всех парах летел поезд. Они посмотрели с разинутыми ртами, как поезд изогнулся в воздухе змеей, повернул за угол, чуть не задевая за окна домов,— и полетел опять по воздуху дальше, то прямо, то извиваясь...

И показалось нашим, привыкшим только к шуму родного бора, да к шепоту тростников над тихою речкой Лозовою, да к скрипу колес в степи, что они теперь попали в самое пекло. Дома — шапка свалится, как посмотришь. Взглянешь назад — корабельные мачты, как горелый лес; поднимешь глаза к небу — небо закопчено и еще закрыто этой настилкой воздушной дороги, от которой в улице вечные сумерки. А впереди человек видит опять, как в воздухе, наперерез, с улицы в улицу летит

уже другой поезд, а воздух весь изрезан храпом, стоном, лязганием и свистом машин.

— Господи Иисусе,— шептала Анна бледными губами. Матвей только закусил ус, а Дыма мрачно понурил голову и шагал, согнувшись под своим узлом. А за ними бежали кучи каких-то уличных дьяволят, даже иной раз совсем черных, как хорошо вычищенный сапог, и заглядывали им прямо в лица, и подпрыгивали, и смеялись, а один большой негодяй кинул в Дыму огрызок какого-то плода.

— А ну, это человек, наконец, может потерять всякое терпение,— сказал Дыма, ставя свой узел на землю.— Послушай, Берко...

— Мистер Борк,— поправил еврей.

— А что же, мистер Борк, у вас тут делает полиция?

— А что вам за дело до полиции? — ответил еврей с неудовольствием.— Зачем вам беспокоить полицию такими пустяками? Здесь не такая сторона, чтобы чуть что не так, и сейчас звать полицию...

— Это, верно, называется свобода,— сказал Дыма очень язвительно.— Человеку кинули в лицо огрызок,— это свобода... Ну, когда здесь уже такая свобода, то послушай, Матвей, дай этому висельнику хорошего пинка, может, тогда они нас оставят в покое.

— Ну, пожалуйста, не надо этого делать,— взмолился Берко, к имени которого теперь все приходилось прибавлять слово «мистер».— Мы уже скоро дойдем, уже совсем близко. А это они потому, что... как бы вам сказать... Им неприятно видеть таких очень лохматых, таких шорстких, таких небритых людей, как ваши милости. У меня есть тут поблизости цирюльник... Ну, он вас приведет в порядок за самую дешевую цену. Самый дешевый цирюльник в Нью-Йорке.

— А это, я вам скажу, хорошая свобода — чтоб ее взяли черти,— сказал Дыма, сердито взваливая себе мешок на спину.

А в это время в Дыму опять полетела корка банана. Пришлось терпеть и идти дальше. Впрочем, прошли немного, как мистер Борк остановился.

— Ну, а теперь, пожалуйста, пойдем на эту лестницу...

— Да куда же это мы пойдем, хотел бы я знать? —

сказал Дыма. И действительно, лестница вела с улицы наверх, на ту самую настилку, что была у них над головами.

— Ну, нам надо сесть в вагон.

— Не пойду,— сказал Дыма решительно.— Бог создал человека для того, чтобы он ходил и ездил по земле. Довольно и того, что человек проехал по этому проклятому морю, которое чуть не вытянуло душу. А тут еще лети, как какая-нибудь сорока, по воздуху. Веди нас пешком.

— Ай-ай! — сказал мистер Борк нетерпеливо,— что же мне с вами делать? Идите, пожалуйста!

— Не пойду! — решительно сказал Дыма и, обращаясь к Матвею и Анне, сказал:— И вы тоже не ходите!

Еврей что-то живо заговорил с сыном, который только улыбался,— и потом, повернувшись к Дыме, мистер Борк сказал очень решительно:

— Ну, когда вы такой упрямый человек, что все хотите по-своему... то идите, куда знаете. Я себе пойду в вагон, а вы, как хотите... Джон! Отдай барышне багаж. Каждый человек может идти своей дорогой.

Джон усмехнулся, но не торопился отдавать Анне багаж. Матвей взял Дыму за руку и сказал:

— А! Что там! Пойдем уже.

— Пойдем, пожалуйста,— робко сказала и Анна.

— Га! Что делать! В этой стороне, видно, надо ко всему привыкать,— ответил Дыма и, взвалив мешок на плечи, сердито пошел на лестницу.

На первом повороте за конторкой сидел равнодушный американец, которому еврей дал монету, а тот выдал ему пять билетов. Эти билеты Борк кинул в стеклянную коробку, и все поднялись еще выше и вышли на платформу.

Поезда еще не было. Платформа была вровень с третьими этажами домов. Внизу шли люди, ехали большие фургоны, проходили, позванивая, вагоны конно-железной дороги; вверху, по синему небу плыли облака, белые, светлые, совсем как наши. «Вот,— думал Матвей,— полетит это облако над землей, над морем, пронесется над Лозищами, заглянет в светлую воду Лозовой речки, увидит лозищанские дома, и поле, и людей, которые едут в поле и с поля, как бог велел, в паро-

-конных телегах и с драбинами. Подумает ли кто-нибудь в Лозищах, что двое лозищан стоят в эту минуту в чужом городе, где над ними сейчас издевались, точно они не христиане и приехали сюда на посмешище... Стоят ни на земле, ни на горе и собираются лететь по воздуху в какой-то машине».— «Господи,— думала в это время и Анна,—а ну, как это провалится, а ну, как полетим мы все с этой машиной вниз, на каменную мостовую! Господи Иисусе, дева Мария, святой Иосиф! Всякая душа хвалит господа». Дыма смотрел и кусал длинный ус...

На рельсах вдали показался какой-то круг и покатился, и стал вырастать, приближаться, железо зазвенело и заговорило под ногами, и скоро перед платформой пролетел целый поезд... Завизжал, остановился, открылись затворки — и несколько десятков людей торопливо прошли мимо наших лозищан. Потом они вошли в вагон, заняли пустые места, и поезд сразу опять кинулся со всех ног и полетел так, что только мелькали окна домов...

Матвей закрыл глаза. Анна крестилась под платком и шептала молитвы. Дыма оглядывался кругом вызывающим взглядом. Он думал, что американцы, сидевшие в вагонах, тоже станут глазеть на их шапки и свитки и, пожалуй, кидать огрызками бананов. Но, видно, эти американцы были люди серьезные: никто не пялил глаз, никто не усмехался. Дыме это понравилось, и он немного успокоился...

А там поезд опять остановился, и наши вышли благополучно и опять спустились по лестнице на улицу...

VII

Заезжий двор мистера Борка совсем не походил на наши. Наши, то есть те, что на Волыни, или под Могилевом, или в Полесье, гораздо лучше: длинный, невысокий дом, на белой стене чернеют широкие ворота так приветливо и приятно, что лошади приворачивают к ним сами собой. За въездом — прямо крытый двор, с высокою соломенною стрехой; между стропилами летают тучи воробьев, и голуби воркуют где-то так сладко, а где — и не увидишь... А там — колодезь с воротом, ясли с «драбинами» для лошадей, куры, коза, корова,

запах лошадиного поту, запах дегтя и душистого сена... Вспомнить, так и то приятно...

Нужно сказать, что Матвей и Дыма считались в своих местах людьми степенными, знающими, как обращаться в свете. Случалось им не раз на ярмарке, или в праздник, проездом в местечках, или в какой-нибудь корчме на шляху — заставать полным-полно народу,— и это их нисколько не смущало. Известное дело,— всякий сам себя знает. Поставил человек лошадь к месту, кинул ей сена с воза или подвязал торбу с овсом, потом сунул кнут себе за пояс, с таким расчетом, чтобы люди видели, что это не бродяга или нищий волочится на ногах по свету, а настоящий хозяин, со своей скотиной и телегой; потом вошел в избу и сел на лавку ожидать, когда освободится за столом место. А пока — оглядел всех, и сразу видно, что за народ послал бог навстречу, и сразу же можно начать подходящий разговор: один разговор с простым мужиком, другой — со своим братом, однодворцем или мещанином, третий — с управляющим или подпанком. Разумеется, знали и свое место: если уже за столом расселся проезжий барин,— то, конечно, приходилось и пообождать, хотя бы места было и достаточно. Одним словом, ходили всегда по свету с открытыми глазами,— знали себя, знали людей, а потому от равных видели радушие и уважение, от гордых сторонились, и если встречали от господ иногда какие-нибудь неприятности, то все-таки не часто.

Теперь они сразу стали точно слепые. Не пришли сюда пешком, как бывало на богомолье, и не приехали, а прилетели по воздуху. И двор мистера Борка не похож был на двор. Это был просто большой дом, довольно темный и неприятный. Борк открыл своим ключом дверь, и они взошли наверх по лестнице. Здесь был небольшой коридорчик, на который выходило несколько дверей. Войдя в одну из них, по указанию Борка, наши лозищане остановились у порога, положили узлы на пол, сняли шапки и огляделись.

Комната была просторная. В ней было несколько кроватей, очень широких, с белыми подушками. В одном только месте стоял небольшой столик у кровати, и в разных местах — несколько стульев. На одной стене висела большая картина, на которой фигура «Свободы» по-

дымала свой факел, а рядом — литографии, на которых были изображены пятисвечники и еврейские скрижали. Такие картины Матвей видел у себя на Волыни и подумал, что это Борк привез в Америку с собою.

В открытое окно виднелась линия воздушной дороги, вдоль улицы, по которой приехали и они. И опять вдали показался круглый щит локомотива и стал все вырастать. Лозищане смотрели на него с некоторым страхом. Лязг и грохот все приближался, и им казалось, что поезд вкатится в комнату. Но в это время что-то вдруг хлестнуло в окно резкой струей воздуха, и мимо, совсем близко, с противоположной стороны, пронеслась какая-то стена с окнами. Это был другой, встречный поезд; в окнах мелькнули головы, шляпы, лица, в том числе некоторые черные, как сажа... И через несколько секунд все исчезло, повернуло, и поезд понесся вдаль, все уменьшаясь, между тем как прежний вырастал и через минуту тоже пронесся мимо окон. Клуб пара и дыма, точно развевающаяся лента, махнул по окну, и несколько клочьев ворвалось в самую комнату...

— Всякое дыхание да хвалит господа! — сказал Матвей, крестясь с испугом. И только когда оба поезда исчезли, он решился оглядеться хорошенько на новом месте.

Кроватей в комнате стояло около десятка, но из жильцов в ней находился только один господин, звание которого лозищане определить не могли. На нем было «городское платье», как и на Борке, светлые клетчатые короткие панталоны, большие и тяжелые шнуровые ботинки, крахмальная сорочка и светлый жилет. Он лежал на постели, полуприкрывшись огромным листом газеты и, отслонив ее угол, с любопытством смотрел на новоприбывших. По виду это был настоящий «барин», и, если бы так у себя, дома, то Дыма непременно отвесил бы ему низкий поклон и сказал бы:

— Прошу прощения... Может, это жид Берко завел нас сюда по ошибке.

Во всяком случае, лозищане подумали, что видят перед собой американского дворянина или начальника. Но мистер Борк скоро сошел по витой лесенке сверху, куда он успел отвести Анну, и подвел лозищан к кровати совсем рядом с этим важным барином.

— Вот эта кровать,— сказал он,— стоит вам два доллара в неделю.

— А что я тебе скажу, мистер Борк,— зашептал ему осторожно Дыма.— Хорошо ли, смотри, это у нас выйдет?

— Ну,— обиженно ответил Борк,— что же еще нужно за два доллара в неделю? Вы, может, думаете — это с одного? Нет, это с обоих. За обед особо...

— Бог с тобой,— ответил Дыма все-таки шепотом,— если уже ты не можешь уступить подешевле. А только вот этому господину не покажется ли неприятно? Все-таки мы люди простого звания...

Борк в ответ только свистнул и сказал, с нескрываемым пренебрежением посмотрев на американского дворянина:

— Фью-ю! На этот счет вы себе можете быть вполне спокойны. Это совсем не та история, что вы думаете. Здесь свобода: все равные, кто за себя платит деньги. И знаете, что я вам еще скажу? Вот вы простые люди, а я вас больше почитаю... потому что я вижу: вы в вашем месте были хозяева. Это же видно сразу. А этого шарлатана я, может быть, и держать не стал бы, если бы за него не платили от Тамани-холла. Ну, что мне за дело! У «босса» денег много, каждую неделю я свое получаю аккуратно.

Дыма ловил на лету все, что замечал в новом месте, и потому, обдумав не совсем понятные слова Борка, покосился на лежавшего господина и сказал:

— Я, мистер Борк, так понимаю твои слова, что это не барин, а бездельник, вроде того, какие и у нас бывают на ярмарках. И шляпа на нем, и белая рубашка, и галстук... а глядишь, уже кто-нибудь кошелька и не досчитался...

Борк усмехнулся.

— Ну, вы-таки умеете попадать пальцем в небо,— сказал он, поглаживая свою бородку.— Нет, насчет кошелька так вы можете не бояться. Это не его ремесло. Я только говорю, что всякий человек должен искать солидного и честного дела. А кто продает свой голос... пусть это будет даже настоящий голос... Но кто продает его Тамани-холлу за деньги, того я не считаю солидным человеком.

И, вздохнув, он прибавил:

— У меня было здесь солидное заведение. Ну, что делать! Заведение пошло прахом, осталась квартира до срока. Приходится как-нибудь колотиться со всякою дрянью.

Дыма не совсем понимал, как можно продать свой голос, хотя бы и настоящий, и кому он нужен, но так как ему было обидно, что раз он уже попал пальцем в небо,— то он сделал вид, будто все понял, и сказал уже громко:

— А когда так, то и хорошо. Клади, Матвей, узел сюда. Что, в самом деле! Ведь и наши деньги не щербаты. А здесь, притом же, черт их бей, свобода!

И он сел на свою кровать против американского господина, вдобавок еще расставивши ноги. Матвей боялся, что американец все-таки обидится. Но он оказался парень простой и покладливый. Услыхав, что разговор идет о Тамане-холле,— он отложил газету, сел на своей постели, приветливо улыбнулся, и некоторое время оба они сидели с Дымой и пялили друг на друга глаза.

— Good day (здравствуйте)! — первый сказал американец и хлопнул Дыму по колену.

Дыма хлопнул его с своей стороны, и, очень мало подумавши, ответил:

— Yes (да).

— Tammany-holl,— сказал опять американец, любезно улыбаясь,— вэри-уэлл!

— Вэри-уэлл,— кивнул головой Дыма.— Это значит очень хорошо... Эх ты, барин! Ты вот научи меня, как это продать этому черту Тамани-холлу свой голос, чтобы за это человека кормили и поили даром.

— Well,— ответил американец, захохотав.

— Yes,— засмеялся и Дыма.

Ирландец опять подмигнул, похлопал Дыму по колену, и они, видно, сразу стали приятели.

VIII

А Матвей подивился на Дыму («вот ведь какой дар у этого человека»,— подумал он), но сам сел на постели, грустно понурив голову, и думал:

«Вот человек и в Америке... что же теперь будем делать?»

Правду сказать,— все не понравилось Матвею в этой Америке. Дыме тоже не понравилось, и он был очень сердит, когда они шли с пристани по улицам. Но Матвей знал, что Дыма — человек легкого характера: сегодня ему кто-нибудь не по душе, а завтра первый приятель. Вот и теперь он уже крутит ус, придумывает слова и посматривает на американца веселым оком. А Матвею было очень грустно.

Да, вот и Америка! Еще вчера ночью она лежала перед ним, как какое-нибудь облако, и он не знал, что-то явится, когда это облако расступится... Но все ждал чего-то чудесного и хорошего... «Правду сказать,— думал он,— на этом свете человек думает так, а выходит иначе, и если бы человек знал, как выйдет, то, может, век бы свековал в Лозищах, с родной бедою». Вот и облако расступилось, вот и Америка, а сестры нет, и той Америки нет, о которой думалось так много над тихою Лозовою речкой и на море, пока корабль плыл, колыхаясь на волнах, и океан пел свою смутную песню, и облака неслись по ветру в высоком небе то из Америки в Европу, то из Европы в Америку... А на душе пробегали такие же смутные мысли о том, что было там, на далекой родине, и что будет впереди за океаном, где придется искать нового счастья...

Ищи его теперь, этого счастья, в этом пекле, где люди летят куда-то, как бешеные, по земле и под землей и даже,— прости им, господи,— по воздуху... где все кажется не таким, как наше, где не различишь человека, какого он может быть звания, где не схватишь ни слова в человеческой речи, где за крещеным человеком бегают мальчишки так, как в нашей стороне бегали бы разве за турком...

— Вот что, Дыма,— сказал Матвей, отрываясь от своих горьких мыслей.— Надо поскорее писать письмо Осипу. Он здесь уже свой человек,— пусть же советует, как сыскать сестру, если она еще не приехала к нему, и что нам теперь делать с собою.

— Да уж не иначе! — ответил Дыма.

Попросили у Борка перо и чернил, устроились у окна и написали. Писал письмо Дыма, а так как и у него

руки не очень-то привыкли держать такую маленькую вещь, как перо,— то прописали очень долго.

Кончили писать, Дыма стал отирать пот со лба и вдруг остановился с разинутым ртом. Матвей тоже оглянулся,— и у него как-то приятно замерло сердце.

В комнате стояла старая барыня, в поношенной, но видно, что когда-то шелковый мантилье, в старой шляпке с желтыми цветами и с сумочкой на руке. Кроме того, на ленточке она держала небольшую белую собачку, которая поворачивалась во все стороны и нюхала воздух.

— Наша,— шепнул Дыма Матвею.

И действительно, барыня села у двери на стул, отдышалась немного и сказала с первого слова:

— Проклятая сторона, проклятый город, проклятые люди. Ну, скажите, пожалуйста, зачем вы сюда приехали?

Наши очень обрадовались родной речи, кинулись к барыне и чуть не столкнулись головами, целуя у нее руку.

Барыне, видно, это понравилось. Она сидела на стуле, не отнимала руки и глядела на лозищан, жалостно кивая головой.

— Подольские или из Волыни?

— Из Лозищей, милостивая госпожа.

— Из Лозищей! Прекрасно! А куда же это бог несет?

— В Миннесоте есть наши.

— Миннесота! Знаю, знаю. Болото, лес, мошка, лесные пожары и, кажется, индейцы... Ай, люди, люди! И что вам только понадобилось в этой Америке? Жили бы в своих Лозищах...

«Оно, может, и правда»,— подумал Матвей. А Дыма ответил:

— Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше.

— Так... от этого-то рыба попадает в невод, а люди в Америку... Это очень глупо. А впрочем,— это не мое дело. А где же тут сам хозяин?.. Да, вот и Берко.

— Мистер Борк,— поправил еврей, входя в комнату.

— А, мистер Берко,— сказала барыня, и лозищане заметили, что она немного рассердилась.— Скажите,

пожалуйста, я и забыла! А впрочем, ваша правда, ясновельможный мистер Борк! В этой проклятой стороне все мистеры, и уже не отличишь ни жида, ни хлопа, ни барина... Вот и эти (она указала на лозищан) снимут завтра свои свитки, забудут бога и тоже потребуют, чтобы их звать господами...

— Это их дело, всякий здесь устраивает себя, как хочет,— сказал Борк хладнокровно и прибавил, поглаживая бородку: — Чем могу вам служить?

— Твоя правда,— сказала барыня.— В этой Америке никто не должен думать о своем ближнем... Всякий знает только себя, а другие,— хоть пропади в этой жизни и в будущей... Ну, так вот я зачем пришла: мне сказали, что у тебя тут есть наша девушка. Или, простите, мистер Борк... Не угодно ли вам позвать сюда молодую приезжую лэди из наших крестьянок.

— Ну, а зачем вам мисс Эни?..

— Ты, кажется, сам начинаешь вмешиваться в чужие дела, мистер Берко.

Борк пожал плечами, и через минуту сверху спустилась Анна. Старая барыня надела стеклышки на нос и оглядела девушку с ног до головы. Лозищане тоже взглянули на нее, и им показалось, что барыня должна быть довольна и испуганным лицом Анны, и глазами, в которых дрожали слезы, и крепкой фигурой, и тем, как она мяла рукой конец передника.

— Умеешь ты убирать комнаты? — спросила барыня.

— Умею,— ответила Анна...

— И готовить кушанье?

— Готовила.

— И вымыть белье, и выгладить рубашку, и заправить лампу, потому что я терпеть не могу здешнего газа, и поставить самовар или сварить кофе...

— Так, ваша милость. Умею.

— Ты приехала сюда работать?

— Как же иначе? — ответила девушка совсем тихо.

— Почем я знаю, как иначе?.. Может быть, ты рассчитывала выйти замуж за президента... Только он, моя милая, уже женат...

Две крупные слезы скатились с длинных ресниц Анны и упали на белый передник, который она все переми-

нала в руках. Матвею стало очень жаль девушку, и он сказал:

— Она, ваша милость, сирота...

А Дыма прибавил:

— У нее на корабле умер отец.

— Умнее ничего не мог придумать! — сказала барыня спокойно.— Много здесь дураков прилетало, как мухи на мед... Ну, вот что. Мне некогда. Если ты приехала, чтобы работать, то я возьму тебя с завтрашнего дня. Вот этот мистер Борк укажет тебе мой дом... А эти — тебе родня?

— Нет, милостивая пани, но .

И Матвей видел, как испуганный глаз девушки остановился на нем, будто со страхом и вопросом.

— Никаких «но». Я не позволю тебе водить ни любовников, ни там двоюродных братьев. Вперед тебе говорю: я строгая. Из-за того и беру тебя, что не желаю иметь американскую барыню в кухарках. Шведки тоже уже испорчены... Слышишь? Ну, а пока до свидания. А паспорт есть?

— Есть...

— То-то.

Барыня встала, гордо кивнула головой и вышла из помещения.

— Наша!— сказал Матвей и глубоко вздохнул.

— А это, видно, и здесь так же, как и всюду на свете,— прибавил к этому Дыма.

Анна тихонько вытерла слезу концом передника.

Еврей посмотрел на девушку с сожалением и сказал:

— Ну, что вы плачете, мисс Энн! Я вам прямо скажу: это дело не пойдет, и плакать нечего...

— А почему же не пойдет?— возразил Матвей задумчиво, хотя и ему самому казалось, что не стоило ехать в Америку, чтобы попасть к такой строгой барыне. Можно бы, кажется, и пожалеть сироту... А, впрочем, в сердце лозищанина примешивалось к этому чувству другое. «*Наша* барыня, наша,— говорил он себе,— даром что строгая, зато своя и не даст девушке ни пропасть, ни избаловаться...»

— Ну, почему же не идет?— повторил он свой вопрос.

— Га! Если мисс Эни приехала сюда искать своего счастья, то я скажу, что его надо искать в другом месте. Я эту барыню знаю: она любит очень дешево платить и чтобы ей очень много работали.

— Эх, мистер Борк, а кто же этого не любит на свете? — сказал Матвей со вздохом.

— Ну, это правда, а только здесь всякий любит также получить больше, а работать меньше. А, может быть, вы думаете иначе, тогда мистер Борк будет молчать... это уже не мое дело...

Борк поднялся с своего места и вскоре ушел, одевшись, на улицу.

Он был еврей серьезный, но неудачливый, и дела его шли неважно. Помещение было занято редко, и буфет в соседней комнате работал мало. Дочь его прежде ходила на фабрику, а сын учился в коллегии; но фабрика стала, сам мистер Борк менял уже третье занятие и теперь подумывал о четвертом. Кроме того, в Америке действительно не очень любят вмешиваться в чужие дела, поэтому мистер Борк не сказал лозищанам ничего больше, кроме того, что покамест мисс Эни может помогать его дочери по хозяйству, и он ничего не возьмет с нее за помещение.

— Подождем еще, малютка,— сказал Матвей.— Может быть, придет скоро ответ от Лозинского, тогда, пожалуй, и тебе найдется работа в деревне.

— Дай-то боже,— ответили в один голос девушка и Дыма.

— А теперь,— прибавил Матвей,— напиши, Дыма, адрес.

Но тут открылось вдруг такое обстоятельство, что у лозищан кровь застыла в жилах. Дело в том, что бумажка с адресом хранилась у Матвея в кисете с табаком. Да как-то, видно, терлась и терлась, пока карандаш на ней совсем не истерся. Первое слово видно, что губерния Миннесота, а дальше ни шагу. Осмотрели этот клочок сперва Матвей, потом Дыма, потом позвали девушку, дочь Борка, не догадается ли она, потом вмешался новый знакомый Дымы — ирландец, но ничего и он не вычитал на этой бумажке.

— Что же это теперь будет? — сказал Матвей печально.

Дыма посмотрел на него с великою укоризной и постучал себя пальцем по лбу. Матвей понял, что Дыма не хочет ругать его при людях, а только показывает знаком, что́ он думает о голове Матвея. В другое время Матвей бы, может, и сам ответил, но теперь чувствовал, что все они трое по его вине идут на дно — и смолчал.

— Эх, — сказал Дыма и заскреб в голове. Заскреб в голове и Матвей, но ирландец, человек, видно, решительный, схватил конверт, написал на нем: «Миннесота, фермерскому работнику из России, Иосифу Лозинскому», и сказал:

— All right.

— Он говорит: олл райт,— обрадовался Дыма,— значит, дойдет.

— Дай-то бог,— это будет чудо господне,— сказал Матвей.

А ирландец вдобавок предложил Дыме сходить вместе, отнести письмо. И когда они выходили,— ирландец, надев свой котелок и взяв в руки тросточку, а Дыма в своей свитке и бараньей шапке,— то Матвею показались они оба какими-то странными, точно он их видел во сне. Особенно, когда, у порога, ирландец, как-то изогнувшись, предложил Дыме выйти первому. Дыма, изогнувшись совершенно так же, предлагал пройти вперед ирландцу. Потом они двинулись оба вместе, и тут уж Дыма постарался все-таки пройти первым. Ирландец крепко хлопнул его по плечу и захохотал... Дыма посмотрел на Матвея с гордым видом.

IX

Дело это было в пятницу, уже после обеда.

Матвей ждал Дыму, но Дыма с ирландцем долго не шел. Матвей сел у окна, глядя, как по улице снует народ, ползут огромные, как дома, фургоны, летят поезда. На небе, поднявшись над крышами, показалась звезда. Роза, девушка, дочь Борка, покрыла стол в соседней комнате белою скатертью и поставила на нем свечи в чистых подсвечниках и два хлеба прикрыла белыми полотенцами.

От этих приготовлений у Матвея что-то вдруг прилило к сердцу. Он вспомнил, что сегодня пятница и что

таким образом на его родине евреи приготовляются всегда встречать субботу.

Действительно, скоро мистер Борк вернулся из синагоги, важный, молчаливый и, как показалось Матвею, очень печальный. Он стоял над столом, покачивался и жужжал свои молитвы с закрытыми глазами, между тем как в окно рвался шум и грохот улицы, а из третьей комнаты доносился смех молодого Джона, вернувшегося из своей «коллегии» и рассказывавшего сестре и Аннушке что-то веселое. На зов отца девушка вбежала в комнату и подала ему на руки воду. Он мыл руки, потом концы пальцев, брызгал воду и бормотал слова молитвы, а девушка, видно, вспомнила что-то смешное и глядела на брата, который подошел к столу и ждал, покачиваясь на каблуках. Затем они уселись. Молодые люди продолжали весело разговаривать. Один Борк что-то порой шептал про себя, тихонько разрезывая луковицу или белый хлеб, и часто и глубоко вздыхал...

Лозищанин глядел на еврея и вспоминал родину. Вот и шабаш здесь не такой, думал он про себя, и родное местечко встало в памяти, как живое. Вот засияла вечерняя звезда над потемневшим лесом, и городок стихает, даже перестали дымиться трубы в еврейских домах. Вот засветилась огнями синагога, зажглись желтые свечи в окнах лачуг, евреи степенно идут по домам, смолкает на улицах говор и топот шагов, а зато в каждое окно можно видеть, как хозяин дома благословляет стол, окруженный семьей. В это время двери всюду открыты, чтобы Авраам, Иаков и другие патриархи могли ходить невидимо от одной лачуги к другой и заходить в дома. Знакомые евреи говорили Матвею, что в это время ангелы ходят вместе с Авраамом, а черти, как вороны, носятся над крышами, не смея приблизиться к порогу.

Разумеется, в своем месте Матвей смеялся над этими пустяками: очень нужно Аврааму, которого чтут также и христиане, заходить в грязные лачуги некрещеных жидов! Но теперь ему стало очень обидно за Борка и за то, что даже евреи, такой крепкий в своей вере народ, забыли здесь свой обычай... Молодые люди наскоро отужинали и убежали опять в другую комна-

ту, а Борк остался один. И у Матвея защемило сердце при виде одинокой и грустной фигуры еврея.

Мистер Борк, как бы угадывая мысли Лозинского, вышел из-за стола и сел с ним рядом.

— Вижу я, господин Борк,— обратился к нему Матвей,— что твои дети не очень почитают праздник?

Борк задумчиво погладил бороду и сказал:

— А! хотите вы знать, что я вам скажу? Америка— такая сторона, такая сторона... Она перемалывает людей, как хорошая мельница.

— Что, видно, и здесь не очень-то любят вашу веру?— сказал Матвей наставительно.

— Э, вы совсем не то говорите, что надо. Если бы вы захотели, я повел бы вас в нашу синагогу... Ну, вы увидели бы, какая у нас хорошая синагога. А наш раввин здесь в таком почете, как и всякий священник. И когда его вызывали на суд, то он сидел с их епископом, и они говорили друг с другом... Ну совсем так, как двоюродные братья.

— А вы бросаете все-таки свою веру?— сказал лозищанин. Ему не совсем-то верилось, чтобы и здесь можно было приравнять раввина к священнику.

— Ну, это очень трудно вам объяснить. Видите что: Америка такая хитрая сторона, она не трогает ничьей веры. Боже сохрани! Она берет себе человека. Ну, а когда человек станет другой, то и вера у него станет уже другая. Не понимаете? Ну, хорошо. Я вам буду объяснять еще иначе. Моя дочь кончила школу, а в это время мои дела пошли очень плохо. Ну, мне говорят, пусть ваша дочь идет на фабрику. Плата будет десять долларов в неделю, а когда выучится — тогда плата будет и двенадцать долларов в неделю. Ну, что вы скажете на это? Ведь это двадцать четыре рубля в неделю,— хорошие деньги?

— Очень хорошие деньги,— подтвердил Матвей.— Такие деньги у нас платят работнику от Покрова до Пасхи... Правда, на хозяйских харчах.

— Ну, вот. Она пошла на фабрику к мистеру Бэркли. А мистер Бэркли говорит: «Хорошо. Еврейки работают не хуже других. Я могу принимать еврейку. Но только я не могу, чтобы у меня станок стоял пустой в субботу. Это не платит. Ты должна ходить и в субботу...»

— Ну?

— Ну... Я сказал: лучше я буду помирать или выйду на улицу продавать спички, а не позволю дочери ломать святую субботу. Хорошо. А в это время приехал к нам мистер Мозес. Вы не знаете, разумеется, кто такой мистер Мозес. Это один себе еврей из Луисвилля. У него ум, как огонь, а язык, как молот. Ну, он перековал всех своих евреев в Луисвилле и поехал в другие города. Собрались мы в синагогу слушать этого Мозеса, а он и говорит: «Слышал я, что многие из вас терпят нужду и умирают, а не хотят ломать субботу». Мы говорим: ну, это и правда. Суббота святая! Суббота царица, свет Израиля! А он говорит: «Вы похожи на человека, который собрался ехать, сел на осла задом наперед и держится за хвост. Вы смотрите назад, а не вперед, и потому все попадете в яму. Но если бы вы хорошо смотрели назад, то и тогда вы бы могли догадаться, куда вам ехать. Потому что, когда сынов Израиля стали избивать язычники, а было это дело при Маккавеях, то ваши отцы погибали, как овцы, потому что не брали меча в субботу. Ну, что тогда сказал господь? Господь сказал: «Если так будет дальше, то из-за субботы всех моих людей перережут, как стадо, и некому будет праздновать самую субботу... пусть уж лучше берут меч в субботу, чтобы у меня остались мои люди». Теперь подумайте сами: если можно брать меч, чтобы убивать людей в субботу, то отчего не взять в руки станок, чтобы вам не помирать с голоду в чужой стороне?» А! Я же вам говорю: это очень умный человек, этот Мозес.

Матвей посмотрел на еврея, у которого странно сверкали глаза, и сказал:

— Видно, и тебя начинает тянуть туда же. А я тебя считал почтенным человеком.

— Ну,— ответил Борк, вздохнув,— мы, старики, все-таки держимся, а молодежь... А! что тут толковать! Вот и моя дочь пришла ко мне и говорит: «Как хочешь, отец, незачем нам пропадать. Я пойду на фабрику в субботу. Пусть наша суббота будет в воскресение».

Борк взял свою бороду обеими руками, посмотрел на Матвея долгим взглядом и сказал:

— Вы еще не знаете, какая это сторона Америка! Вот вы посмотрите сами, как это вам понравится. Мистер Мозес сделал из своей синагоги настоящую конгрегешен, как у американцев. И знаете, что он делает? Он венчает христиан с еврейками, а евреек с христианами!

— Послушай, Берко,— сказал Матвей, начиная сердиться.— Ты, кажется, шутишь надо мной.

Но Борк смотрел на него все так же серьезно, и по его печальным глазам Матвей понял, что он не шутит.

— Да,— сказал он, вздохнув.— Вот вы увидите сами. Вы еще молодой человек,— прибавил он загадочно.— Ну, а наши молодые люди уже все реформаторы или, еще хуже — эпикурейцы... Джон, Джон! А поди сюда на минуту!— крикнул он сыну.

Смех и разговоры в соседней комнате стихли, и молодой Джон вышел, играя своей цепочкой. Роза с любопытством выглянула из-за дверей.

— Послушай, Джон,— сказал ему Борк.— Вот господин Лозинский осуждает вас, зачем вы не исполняете веру отцов.

Джон, которому, видно, не очень любопытно было разговаривать об этом,— поиграл цепочкой и сказал:

— А разве господин тоже еврей?

Матвей выпрямился. У себя он бы, может быть, поучил этого молокососа за такое обидное слово, но теперь он только ответил:

— Я христианин, и деды, и отцы были христиане — греко-униаты...

— Олл райт!— сказал молодой Джон.— А как вы мне скажете: можно ли спастись еврею?

Матвей подумал и сказал, немного смутившись:

— По совести тебе, молодой человек, скажу: не думаю...

— Уэлл! Так зачем вы хотите, чтобы я держался такой веры, в которой моя душа должна пропасть...

И видя, что Матвей долго не соберется ответить,— он повернулся и опять ушел к сестре.

— А ну! Что вы скажете?— спросил Борк, глядя на лозищанина острым взглядом.— Вот как они тут умеют рассуждать. Поверите вы мне, на каждое ваше слово он вам сейчас вот так ответит, что у вас язык присохнет. По-нашему, лучшая вера та, в которой человек ро-

дился,— вера отцов и дедов. Так мы думаем, глупые старики.

— Разумеется,— ответил Матвей, обрадовавшись.

— Ну, а знаете, что он вам скажет на это?

— Ну?

— Ну, он говорит так: значит, будет на свете много самых лучших вер, потому что ваши деды верили по-вашему... Так? Ага! А наши деды — по-нашему. Ну, что же дальше? А дальше будет вот что: лучшая вера такая, какую человек выберет по своей мысли... Вот как они говорят, молодые люди...

— А чтоб им провалиться,— сказал Матвей.— Да это значит, сколько голов, столько вер.

— А что вы думаете,— тут их разве мало? Тут что ни улица, то своя конгрегешен. Вот нарочно подите в воскресенье в Бруклин, так даже можете не мало посмеяться...

— Посмеяться? В церкви?

— Ну... они и молятся, и смеются, и говорят о своих делах, и опять молятся... Я вам говорю,— Америка такая сторона... Вот увидите сами...

И долго еще эти два человека: старый еврей и молодой лозищанин, сидели вечером и говорили о том, как верят в Америке. А в соседней комнате молодые люди все болтали и смеялись, а за стеной глухо гремел огромный город...

X

Город гремел, а Лозинский, помолившись богу и рано ложась на ночь, закрывал уши, чтобы не слышать этого страшного, тяжелого грохота. Он старался забыть о нем и думать о том, что будет, когда они разыщут Осипа и устроятся с ним в деревне...

В той самой деревне, которая померещилась им еще в Лозищах, из-за которой Лозищи показались им бедны и скучны, из-за которой они проехали моря и земли, которая виднелась им из-за дали океана, в туманных мечтах, как земля обетованная, как вторая родина, которая должна быть такая же дорогая, как и старая родина.

Такая же, как и старая, только гораздо лучше...

Такие же люди, только добрее. Такие же мужики, в таких же свитках, только мужики похожи на старых лозищан, еще не забывших о своих старых правах, а свитки тоньше и чище, только дети здоровее и все обучены в школе, только земли больше, и земля родит не по-нашему; только лошади крепче и сытее, только плуги берут шире и глубже, только коровы дают по ведру на удой...

И такие же села, только побольше, да улицы шире и чище, да избы просторнее и светлее, и крыты не соломою, а тесом... а, может быть, и соломой,— только новой и свежей... И должно быть, около каждого дома — садик, а на краю села у выезда корчма с приветливым американским жидом, где по вечерам гудит бас, тонко подпевает скрипка и слышен в весенние теплые вечера топот и песни до ранней зари,— как было когда-то в старые годы в Лозищах. А посередине села школа, а недалеко от школы — церковка, может быть даже униатская.

А в селе такие же девушки и молодицы, как вот эта Анна, только одеты чище и лица у них не такие запуганные, как у Анны, и глаза смеются, а не плачут.

Все такое же, только лучше. И, конечно, такие же начальники в селе, и такой же писарь, только и писарь больше боится бога и высшего начальства. Потому что и господа в этих местах должны быть добрее и всё только думают и смотрят, чтобы простому человеку жилось в деревне как можно лучше...

С этими мыслями лозищанин засыпал, стараясь не слышать, что кругом стоит шум, глухой, непрерывный, глубокий. Как ветер по лесу, пронесся опять под окнами ночной поезд, и окна тихо прозвенели и смолкли,— а Лозинскому казалось, что это опять гудит океан за бортом парохода... И когда он прижимался к подушке, то опять что-то стучало, ворочалось, громыхало под ухом... Это потому, что над землей и в земле стучали без отдыха машины, вертелись чугунные колеса, бежали канаты...

И вот ночью Матвею приснилось, что кто-то стоит над ним, огромный, без лица и не похожий совсем на человека, стоит и кричит, совсем так, как еще недавно кричал в его ушах океан под ночным ветром:

— Глупые люди, бедные, темные люди. Нет такой деревни на свете, и нет таких мужиков, и господ таких нету, и нет таких писарей. И поле здесь не такое, и не то здесь в поле родится, и люди иные. И нет уже тебя, Матвея Оглобли, и нет твоего приятеля Дымы, и нету Анны!.. Прежний Матвей уже умер, и умер Дыма, и умерла ваша прежняя вера, и сердце у вас станет другое, и иная душа, и чужая молитва... И если бы встала твоя мать из заброшенной могилы, на тихом кладбище под лозищанским лесом,— то здесь в детях твоих она не признала бы своих внуков... Потому что они не будут похожи ни на отца, ни на тебя, ни на дедов и прадедов... А будут американцы...

Матвей проснулся весь в поту и сел на своей постели.

Он протирал глаза и не мог вспомнить, где он. В комнате было темно, но кто-то ходил, кто-то топал, кто-то сопел и кто-то стоял над самой его постелью.

Потом вдруг комната осветилась, потому что кто-то зажег газовый рожок спичкой. Комната осветилась, а Матвей все еще сидел и ничего не понимал, и говорил с испугом:

— Всякое дыхание да хвалит господа.

— Ну, что еще?.. Чего ты это испугался? — сказал кто-то знакомым голосом. Голос был как будто Дымы, но что-то еще было в нем странное и чужое. И человек, стоявший над кроватью Матвея, был тоже Дыма, но как будто какой-то другой, на Дыму не похожий... Матвей думал, что это все еще сон, и стал протирать кулаками глаза... Когда он открыл их, в комнате было еще светлее, и по ней двигались люди, только что вернувшиеся целой гурьбой... Странные люди, чужие люди, люди непонятные и незнакомые, люди неизвестного звания, люди с такими лицами, по которым нельзя было определить, добрые они или злые, нравятся ли они человеку, или не нравятся... Они нахлынули в комнату, точно толпа странных привидений, которые человеку видятся порой только во сне, и тихо, без шума занимали свои места. И Матвей долго еще не мог сообразить — кто это, откуда, что здесь делают и что он сам делает среди них...

А потом вспомнил: да ведь это американцы. Те, что летают по воздуху, что смеются в церквах, что женятся

у раввинов на еврейках, что выбирают себе веру, кто как захочет... Те, что берут себе всего человека, и тогда у него тоже меняется вера...

А тот, что стоял над самой постелью,— неужели это Дыма? Да, это и был Дыма, но только опять такой, как будто он приснился во сне. Он очень торопился раздеваться и отворачивал лицо. Однако от Матвея не ускользнуло, что этот Дыма скидает с себя совсем не свою одежду. На нем не было ни белой свитки, ни красного пояса, купленного перед самым отъездом в местечке, ни высоких смазных сапог, ни широких шаровар из коричневой коломянки. Вместо всего этого, он теперь старался поскорее вылезти из какой-то немецкой кургузой куртки, не закрывавшей даже как следует того, что должно быть закрыто хорошей одеждой; шею его подпирал высокий воротник крахмальной рубашки, а ноги нельзя было освободить из узких штанов... Когда же он, наконец, разделся и полез к Матвею под одно одеяло,— то Матвей даже отшатнулся, до такой степени самое лицо Дымы стало чужое. Волосы его были коротко острижены и торчали вихром на лбу, усы подстрижены над губой, а от бороды осталась только узкая американская лопатка.

— Побойся ты бога, Дыма! — сказал Матвей, вглядевшись.— На кого ты похож, и что это ты над собою сделал?

Дыма, по-видимому, чувствовал себя так, как человек, который вышел на базар, забывши надеть штаны... Он как-то все отворачивал лицо, закрывал рот рукою и говорил каким-то виноватым и слащавым голосом:

— Да вот, как меня видишь... Зашел с проклятым ирландцем в цирульню, чтобы меня немного остригли. Поверь совести, Матвей, я хотел чуть-чуть... А вышло вот что. Посадили меня в кресло. Кресло, знаешь, такое хорошее, а только как сел в него — и кончено. Ноги сейчас схватило чем-то и кинуло кверху, голову отвалило назад: ей-богу, как баран на бойне... Вижу, делает немец не так, как надо, а двинуться не могу. Посмотрел потом на себя в зеркало,— не я, да и только. «Что ты, говорю, собачий сын, над человеком сделал?» А они оба довольны, хлопают меня по плечу: «Уэлл-уэлл, вери уэлл!».

Дыма тихонько полез под одеяло, стараясь улечься на краю постели. Однако, когда в комнате погасили огонь и последний из американцев улегся, он сначала все еще лицемерно вздохнул, потом поправился на своем месте и, наконец, сказал:

— Ну, а все-таки, признайся, Матвей... Все-таки этак человек как-то больше похож на американца.

— А зачем тебе непременно походить на американца? — сказал Матвей холодно...

— И знаешь,— живо продолжал Дыма, не слушая,— когда я, вдобавок, выменял у еврея на базаре эту одежду... с небольшой, правда, придачей... то уже на улице подошел ко мне какой-то господин и заговорил по-английски...

— Ах, Иван, Иван,— сказал Матвей с такой горечью, что Дыму что-то как бы укололо и он заворочался на месте.— Правду, видно, говорит этот Берко: ты уже скоро забудешь и свою веру...

— Иные люди,— заворчал Дыма, отворачиваясь,— так упрямы, как лозищанский вол... Им лучше, чтобы в них кидали на улице корками...

— Вот ты уже ругаешься Лозищами, в которых родился,— сказал Матвей и замолчал. Дыма еще поворчал, поворочался, повздыхал и затем заговорил тихо, немного заискивающим голосом:

— Охота тебе слушать Берка. Вот он облаял этого ирландца... И совсем напрасно... Знаешь, я-таки разузнал, что это такое Тамани-холл и как продают свой голос... Дело совсем простое... Видишь ли... Они тут себе выбирают голову, судей и прочих там чиновников... Одни подают голоса за одних, другие за других... Ну, понимаешь, всякому хочется попасть повыше... Вот они и платят... Только, говорит, подай голос за меня... Кто соберет десять голосов, кто двадцать... Ты, Матвей, слушаешь меня?

И, хотя Матвей ничего не ответил, он продолжал:

— И, по-моему, это-таки справедливо: хочешь себе,— дай же и людям... И знаешь еще что?..

Тут Дыма понизил голос до шепота и повернулся совсем к Матвею:

— Они говорят — этот ирландец и еврей, у которого я покупал одежду,— что и нам бы можно... Ко-

нечно, голоса не совсем настоящие, но тоже чего-нибудь стоят...

Матвей хотел ответить что-то очень внушительное, но в это время с одной из кроватей послышался сердитый окрик какого-то американца. Дыма разобрал только одно слово devil, но и из него понял, что их обоих посылают к дьяволу за то, что они мешают спать... Он скорчился и юркнул под одеяло.

А наверху, в маленькой комнатке, спали вместе Роза и Анна. Когда им пришлось ложиться, Роза посмотрела на Аннушку и спросила:

— Вам, может быть, неприятно будет спать на одной постели с еврейкой?

Анна покраснела и сконфузилась.

Она собиралась молиться, вынула свой образок и только что хотела приладить его где-нибудь в уголку, как слова Розы напомнили ей, что она — в еврейском помещении. Она стояла в нерешительности, с образком в руках. Роза все смотрела на нее и потом сказала:

— Вы хотите молиться и... я вам мешаю... Я сейчас уйду?

Анна сконфузилась. Она действительно думала, хорошо ли молиться богу в присутствии еврейки, и позволит ли еврейка молиться по-христиански в своей комнате.

— Нет,— ответила она.— Только... я думала,— не будет ли вам неприятно?

— Молитесь,— просто сказала Роза и стала оправлять постель.

Аннушка прочитала свои молитвы, и обе девушки стали раздеваться. Потом Роза завернула газовый рожок, и свет погас. Через некоторое время в темноте обозначилось окно, а за окном высоко над продолжающим гудеть огромным городом стояла небольшая, бледная луна.

— О чем вы думаете? — спросила Роза лежащую с ней рядом Анну.

— Я думаю... видят ли теперь этот самый месяц в нашем городишке...

— Нет, не видят,— ответила Роза,— у вас теперь день... А какой ваш город?

— Наш город — Дубно...

— Дубно? — живо подхватила Роза.— Мы тоже жили в Дубне... А зачем вы оттуда уехали?

— Братья уехали раньше... Я жила с отцом и младшим братом. А после этого брата... услали.

— Что он сделал?

— Он... вы не думайте... Он не вор и не что-нибудь... только...

Она замялась. Она не хотела сказать, что, когда разбивали еврейские дома, он разбивал тоже, и после стали драться с войсками... Она думала, что лучше не говорить этого, и замолчала.

— Что ж,— сказала Роза,— со всяким может случиться несчастие. Мы жили спокойно и тоже не думали ехать так далеко... А потом... вы, может быть, знаете... когда стали громить евреев... Ну, что людям нужно? У нас все разбили, и... моя мать...

Голос Розы задрожал.

— Она была слабая... и они ее очень испугали... и она умерла...

Анна подумала, что она хорошо сделала, не сказав Розе всего о брате... У нее как-то странно сжалось сердце... И еще долго она лежала молча, и ей казались странными и этот глухо гудящий город, и люди, и то, что она лежит на одной постели с еврейкой, и то, что она молилась в еврейской комнате, и что эта еврейка кажется ей совсем не такой, какой представлялась бы там, на родине...

Начинало уже светать, когда, наконец, обе девушки заснули крепким молодым сном. А в это самое время Матвей, приподнявшись на своей постели после легкого забытья, все старался припомнить, где он и что с ним случилось. Ненадолго притихший было город начинал просыпаться за стеной. Быстрее ворочались колеса на какой-то близкой станции, и уже пронесся поезд, шумя, как ветер в бору перед дождливым утром. Рядом на другой подушке лежала голова Дымы, но Матвей с трудом узнавал своего приятеля. Лицо Дымы было красно, потому что его сильно подпирал тугой воротник не снятой на ночь крахмальной сорочки. Прежние его казацкие длинные усы были подстрижены, и один еще держался кверху тонко нафабренным кончиком. Вообще,— при виде этого почти чужого лица Матвею стало

как-то обидно... Ему казалось, что Дыма становится чужим...

XI

И действительно, с следующего утра стало заметно, что у Ивана Дымы начал портиться характер...

Когда он проснулся, то прежде всего, наскоро одевшись, подошел к зеркалу и стал опять закручивать усы кверху, что делало его совсем не похожим на прежнего Дыму. Потом, едва поздоровавшись с Матвеем, подошел к ирландцу Падди и стал разговаривать с ним, видимо, гордясь его знакомством и как будто даже щеголяя перед Матвеем своими развязными манерами. Матвею казалось, однако, что остальные американцы глядят на Дыму с улыбкой.

Компания жильцов мистера Борка была довольно разнообразна. Были тут и немцы, и итальянец, и два-три англичанина, и несколько ирландцев. Часть этих людей казалась Матвею солидными и серьезными. Они вставали утром, умывались в ванной комнате, мало разговаривали, пили в соседней комнате кофе, который подавали им Роза с Анной, и потом уходили на работу или на поиски работы. Но была тут и кучка людей, которые оставались на целые дни, курили, жевали табак и страшно плевались, стараясь попадать в камин, иной раз через головы соседей. У них не было определенных часов работы. Иной раз они уходили куда-то гурьбой и тогда звали с собой и Дыму... В разговорах часто слышалось слово Тамани-холл... Дела этой компании, по-видимому, шли в это время хорошо. Возвращаясь из своих похождений в помещение Борка, они часто громко хохотали... И Дыма хохотал с ними, что Матвею казалось очень противно.

Так прошло еще два-три дня.

Характер Дымы портился все больше. Правда, он сделал большие, даже удивительные успехи в языке. За две недели на море и за несколько дней у Борка он уже говорил целые фразы, мог спросить дорогу, мог поторговаться в лавке и при помощи рук и разных движений— разговаривал с Падди так, что тот его понимал и передавал другим его слова... Это, конечно, не заслуживало

еще осуждения. Но Матвея огорчало и даже сердило, что Дыма не просто говорит, а как будто гримасничает и передразнивает кого-то: вытягивает нижнюю губу, жует, шипит, картавит... «Взял бы хоть пример с жида,— думал про него Матвей.— Он тоже говорит с американцами на их языке, но — как степенный и серьезный человек». А Дыма уже и «мистер Борк» произносит как-то особенно картаво,— мисте'г Бег'к. А иной раз, забывшись, он уже и Матвея начинал называть мистер Мэтью... В таких случаях Матвей смотрел на него долгим укоризненным взглядом — и он немного смущался.

В один день, после того, как Падди долго говорил что-то Дыме, указывая глазами на Матвея,— они оба ушли куда-то, вероятно к еврею-лавочнику, который в трудных случаях служил им переводчиком. Вернувшись, Дыма подошел к Матвею и сказал:

— Послушай, Матвей, что я тебе скажу. Сидим мы здесь оба без дела и только тратим кровные деньги. А между тем, можно бы действительно кое-что заработать.

Матвей поднял глаза и, ничего не говоря, ожидал, что Дыма скажет дальше.

— Вот видишь ли... Тут эти вот шестеро — агенты или, по-нашему, факторы Тамани-холла... Это, видишь ли, такая, скажем, себе компания... Скоро выборы. И они хотят выбрать в мэры над городом своего человека. И всех тогда назначат тоже своих... Ну, и тогда уже делают в городе, что хотят...

— Ну, так что же? — спросил Матвей.

— Так вот они собирают голоса. Они говорят, что, если бы оба наши голоса, то они и дали бы больше, чем за один мой... А нам что это стоит? Нужно только тут в одном месте записаться и не говорить, что мы недавно приехали. А потом... Ну, они все сделают и укажут...

Матвей вспомнил, что раз уже Дыма заговаривал об этом; вспомнил также и серьезное лицо Борка, и презрительное выражение его печальных глаз, когда он говорил о занятиях Падди. Из всего этого в душе Матвея сложилось решение, а в своих решениях он был упрям, как бык. Поэтому он отказался наотрез.

— Но отчего же ты не хочешь? Скажи! — спросил Дыма с неудовольствием.

— Не хочу,— упрямо ответил Матвей.— Голос дан человеку не для того, чтобы его продавать.

— Э, глупости! — сказал Дыма.—Ведь не останешься же ты после этого без голоса. Даже не охрипнешь. Если люди покупают, так отчего не продать? Все-таки не убудет в кошеле, а прибудет...

— А помнишь, как когда-то эконом уговаривал нас, чтобы мы подписали его бумагу... Что бы тогда вышло?

— Гм... да...— пробормотал Дыма, немного растерявшись.— Потеряли бы всю чиншевую землю! Так ведь там было что терять. А тут... что нам за дело? Дают, черт их бей, деньги и кончено.

Матвей не нашел, что ответить, но он был человек упрямый.

— Не пойду,— сказал он,— и если хочешь меня послушать, то и тебе не советую. Не связывайся ты с этим лодырем.

И Матвей без церемонии ткнул пальцем по направлению к Падди, который внимательно следил за разговором и, увидя, что Матвей указывает на него, весело закивал головой. Дыма, конечно, тоже не послушался.

— Ну что ж,— сказал он,— когда ты такой, то заработаю один. Все-таки хоть что-нибудь.

И в тот же день он сообщил, что его уже записали...

XII

Письма все не было, а дни шли за днями. Матвей больше сидел дома, ожидая, когда, наконец, он попадет в американскую деревню, а Дыма часто уходил и, возвращаясь, рассказывал Матвею что-нибудь новое.

— Сегодня Падди сводил меня на кулачную драку,— сказал он однажды.— Ты, Матвей, и представить себе не можешь, как этот народ любит драться. Как только двое заспорят, то остальные станут в круг,— кто с трубкой, кто с сигарой, кто с жвачкой, и смотрят. А те сейчас куртки долой, засучат рукава, завертят-завертят руками и—хлоп! Кто половчее, глядишь, и засветил другому фонарь... И притом больше всего любят бить по ли-

цу, в нос, или, если уж не удастся — в ухо. А в темя или под сердце — боже упаси! Но дерутся, заметь, не сердито и, как только один полетит пятками кверху, так его сейчас поднимут, обмоют лицо и опять сядут вместе за игру или там за кружки, как будто бы ничего и не случилось. И начнут говорить, кто как ударил и как бы можно ударить еще лучше.

— Ну, это правда,— подтвердил Борк, слышавший рассказ Дымы.— Во всей Америке бокс очень любят! И если еще, вдобавок, выищутся какие-нибудь необыкновенные силачи, то ездят из города в город и тузят друг друга на людях за хорошие деньги. И знаете что: в это время за ними ездят газетчики и все записывают. И даже посылают телеграммы: «В два часа 15 минут 4 секунды Джон подбил Джеку правый глаз вот таким способом, а через полминуты Джек свалил Джона с ног так-то». И тогда в разных городах люди сидят в ресторанах, а им читают известия. И они спорят: как бы можно ударить Джона или Джека еще лучше... И что вы думаете: проигрывают на этом большие деньги!

— Лодыри! — сказал на это Матвей...

В один день Дыма пришел под вечер и сказал, что сегодня они-таки выбрали нового мэра и именно того, кого хотелось Тамани-холлу.

— Жарко было, о вэлл! — сказал он хвастливо.— А все-таки наша взяла... И знаешь: Падди мне говорит, что много помогли наши «ненастоящие голоса».

В этот день Падди и его компания были особенно веселы и шумны. Они ходили по кабачкам, много пили и угощали Дыму. Дыма вернулся с ними красный, говорил громко, держался особенно развязно. Матвей сидел на своей постели, около газового рожка, и, пристроив небольшой столик, читал библию, стараясь не обращать внимания на поведение Дымы.

Однако через несколько минут Дыма подошел к нему и, положив ему руку на плечо, наклонился к его лицу так близко, что от него запахло даже вином.

— Слушай, Матвей,— сказал он каким-то заискивающим голосом.— Вот видишь, что я тебе хочу сказать. Они... хотели бы угостить тебя.

— Спасибо, я не хочу,— ответил Матвей, не отрываясь от книги.

— И видишь, что еще... Пожалуйста, не прими там как-нибудь... того... в дурную сторону. У всякого народа свой обычай, и в чужой монастырь, как говорится, не ходят со своим уставом.

— К чему ты это ведешь? — спросил Матвей строго.

— А к тому, что этот Падди хочет с тобой драться...

Матвей даже разинул рот от удивления, и два приятеля с полминуты молча глядели друг на друга. Потом Дыма отвел глаза и сказал:

— Когда уже у них здесь такой обычай...

— Послушай, Дыма,— сказал Матвей серьезно.— Почему ты думаешь, что их обычай непременно хорош? А по-моему, у них много таких обычаев, которых лучше не перенимать крещеному человеку. Это говорю тебе я, Матвей Лозинский, для твоей пользы. Вот ты уже переменил себе лицо, а потом застыдишься и своей веры. И когда придешь на тот свет, то и родная мать не узнает, что ты был лозищанин.

— Э! — ответил Дыма с неудовольствием.— Где Крым, где Рим, а где панская корчма. С какой стати ты приплел сюда мою покойницу мать? Мне говорят: скажи, я и сказал. А ты как себе хочешь.

— Ну, так я и говорю: скажи ты своим приятелям, пусть не просят своего бога, чтобы я стал с ними драться...

— Ну, вот видишь,— обрадовался Дыма.— Я им как раз говорил, что ты у нас самый сильный человек не только в Лозищах, но и во всем уезде. А они говорят: ты не знаешь правильного боя.

Дыма отошел к ирландцам, а Матвей опять обратился к старой библии и погрузился в чтение.

Он стал читать, шевеля губами, о том, как двое молодых людей пришли в Содом к Лоту и как жители города захотели взять их к себе. Потом он поднял голову и начал думать. Он думал о том, что вот они с Дымой как раз такие молодые люди в этом городе. Только у Дымы сразу стал портиться характер, и он сам пошел к жителям города...

Пока он размышлял таким образом, кто-то вдруг погасил рожок, около которого он сидел. Матвей оглянулся. За ним, недалеко, сидел мистер Падди, ирландец, приятель Дымы, и невинно улыбался.

Матвей достал спичку, зажег рожок и опять принялся за книгу. Однако догадавшись, что Падди на этом не кончит,— он тотчас оглянулся. Падди стоял сзади и уже вытянул рот, чтобы дунуть на огонь из-за плеча Матвея.

Матвей не очень сильно двинул локтем, и Падди упал на постель.

— All right (хорошо),— сказал он, подымаясь и скидая куртку.

— Very well (отлично),— сказали его товарищи, отодвигая стулья и подходя к тому месту.

— Ал райт,— повторил за другими и Дыма как-то радостно.— Теперь выходи, Матвей, на середину и, главное, защищай лицо. Он будет бить по носу и в губы. Я знаю его манеру...

Но Матвей, как ни в чем не бывало, сел опять и раскрыл свою книгу.

Ирландцы были озадачены. Однако, так как у них на все есть свои правила, то вскоре Падди стал подходить к Матвею, приседая и вертя кулаками, точно мельницей.

«Ну, делать нечего,— подумал Матвей,— если уж ты сам этого хочешь».

И не успел еще Падди изловчиться, как уже сильный лозищанин встал во весь рост, как медведь на охотника, поднял над головой Падди обе руки, потом сгреб его за густые, хотя и не длинные волосы, нагнул и, зажав голову коленями, несколько раз шлепнул очень громко по мягкому месту.

Все это случилось так быстро, что никто не успел и оглянуться. А когда Падди поднялся, озираясь кругом, точно новорожденный младенец, который не знает, что с ним было до этой минуты,— то все невольно покатились со смеху.

На несколько минут большая комната мистера Борка оглашалась только хохотом на разные лады и разными голосами. Даже длинный американец, с сухим лицом и рыжей бородой в виде лопатки, человек в очень потертом клетчатом костюме, на высохшем и морщинистом лице которого никогда не видно было даже подобия улыбки, теперь делал какие-то невероятные гримасы, как будто хватил нечаянно уксусу, и из его горла вылетало что-

то такое, как будто он сильно заикался. А один безусый юноша, недавно занявший последнюю кровать у мистера Борка, кинулся на свою постель и хохотал звонко, неудержимо, лягая в воздухе ногами, как будто боялся, что иначе смех задушит его насмерть. На этот шум из других комнат прибежали сначала Роза, а потом и Анна. Роза видела только, как Падди оглядывался по комнате, и все-таки упала на стул у двери, свесив руки и закинув голову от смеха. А Анна уже ничего не видела, но все-таки смеялась, зараженная общим хохотом и глядя на сухопарого американца, который все еще икал и как будто давился.

Дыма тоже смеялся и сначала очень гордился своим приятелем.

— А, что! Я говорил вам,— сказал он, поворачиваясь к смеющимся американцам и забывая даже перевести свои слова.— Га! Вот как дерутся у нас, в Лозищах.

Но после, когда смех постепенно утих и все принялись горячо обсуждать случившееся, лицо Дымы стало омрачаться, и через некоторое время он сказал так, что Матвей расслышал ясно его слова:

— Хорошо, нечего сказать: драться, точно медведь у берлоги... Это стыд перед образованными людьми...

— Ничего,— ответил Матвей спокойно, опять как ни в чем не бывало, принимаясь за библию,— хоть по-медвежьи, а здорово. В другой раз твой Падди будет знать...

Ирландцы пошумели еще некоторое время, потом расступились, выпустив Падди, который опять вышел вперед и пошел на Матвея, сжав плечи, втянув в них голову, опустивши руки и изгибаясь, как змея. Матвей стоял, глядя с некоторым удивлением на его странные ужимки, и уже опять было приготовился повторить прежний урок, как вдруг ирландец присел; руки Матвея напрасно скользнули в воздухе, ноги как будто сами поднялись, и он полетел через постель на спину.

Кровать затрещала, и огромный лозищанин свалился на пол.

— All right,— одобрительно раздалось в куче ирландцев, а Падди, довольный, стал надевать свою куртку. Но в это время Матвей тяжело поднялся из-за кровати.

Его нельзя было узнать: всегда кроткие глаза его теперь глядели дико, волосы торчали дыбом, зубы скрипели, и он озирался, что́ бы ему взять в руку.

Ирландцы взяли Падди в середину и сомкнулись тревожно, как стадо при виде медведя. Все они глядели на этого огромного человека, ожидая чего-то страшного, тем более, что Дыма тоже стоял перепуганный и бледный...

Трудно сказать, что было бы дальше, но в эту минуту Анна перебежала через комнату и схватила Матвея за руку.

— Для бога,— сказала она только.— О, для бога!..

Матвей поглядел на нее сначала мутным, непонимающим взглядом, но через несколько секунд тяжело перевел дух. Потом отвернулся и сел к окну.

Ирландцы успокоились. Падди хотел даже подойти к Матвею и протянул руку; но Дыма остановил его, и они оставили Матвея в покое.

А за окном весь мир представлялся сплошною тьмой, усеянной светлыми окнами. Окна большие и окна маленькие, окна светились внизу, и окна стояли где-то высоко в небе, окна яркие и веселые, окна чуть видные и будто прижмуренные. Окна вспыхивали и угасали, наконец, ряды окон пролетали мимо, и в них мелькали, проносились и исчезали чьи-то фигуры, чьи-то головы, чьи-то едва видные лица...

XIII

Поздним вечером Дыма осторожно улегся в постель рядом с Матвеем, который лежал, заложив руки за голову, и о чем-то думал, уставивши глаза и сдвинувши брови. Все уже спали, когда Дыма, собравшись с духом, сказал:

— И чего бы, кажется, сердиться на приятеля... Разве я тут виноват... Если уже какой-нибудь поджарый Падди может повалить самого сильного человека во всех Лозищах... Га! Это значит, такая уже в этой стороне во всем образованность... Тут сердиться нечего, ничего этим не поможешь, а видно надо как-нибудь и самим ухитряться... Индейский удар! Это у них, видишь ли, называется индейским ударом...

Матвей поднялся на постели, повернул лицо к Дыме и спросил:

— А ты, Дыма Лозинский, знал вперед, что они мне приготовили эту индейскую штуку?..

— А... разве я уже все понимаю по-английски,— отвечал Дыма уклончиво. И затем, обрадовавшись, что Матвей говорит спокойно, он продолжал уже смелее:— Вот, знаешь что,— сходим завтра к этому цирульнику. Приведи ты и себя, как это здесь говорится, в порядок, и кончено. Ей-богу, правда! — прибавил он сладким голосом и уже собираясь заснуть.

Но вдруг он с испугом привскочил на кровати. Матвей тоже сидел. При свете с улицы было видно, что лицо его бледно, волосы стоят дыбом, глаза горят, а рука приподнята кверху.

— Слушай ты, Дыма, что тебе скажет Матвей Лозинский. Пусть гром разобьет твоих приятелей, вместе с этим мерзавцем Таманиголлом, или как там его зовут! Пусть гром разобьет этот проклятый город и выбранного вами какого-то мэра. Пусть гром разобьет и эту их медную свободу, там на острове... И пусть их возьмут все черти вместе с теми, кто продает им свою душу...

— Тише, пожалуйста, Матвей,— пробовал остановить его Дыма.— Люди спят, и здесь не любят, когда кто кричит ночью...

Но Матвей не остановился, пока не кончил. А в это время, действительно, и ирландцы повскакали с кроватей, кто-то зажег огонь, и все, проснувшись, смотрели на рассвирепевшего лозищанина.

— Смотрите, не смотрите, а это правда,— сказал он, повернувшись к ним и грозя кулаком, и затем опять повалился на постель.

Американцы стали тревожно разговаривать между собой и потом, потребовав Дыму, спрашивали у него, в своем ли разуме его приятель и не грозит ли им ночью от него какая-нибудь опасность. Но Дыма их успокоил: теперь Матвей будет спать и никому ничего не сделает. Он человек добрый, только не знает образованности, и теперь его дня два не надо трогать... Тогда американцы тихо разошлись по своим постелям, оглядываясь на Матвея. Погасили огни, и в комнате мистера Борка вод-

ворилась тишина. Только огни с улицы светили смутно и неясно, так что нельзя было видеть, кто спит и кто не спит в помещении мистера Борка.

XIV

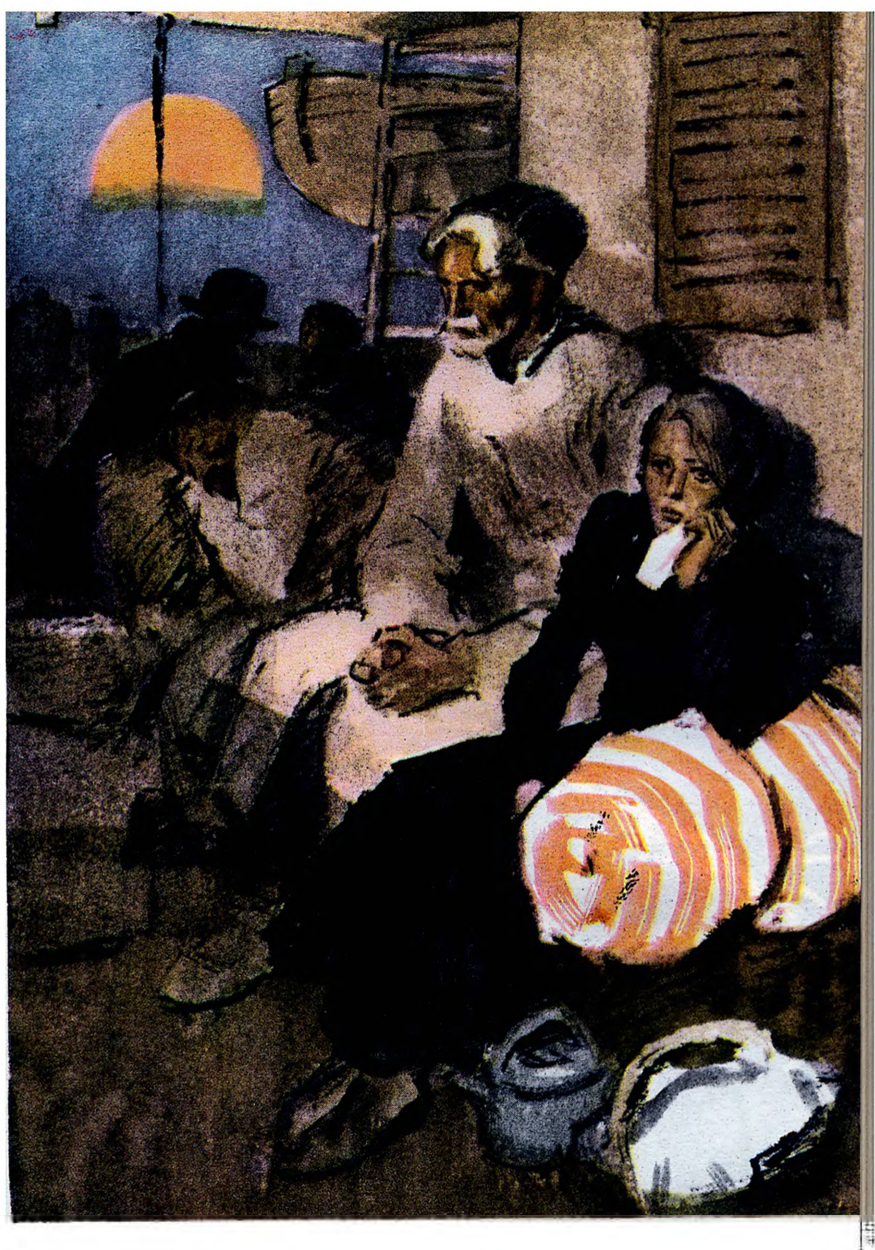
Матвей Лозинский долго лежал в темноте с открытыми глазами и забылся сном уже перед утром, в тот серый час, когда заснули совсем даже улицы огромного города. Но его сон был мучителен и тревожен: он привык уважать себя и не мог забыть, что с ним сделал негодяй Падди. И как только он начинал засыпать,— ему снилось, что он стоит, неспособный двинуть ни рукой, ни ногой, а к нему, приседая, подгибая колени и извиваясь, как змея, подходит кто-то,— не то Падди, не то какой-то курчавый негр, не то Джон. И он не может ничего сделать, и летит куда-то среди грохота и шума, и перед глазами его мелькает испуганное лицо Анны.

Потом вдруг все стихло, и он увидел еврейскую свадьбу: мистер Мозес из Луисвилля, еврей очень неприятного вида, венчает Анну с молодым Джоном. Джон с торжествующим видом топчет ногой рюмку, как это делается на еврейской свадьбе, а кругом, надрываясь, все в поту, с вытаращенными глазами, ирландцы гудят и пищат на скрипицах, и на флейтах, и на пузатых контрабасах... А невдалеке, задумчивый и недоумевающий, стоит Берко и говорит:

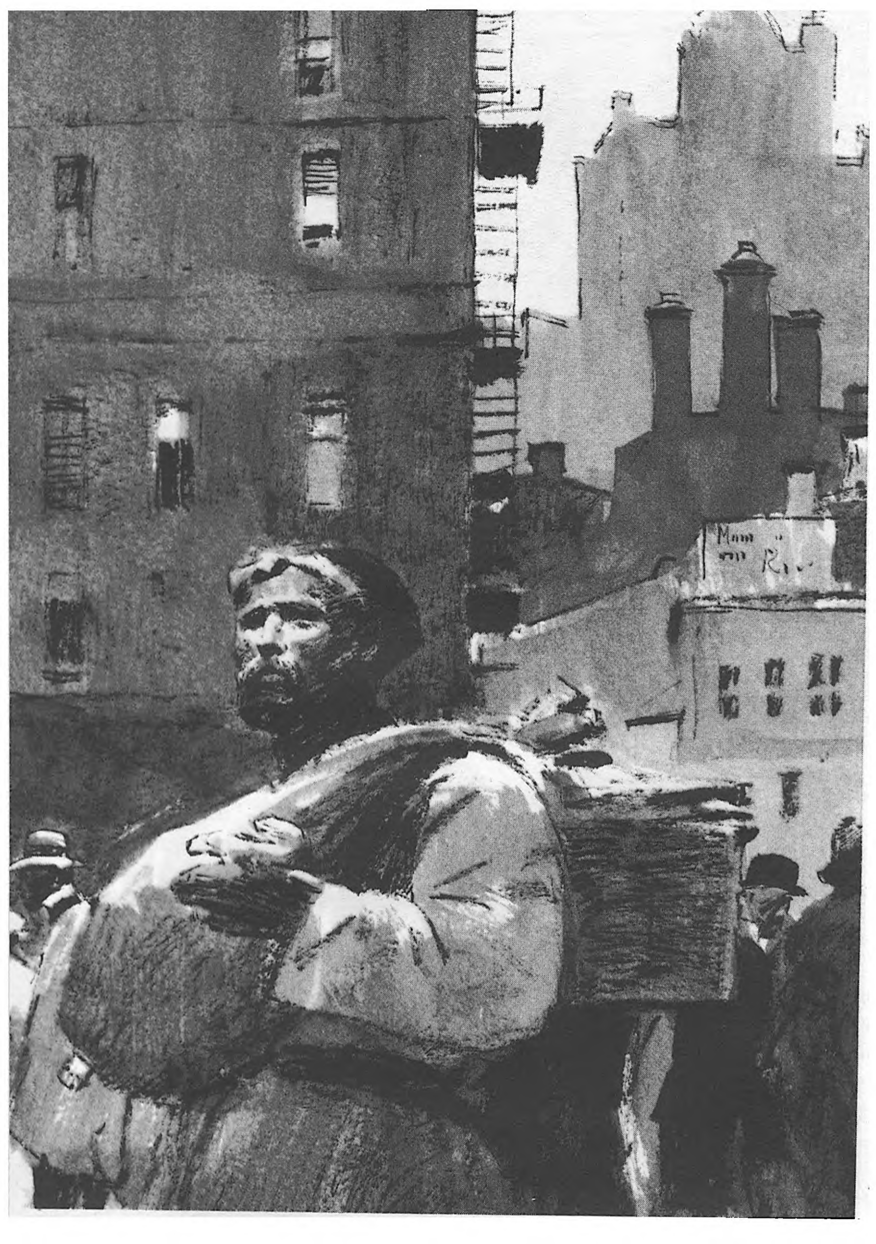
— Ну, что вы на это скажете?.. И как вы это можете допустить?..

Матвей заскрежетал во сне зубами, так что Дыма проснулся и отодвинулся от него со страхом...— Гей-гей! — закричал Матвей во сне...— А где же тут христиане? Разве не видите, что жиды захватили христианскую овечку!..

Дыма отодвинулся еще дальше, слушая бормотание Матвея,— но тот уже смолк, а сон шел своим чередом... Бегут христиане со всех сторон, с улиц и базаров, из шинков и от возов с хлебом. Бегут христиане с криком и шумом, с камнями, и дреколием... Быстро запираются двери домов и лавочек, звякают стекла, слышны отча-



«БЕЗ ЯЗЫКА»



«БЕЗ ЯЗЫКА»

янные крики женщин и детей, летят из окон еврейские бебехи и всякая рухлядь, пух из перин кроет улицы, точно снегом...

Потом и это затихло, и в глубоком сне к Матвею подошел кто-то и стал говорить голосом важным и почтенным что-то такое, от чего у Матвея на лице даже сквозь сон проступило выражение крайнего удивления и даже растерянности.

И на этом он проснулся... Ирландцы спешно пили в соседней комнате утренний кофе и куда-то торопливо собирались. Дыма держался в стороне и не глядел на Матвея, а Матвей все старался вспомнить, что это ему говорил кто-то во сне, тер себе лоб и никак не мог припомнить ни одного слова. Потом, когда почти все разошлись и квартира Борка опустела,— он вдруг поднялся наверх, в комнату девушек.

Там он застал Джона. В последние дни молодой человек нередко заходил туда, просиживал по получасу и более и что-то оживленно рассказывал Анне. На этот раз, поднимаясь по лестнице, Матвей опять услышал голос молодого человека.

— Ну, вот видите,— говорил он,— так-то здесь живут, в новом свете, что? Разве плохо?

Увидя Матвея, он скоро попрощался и выбежал, чтобы поспеть к поезду, а Матвей остался. Лицо его было немного бледно, глаза глядели печально, и Анна потупилась, ожидая, что он скажет. Обе девушки посмотрели на него как-то застенчиво, как будто невольно вспоминали об индейском ударе и боялись, что Лозинский догадается об этом. Он тяжело присел на постель, посмотрел на Анну немного растерянным взглядом и сказал:

— Хочешь ли ты, сирота, послушать, что тебе скажет Матвей Лозинский?

— Говорите, пожалуйста. Я вас считаю за родного,— тихо ответила девушка, которая старалась показать Матвею, что она не перестала уважать его после вчерашнего случая.

Матвей мучительно задумался и сказал:

— Мало хорошего в этой стороне, малютка. Поверь ты мне,— мало хорошего... Содом и Гоморра.

Роза невольно улыбнулась, но он говорил так пе-

чально, что у Анны навернулись на глаза слезы. Она подумала, что, по рассказам Джона, в Америке не так уж плохо, если только человек сумеет устроиться. Но она не возражала и сказала тихо:

— Что же теперь делать?

— А! Что делать! Если бы можно, надел бы я котомку на плечи, взял бы в руки палку, и пошли бы мы с тобой назад, в свою сторону, хотя бы Христовым именем... Лучше бы я стал стучаться в окна на своей стороне, лучше стал бы водить слепых, лучше издох бы где-нибудь на своей дороге... На дороге или в поле... на своей стороне... Но теперь этого нельзя, потому что...

Он потер себе лоб и сказал:

— Потому что море... А письма от Осипа не будет... И сидеть здесь, сложа руки... ничего не высидим... Так вот, что я скажу тебе, сирота. Отведу я тебя к той барыне... к нашей... А сам посмотрю, на что здесь могут пригодиться здоровые руки... И если... если я здесь не пропаду, то жди меня... Я никогда еще не лгал в своей жизни и... если не пропаду, то приду за тобою...

— Нехорошо вы придумали! — горячо сказала на это молодая еврейка.— Мы эту барыню знаем... Она всегда старается нанимать приезжих.

— Бог наградит ее за это,— сказал Матвей сухо.

— Но это потому...— сбиваясь, сказала Роза,— что она платит очень мало...

— С голоду не уморит...

— И заставляет очень много работать.

— Бог любит труд...

Матвей посмотрел на Розу высокомерным и презрительным взглядом. Молодая еврейка хорошо знала этот взгляд христиан. Ей казалось, что она начала дружиться с Анной и даже питала симпатию к этому задумчивому волынцу, с голубыми глазами. Но теперь она вспыхнула и сказала:

— Делайте, как себе хотите...— И она вышла из комнаты...

— Наше худое лучше здешнего хорошего,— сказал Матвей поучительно, обращаясь к Анне.— Собери свои вещи. Мы пойдем сегодня.

Анна вздохнула, однако покорно стала собирать-

ся. Матвею не понравилось, что, уходя из помещения мистера Борка, она крепко поцеловалась с еврейкой, точно с сестрой.

XV

В этот день наши опять шли по улицам Нью-Йорка, с узлами, как и в день приезда. Только в этот раз с ними не было Дымы, который давно расстался с своей белой свитой, держался с ирландцами и даже плохо знал, что затевают земляки. Зато Матвей и Анна остались точь-в-точь, как были: на нем была та же белая свита со шнурами, на ней — беленький платочек. Молодой Джон тоже считал очень глупым то, что надумал Матвей. Но, как американец, он не позволял себе мешаться в чужие дела и только посвистывал от досады, провожая Матвея и Анну.

Сначала шли пешком, потом пара лошадей потащила их в огромном вагоне, потом поднимались наверх и летели по воздуху. Из улицы в улицу — ехали долго. Пошли дома поменьше, попроще, улицы пошли прямые, широкие и тихие.

На одном углу наши вышли и пошли прямо. Если бы поменьше камня, да если бы кое-где из-под камня пробилась мурава, да если бы на середине улицы сидели ребята с задранными рубашонками, да если бы кое-где корова, да хоть один домишко, вросший окнами в землю и с провалившейся крышей,— то, думалось Матвею, улица походила бы, пожалуй, на нашу. Только здесь все дома были как один: все в три этажа, все с плоскими крышами, у всех одинаковые окна, одинаковые крылечки с одинаковым числом ступенек, одинаковые выступы и карнизы. Одним словом, вдоль улицы ряды домов стояли, как родные братья-близнецы,— и только черный номер на матовом стекле, над дверью, отличал их один от другого.

Джон посмотрел в свою записную книжку, потом разыскал номер и прижал пуговку у двери. В квартире что-то затрещало. Дверь отворилась, и наши вошли в переднюю.

Старая барыня, ждавшая мужа, сама отперла дверь. Она, как оказалось, мыла полы. Очки у нее были вздер-

нуты на лоб, на лице виднелся пот от усталости, и была она в одной рубашке и грязной юбке. Увидев пришедших, она оставила работу и вышла, чтобы переодеться.

— Смотри,— шепнул Матвей Анне,— вот как здесь живется нашим господам,— что уж говорить о простых людях!

— Ну,— ответил Джон,— вы еще не знаете этой стороны, мистер Мэтью. — И с этими словами он прошел в первую комнату, сел развязно на стул, а другой подвинул Анне.

Матвей строго посмотрел на невежливого молодого человека, и оба с Анной остались на ногах у порога. Матвей невзлюбил молодого еврея еще с тех пор, как говорил с ним о религии. А затем он не мог не заметить, что Джон частенько остается дома с сестрой, помогает девушкам по хозяйству и поглядывает на Анну. Нужно сказать, что девушка была хороша: голубые глаза, большие и ясные, кроткий взгляд, приветливая улыбка и нежное лицо, немного, правда, побледневшее от дороги и от неизвестности. Никто из бездельников, живших у Борка, ни разу не позволил себе с девушкой ни одной вольности. Однако, не считая Дымы, который вывертывался перед нею в своих диковинных пиджаках,— еще и Падди тоже старался всячески услужить ей, когда встречался в коридоре или на лестнице. А тут еще Джон и рассказы Борка о Мозесе.. «Чего доброго,— думал Матвей,— ведь в этом Содоме никто не смотрит за такими делами. Вот Дыма — давний и испытанный приятель, но и у него характер совершенно изменился в какую-нибудь неделю. Что же может статься с молоденькой, неопытной девушкой, немного еще, может быть, и легкомысленной, как все дочери Евы... Дурного, положим, она не сделает... Но ведь здесь и хорошее тоже ни черта не стоит, а девушка молода, неопытна и испугана».

Вспомнив, вдобавок, свой сон, Матвей даже вздохнул и оглянулся. Слава богу,— вот квартира старой барыни, которая возьмет к себе Анну. Все нравилось Матвею в этой квартире. В первой комнате стоял стол, покрытый скатертью, в соседней виднелась кровать, под пологом, в углу большой знакомый образ Почаевской божией матери, которую в нашем Западном крае чтут одинаково католики и православные. За образом

была воткнута восковая свеча и пучок сухих веток. Верба не верба, а все-таки был виден наш обычай, и у Матвея стало теплее на сердце... Поэтому он сначала заложил руку за пояс и очень гордо посмотрел на молодого еврея... Но тотчас же ему пришлось смиренно согнуться почти до земли, потому что в комнату вошла барыня, одетая, с очками на носу, с вязанием в руках. Вид у нее был спокойный и даже величавый, так что Матвею было даже странно вспомнить, что он видел ее сейчас за мытьем полов. Она села на стул, досчитала петли, передернула спицу и сказала почтительно ожидавшим Матвею и Анне, не кивнув даже Джону:

— Ну, что скажете?

— К вашей милости,— ответили оба в один голос.

— Тебя, кажется, зовут Анной?..

— Анной, милостивая пани.

— А тебя... Матвеем?

Лицо Матвея расцвело приятной улыбкой.

— А что же тот... Третий?..

Матвей махнул рукой:

— А! Не знаю уж, что и сказать... Поступил на службу или уж как... к какому-то здешнему... Тамани-голлу...

Барыня жалостно посмотрела на Матвея и покачала головой.

— Хороший господин, нечего сказать! Шайка мошенников!

— О, господи,— вздохнул Лозинский.

— В этой стороне все навыворот,— сказала опять барыня.— У нас таких молодцов сажают в тюрьмы, а здесь они выбирают висельников в городские мэры, которые облагают честных людей налогами.

Матвей вспомнил, что и Дыма выбирал мэра, и вздохнул еще глубже. У барыни спицы забегали быстрее,— было видно, что она начинает чего-то сердиться...

— Ну, что же ты мне скажешь, моя милая? — спросила она как-то едко, обращаясь к Анне.— Ты пришла наниматься или, может быть, тоже поищешь себе какого-нибудь Тамани-голла?..

— Она — девушка честная,— вступился Матвей.

— А! Видела я за двадцать лет много честных девушек, которые через год, а то и меньше пропадали в этой проклятой стране... Сначала человек как человек: ти-

хая, скромная, послушная, боится бога, работает и уважает старших. А потом... Смотришь,— начала задирать нос, потом обвешается лентами и тряпками, как ворона в павлиньих перьях, потом прибавляй ей жалованье, потом ей нужен отдых два раза в неделю... А потом уже барыня служи ей, а она хочет сидеть сложа руки...

— Господи упаси! Где же это видано!..— сказал с ужасом Матвей.

Молодой Джон сидел на стуле, вытянув ноги и заложив руки в карманы, с видом человека, скучающего от этих разговоров.

— Ну, черт еще не так страшен, как его малюют,— сказал он.

Барыня замолкла, даже перестала вязать и устремила внимательный взгляд на Джона, который поднял беспечно голову к потолку, как будто разглядывая там что-то интересное. Несколько секунд стояло молчание, барыня и Матвей укоризненно смотрели на молодого еврея. Анна покраснела.

— А все отчего? — начала опять барыня спокойно.— Все оттого, что в этой стране нет никакого порядка. Здесь жид Берко — уже не Берко, а мистер Борк, а его сын Иоська превратился в ясновельможного Джона...

— Чистая правда,— сказал Матвей с убеждением.— Слышишь, Анна?

Девушка с некоторым удивлением посмотрела на Матвея и покраснела еще больше. Ей казалось, что хотя, конечно, Джон еврей и сидит немного дерзко, но что говорить так в глаза не следует...

— Да, все здесь перемешалось, как на Лысой горе,— продолжала барыня,— правду говорит один мой знакомый: этот новый свет как будто сорвался с петель и летит в преисподнюю...

— И это святая правда,— подтвердил Матвей.

— Я вижу, что ты человек разумный,— сказала барыня снисходительно,— и понимаешь это... То ли, сам скажи, у нас?.. Старый наш свет стоит себе спокойно... люди знают свое место... жид так жид, мужик так мужик, а барин так барин. Всякий смиренно понимает, кому что назначено от господа.. Люди живут и славят бога...

— Ну, эту историю надо когда-нибудь кончить,— сказал Джон, поднимаясь.

— Ах, извините, мистер Джон,— усмехнулась барыня.— Ну, что ж, моя милая, надо и в самом деле кончать. Я возьму тебя, если сойдемся в цене... Только вперед предупреждаю, чтобы ты знала: я люблю все делать по-своему, как у нас, а не по-здешнему.

— Это и всего лучше,— вставил Матвей.

— Я за тебя отвечаю перед людьми и перед богом. По воскресеньям мы станем вместе ходить в храм божий, а на эти митинги и балы — ни ногой.

— Слушай барыню, Анна,— сказал Матвей.— Барыня тебя худому не научит... И уж она не обидит сироту.

— Пятнадцать долларов в месяц считается здесь совсем низкой платой,— сказал Джон, глядя на часы,— пятнадцать долларов, отдельная комната и свободный день в неделю.

Барыня, все так же спокойно продолжая вязание,— кинула на Джона уничтожающий взгляд и сказала Анне:

— Знаешь ты, что значит доллар?

— А это два рубля, милостивая госпожа,— ответил за Анну Матвей.

— Ты служила уже где-нибудь?

— Служила... горничной у госпожи Залесской.

— Сколько получала?

— Шесть рублей.

— Много что-то для нашей стороны,— вздохнула барыня.— В мое время такой платы не знали... А здесь, если хочешь получить тридцать,— то поди вот к нему. Он тебе даст тридцать рублей, отдельную комнату и сколько хочешь свободного времени... днем...

Краска опять залила лицо Анны, а барыня, посмотрев на нее поверх очков, прибавила, обращаясь к Матвею:

— Недалеко ходить: на этой же улице живет христианская девушка у еврея. И уже бог благословил их ребеночком.

— Вы же знаете, что они обвенчаны,— сказал Джон сердито.

— Обвенчаны, конечно!.. Кто же их это обвенчал, скажи, пожалуйста?

— Их обвенчали в мэрии, вы знаете.

— Ну, вот видите,— обратилась барыня к Матвею.— Они это называют венчанием...

Матвей с ненавистью взглянул на еврея и сказал:

— Девушка останется у вас.

И потом, посмотрев на Анну, он добавил мягким тоном:

— Она, сударыня, круглая сирота... Грех ее обидеть.

Барыня, перебирая спицы, кивнула головой. Между тем Джон, которому очень не понравилось все это, а также и обращение с ним Матвея, надел шляпу и пошел к двери, не говоря ни слова. Матвей увидел, что этот неприятный молодой человек готов уйти без него, и тоже заторопился. Наскоро попрощавшись с Анной и поцеловав у барыни руку, он кинулся к двери, но еще раз остановился.

— А что... извините... я спросил бы у вас?

— Что такое?

— Не найдется ли и мне у вас местечка? За дешевую плату... Может по двору, в огороде или около лошади? Угла бы я у вас где-нибудь в сарае не пролежал и цену бы взял пустую. А?.. Чтобы только не издохнуть...

— Нет, милый. Какие огороды! Какие лошади! Здесь сенаторы садятся за пять центов в общественный вагон рядом с последним оборванцем...

— Ну, прошу прощения... А где же?..

И, не окончив, Матвей торопливо выбежал на крыльцо, чтобы не потерять из виду Джона.

XVI

На крыльце неприятного молодого человека уже не было, но кто-то мелькнул за углом. Матвей побежал туда, хотя ему и показалось, что это в другой стороне. Повернув еще за угол, он догнал шедшего человека, но в этой стороне люди, как и дома, похожи друг на друга. На незнакомце был такой же котелок на голове, такая же тросточка в руках, такая же походка, как и у Джона, но лицо человека, повернувшегося к Матвею, было совсем чужое, удивленное и незнакомое. Матвей остолбенел и провожал взглядом уходившего незнакомца; а на Матвея

с обеих сторон улицы глядели занавешенные окна домов, похожих друг на друга, как две капли воды.

Матвей попробовал вернуться. Он еще не понимал хорошенько, что такое с ним случилось, но сердце у него застучало в груди, а потом начало как будто падать. Улица, на которой он стоял, была точь-в-точь такая, как и та, где был дом старой барыни. Только занавески в окнах были опущены на правой стороне, а тени от домов тянулись на левой. Он прошел квартал, постоял у другого угла, оглянулся, вернулся опять и начал тихо удаляться, все оглядываясь, точно его тянуло к месту или на ногах у него были пудовые гири.

А в это время молодого Джона зазрила совесть, что он так невежливо бросил Матвея. Он быстро вернулся, позвонил и довольно сердито попросил выслать Лозинского, потому что ему некогда ждать: время — деньги.

Старая барыня посмотрела на него с удивлением, Анна, которая успела уже снести свой узел в кухню и, поддернув подол юбки, принималась за мытье пола, покинутого барыней,— наскоро оправившись, тоже выбежала к Джону. Все трое стояли на крыльце и смотрели и направо, и налево. Никого не было видно, похожего на Матвея, на тихой улице.

— Ну, он, верно, пошел на станцию другой дорогой,— сказал Джон.

Анна недоверчиво покачала головой.

— Нет,— сказала она,— он не знает здесь никакой дороги.

Она посмотрела на улицу, на ряды однообразных домов, и на глазах у нее появились слезы.

— Ну, милая,— сказала барыня,— глядеть теперь нечего... Ничего не высмотришь... Да и не за тем я взяла тебя... Там пол стоит недомытый.

— Может быть... он вернется? — сказала Анна.

— Что же! Ты так и будешь стоять тут до вечера? — спросила барыня, уже немного раздражаясь.

— Он у меня один только близкий человек в этой стороне,— произнесла Анна тихо.

— Ну, и слава богу, что только один,— ответила барыня.— Для молодой девушки и одного слишком много.

Анна кинула последний взгляд на улицу. За углом мелькнула фигура Джона, расспрашивавшего какого-то

прохожего. Потом и он исчез. Улица опустела. Анна вспомнила, что она не оставила себе даже адреса мистера Борка и что она теперь так же потеряна здесь, как и Матвей.

Вскоре дверь за нею захлопнулась, и дом старой барыни, недавно еще встревоженный, стоявший с открытою дверью и с людьми на крыльце, которые останавливали расспросами прохожих,— опять стал в ряд других, ничем не отличаясь от соседей; та же дверь с матовым стеклом и черный номер: 1235.

Между тем недалеко в переулке один из прохожих, которого расспрашивал Джон, наткнулся на странного человека, который шел, точно тащил на плечах невидимую тяжесть, и все озирался. Американец ласково взял его за рукав, подвел к углу и указал вдоль улицы:

— Тэрти-файф, тэрти-файф (тридцать пятый),— сказал он ласково, и после этого, вполне уверенный, что с таким точным указанием нельзя уже сбиться, побежал по своему спешному делу, а Матвей подумал, оглянулся и, подойдя к ближайшему дому, позвонил. Дверь отворила незнакомая женщина с лицом в морщинах и с черными буклями по бокам головы. Она что-то сердито спросила — и захлопнула дверь.

То же случилось в следующем доме, то же в третьем. На углу он подумал, что надо повернуть, и он повернул, опять повернул и, увидя фонтан, мимо которого, как ему казалось, они проходили час назад, повернул еще раз. Перед ним вновь была такая же улица, только тени опять перебросились на правую сторону, а солнце прямо било в занавески на левой... Издали, точно где-то за горой, храпел поезд... Матвей остановился на середине улицы, как барка, которую сорвало с причала и несет куда-то по течению, и, без надежды найти жилье старой барыни, пошел туда, откуда слышался шум. А в это время по улице, через которую только что прошел лозищанин, опять пробежал молодой Джон, совсем встревоженный и огорченный. № 1235 опять отворился, и опять на крыльце стояли две женщины с молодым человеком, советуясь и озираясь кругом. У Анны на глазах стояли слезы, Джон сконфуженно пожимал плечами.

Поздно вечером, заплаканная и грустная, Анна кончила работу своего первого дня на службе. Работы было

много, так как более двух недель уже барыня обходилась без прислуги. Вдобавок, в этот день у барыни обыкновенно вечером играли в карты жильцы ее и гости. Засиделись далеко за полночь, и Анна, усталая и печальная, ждала в соседней комнате, чтобы быть готовой на первый зов.

Расходясь, гости благодарили хозяйку за приятный вечер.

— А! Право, только у вас и почувствуешь себя иной раз точно на родине,— сказал один из гостей, целуя у хозяйки руку.— И как вы это все умеете устроить?

— О, она у меня истинная волшебница! — сказал с гордостью муж старой барыни, человек круглый, седой, с пробритой в середине бородкой и торчавшими по бокам седыми баками.— А заметили вы новую горничную?

— Как не заметить. Наверное, из наших стран. Такие хорошие, покорные глаза. О, наш народ еще не испорчен!

— Скажите лучше: не весь еще испорчен. Есть уже и у нас эти карикатуры на господ. Даже в деревню уже проникает пиджак, заменяя живописные костюмы простого народа.

— Да! А девушка, действительно, приятная; нет этого вызывающего нахальства, этого... как бы сказать... Ну, одним словом, приятно, когда видишь человека, занимающего свое место.

— Надолго ли только! — вздохнула барыня.— Портится все это здесь необыкновенно скоро. И не знаешь, просто, откуда.

— В воздухе, в воздухе... вроде эпидемии,— сказал один из жильцов, весело засмеявшись... И, проходя в свою комнату, он благосклонно ущипнул Анну за подбородок...

А в бординг-гоузе мистера Борка в этот вечер долго стоял шум. Несмотря на то, что у Дымы испортился характер, ему теперь было очень совестно и жалко Матвея, и он чувствовал себя виноватым. Отправляясь на чужую сторону, они сговорились жить или пропадать вместе. Голова — Дымы; сила, руки и ноги — Матвея. Теперь ноги одни ходили по свету в то время, как голова путалась с чужими людьми. Совесть у Дымы проснулась, Дыма кричал, Дыма проклинал Джона, себя и своих

приятелей и даже толкнул Падди, когда тот сунулся с какой-то шуткой. Падди обиделся и вызвал Дыму на единоборство. Дыма сначала послал его к черту; но Падди пустил ему немного крови из носу,— тогда он сам стал совать руками, куда попало... Чувствуя, однако, что и голове приходится плохо без сильной руки товарища, он схватил стул, стал кричать, что ему наплевать на все правила, и сильно уронил себя во мнении Падди... Ночью он вскакивал с постели и даже плакал.

Но это, конечно, не помогло. Приятель потонул в огромном городе, точно иголка на пыльном проезжем шляху...

XVII

Впоследствии, по причинам, которые мы изложим дальше, Матвей Лозинский из Лозищей стал на несколько дней самым знаменитым человеком города Нью-Йорка, и каждый шаг его в эти дни был прослежен очень точно. Прежде всего человека в странной белой одежде видели идущим на 4 avenue*, потом он долго шел пешком под настилкой воздушной дороги, к Бруклинскому мосту. Казалось, его тянуло туда, где люднее и гуще. На углу Бродвея и какого-то переулка он вошел в булочную и, указав на огромный кусок белого хлеба, протянул руку с деньгами на ладони. Он говорил что-то продавцу-немцу и даже, когда тот отдавал сдачу, старался схватить его за руку и тянулся к ней губами. Немец вырвал руки и занялся другими покупателями. Человек постоял, посмотрел на булочника грустными глазами, пытался еще говорить что-то и вышел на улицу.

Это был час выхода вечерних газет. На небольшой площадке, невдалеке от огромного здания газеты «Tribune», странный человек зачерпнул воды у фонтана и пил ее с большой жадностью, не обращая внимания на то, что в грязном водоеме два маленьких оборванца плавали и ныряли за никелевыми и медными монетками, которые им на потеху кидали прохожие. Бесчисленное количество газетных мальчишек, ожидавших выхода номера и развлекавшихся пока чем попало, разделили свое внимание

* Проспект *(англ.)*.

между этими водолазами и странно одетым человеком, которого они засыпали целой тучей звонких острот. В это время через площадку проходил газетный репортер-иллюстратор и наскоро набросал эту сцену в своей книжке. Без сомнения, если бы этот джентльмен мог провидеть будущее, он постарался бы сделать свой рисунок как можно точнее. Но, во-первых, он очень торопился, и ему пришлось поэтому заканчивать набросок с памяти, а во-вторых, он был введен в заблуждение присутствием нырявших мальчишек, которых причислил к семейству незнакомца. Наконец, он не знал, на что собственно может пригодиться его эскиз, так как странный незнакомец не мог ответить ничего на самые обыкновенные вопросы.

— Your nation? — спросил репортер, желая узнать, какой Матвей нации.

— Как мне найти мистера Борка? — ответил тот.

— Your name (ваше имя)?

— Он тут где-то... имеет помещение. Наш... могилевский жид.

— How do you like this country? — Это значило, что репортер желал знать, как Матвею понравилась эта страна,— вопрос, который, по наблюдениям репортеров, обязаны понимать решительно все иностранцы...

Но незнакомец не ответил, только глядел на газетного джентльмена с такою грустью, что ему стало неловко. Он прекратил расспросы, ободрительно похлопал Матвея по плечу и сказал:

— Very well! Это очень хорошо для вас, что вы сюда приехали: Америка — лучшая страна в мире, Нью-Йорк — лучший город в Америке. Ваши милые дети станут здесь когда-нибудь образованными людьми. Я должен только заметить, что полиция не любит, чтобы детей купали в городских бассейнах.

Затем, с «талантом, отличающим карандаш этого джентльмена», он украсил на рисунке свитку лозищанина несколькими фантастическими узорами, из его волос, буйных, нестриженых и слипшихся, сделал одно целое — вместе с бараньей шапкой и, наконец, всю эту странную прическу, по внезапному и слишком торопливому вдохновению, перевязал тесьмой или лентой. Рост Матвея он прибавил еще на четверть аршина, а у его

ног, в водоеме, поместил двух младенцев, напоминавших чертами предполагаемого родителя

Все это он наскоро снабдил надписью: *«Дикарь, купающий своих детей в водоеме на Бродвее»*, и затем, сунув книжку в карман и оставляя до будущего времени вопрос о том, можно ли сделать что-либо полезное из такого фантастического сюжета,— он торопливо отправился в редакцию

Как раз в эту минуту вышло вечернее прибавление, и все внимание площадки и прилегающих переулков обратилось к небольшому балкону, висевшему над улицей, на стене Tribune-building (дом газеты «Трибуна»). На этот балкончик выходили люди с кипами газет, брали у толпившихся внизу мальчишек, запрудивших весь переулок, их марки, а взамен кидали им кипы газет. Минут в двадцать все было кончено. Сотни мальчишек мчали во все стороны десятки тысяч номеров, и их звонкие крики разносились с этого места по огромному городу.

На площадке остался только лозищанин, да два оборванца вылавливали в водоеме последние монеты. Вскоре туда же подошел еще высокий господин, в партикулярном платье, в серой большой шляпе, в виде шлема, и с короткою палкой в руке, вроде гетманской булавы, украшенной цветным шнурком и кистями Это был полисмен Гопкинс, лицо, хорошо известное всему Нью-Йорку. Полисмен Гопкинс, как сообщалось в тех же газетных заметках, из которых я узнал эту часть моей достоверной истории, был прежде довольно искусным боксером, на которого ставились значительные пари. Однако в последние годы ему пришлось испытать несколько крупных превратностей, связанных с этой профессией, а одна из них сопровождалась даже раздроблением носовых хрящей, потребовавших серьезного лечения. Это побудило мистера Гопкинса к перемене рода занятий Физические данные и любовь к сильным ощущениям решили его выбор, и он предложил свои услуги директору полиции в качестве полисмена. Само собою разумеется, что услуги были охотно приняты, так как времена наступали довольно бурные: участились стачки и митинги безработных («которыми,— как писала одна благомыслящая газета,— эта цветущая страна обязана коварной агитации завистливых иностранцев»), и все это

открывало новое поле природным талантам мистера Гопкинса и его склонности к физическим упражнениям более или менее рискованного свойства. Увесистый «клоб» из ясеня или дуба дает, вдобавок, решительное преимущество полисмену перед любым боксером, и имя мистера Гопкинса опять стало часто мелькать в хронике газет. «Полисмен Гопкинс, известный неумеренным употреблением клоба».— писали о нем рабочие газеты. Зато другие отмечали с восторгом, что «клоб полисмена Гопкинса, как всегда, отбивал барабанную дробь на головах анархистов»...

Случай пожелал, чтобы дороги знаменитого полисмена и бедного лозищанина встретились два раза. В первый раз это произошло именно у описанного фонтана. Мистер Гопкинс шел мимо, как всегда, величаво и важно, играя на ходу своим клобом, и его внимательный взгляд остановился на странной фигуре неизвестного иностранца. «Не видя, однако, законных причин для какого бы то ни было личного воздействия»,— так рассказывал впоследствии Гопкинс газетным интервьюерам,— он решил только подойти поближе для внимательного осмотра. Но тут незнакомец удивил его своим непонятным поведением: «Сняв с головы свой странный головной убор (по-видимому, из бараньего меха), он согнул стан таким образом, что голова его пришлась вровень с поясом Гопкинса, и, внезапно поймав одной рукой его руку, потянулся к ней губами с неизвестною целью. Гопкинс не может сказать наверное, что незнакомец хотел укусить его за руку, но не может и отрицать этого».

Вопрос остался невыясненным, так как в это мгновение над поверхностью водоема появились внезапно головы двух водолазов. Они нырнули при появлении Гопкинса и теперь опять вынырнули в надежде, что он уже прошел. Это было уже явное нарушение правил благочиния. Полисмен тотчас же взял обоих мальчишек за шивороты, поднял их высоко над землей и стал встряхивать, точно две мокрые тряпицы. Вид у него в это время был величавый и грозный, и как раз в эту же минуту через площадь пробегал прежний торопливый репортер. Он остановился, быстро набросал, около прежней фигуры лозищанина, фигуру мистера Гопкинса с двумя дикаренками в руках и прибавил надпись:

«Полисмен Гопкинс объясняет дикарю, что купание детей в городских водоемах не согласно с законами этой страны».

Затем, сунув книжку в карман, он ринулся со всех ног к вагону канатной дороги, чтобы поспеть на пожар. В его голове мелькал уже план целой заметки: «Известно, что наш город, величайший в мире, привлекает к себе пришельцев из отдаленнейших частей света. На днях мы имели случай наблюдать, как один из этих дикарей...»

Вагон канатной дороги умчал талантливого человека вместе с этим началом, а мистер Гопкинс поставил мальчишек на мостовую, дал им по легонькому шлепку, при одобрительном смехе проходящих, и затем повернулся к незнакомцу. Очень может быть, что мистеру Гопкинсу удалось бы лучше выяснить национальность незнакомца, а также и то, «как ему нравится эта страна»... Может быть даже Матвей в тот же вечер попал бы в объятия Дымы, который весь день бегал с Падди по городу,— если бы... в то время, пока Гопкинс возился с мальчишками, лозищанин не скрылся...

По всему поведению Гопкинса он понял, что это полицейский и даже, по-видимому, не из последних. А эта мысль тотчас же привела за собой другую: Матвей вспомнил, что его паспорт остался в квартире Борка... А так как он не знал, что в этой стране даже не понимают хорошенько, что такое паспорт,— то его подрало по спине. Сначала он попятился немного назад, потом еще, а потом,— как у нас говорится,— взял ноги за пояс и пошел, не оглядываясь, прочь. С тяжелой мыслью в голове, что вот он теперь, вдобавок ко всему, стал в этой стороне беспаспортным бродягой,— он смешался с густой толпой на Бродвее.

XVIII

Тут еще раз лозищанина приласкала надежда. Когда он шел по людной улице, кто-то тронул его за рукав тихо и ласково. Рядом с ним стоял негр и что-то говорил ему, указывая рукою на стул, который стоял тут же, на панели. Черное, лоснящееся лицо, красные губы, сверкающие белки и вьющиеся волосы негра показались Матвею как будто знакомыми. Он даже подумал,— не один ли

это из тех бездельников, которые приставали к нему на улице в первый день приезда. Но что же ему нужно теперь? А может быть, он узнал Матвея, может быть, он знает Борка и Дыму, может быть, он видел, что они ищут его по всему городу, и предлагает подождать здесь, а сам пошлет кого-нибудь за приятелями Матвея?

Действительно, сажая Матвея на стул, негр сказал что-то своему мальчишке, и тот внезапно куда-то провалился. Очевидно, побежал за Дымой или Борком. Матвей радостно сел и кивнул негру головой. Лицо черного человека теперь ему очень понравилось: глаза грустные и ласковые, губы добрые. Правда, некрасив и черен, зато приветлив и услужлив. Он тоже кивнул Матвею головой, присел у его ног и вздумал пока что почистить Матвею сапоги. Матвей сначала противился, а потом подумал, что всякие есть обычаи на свете, пожалуй, как бы негр не обиделся. И он согласился исполнить желание доброго человека, тем более что, действительно, сапоги совсем порыжели за дорогу. Негр все так же ласково стал тереть ноги Матвея щетками, мазал сапоги ваксой, плевал, дышал и опять тер. Минут через пять сапоги Матвея стали, как зеркало. Матвей кивнул головой и опять уселся на стул поудобнее, но негр взял его за рукав и показал большим пальцем на ладонь. Матвей понял, что негр просит «на водку», сошел со стула и полез в карман.

— И стоит,— сказал он громко.— Верно, что стоит. За такую услугу не знаю, чего бы человек не отдал.

И он вынул из кармана две монеты. Негр взял лишь одну.

— Бери еще,— сказал Матвей добродушно.

Негр покачал головой. «Вот ведь какой честный народ»,— подумал Матвей и опять хотел взгромоздиться на стул, но в это время какой-то господин сел раньше его, а прибежавший мальчишка принес негру кружку пива. Негр стал пить пиво, а мальчишка принялся ваксить сапоги новоприбывшего американца. Волосы у Матвея стали подыматься под шапкой.

— А Дыма, а Борк? — спросил он, обращаясь к старшему негру.

Тот повернулся, поглядел на Матвея, потом указал на его сапоги и сказал:

— Уэлл (хорошо).

— Уэлл,— вспомнил Матвей объяснение Дымы.— Это значит «очень хорошо». Что же тут хорошего? А, проклятый! Он говорит, что хорошо вычистил мои сапоги. Ему только этого и было нужно...

«Собака ты, черная собака,— подумал он с горечью.— Человек на тебя надеялся, как на друга, как на брата... как на родного отца! Ты мне казался небесным ангелом. А вместо всего — ты только вычистил мои сапоги...»

И бедный человек пошел дальше Сапоги его блестели, как зеркало, но на душе стало еще темнее...

XIX

Так вышел он на берег залива. Круглая площадка, на ней — небольшой садик, над головами прохожих вьется по столбам дорога, по дороге пробежал поезд, изогнулся над самым заливом и побежал дальше берегом, скрывшись за углом серого дома и кинувши на воду клуб черного дыма. Матвей сел на скамью и стал смотреть на залив. Вода колыхалась, искрилась, сверкала. Невдалеке свистнул пароход и отбежал от берега, нагруженный народом. Глаза Матвея побежали невольно за ним. Пароходик бежал прямо к острову, на котором стояла знакомая медная женщина Мимо острова в это самое время тихо проплывал гигантский корабль, такой же, как и тот, на котором приехали лозищане Распущенный флаг плескался по ветру и, казалось, стлался у ног медной женщины, которая держала над ним свой факел... Матвей смотрел, как европейский корабль тихо расталкивает своею грудью волны, и на глаза его просились слезы... Как недавно еще он с такого же корабля глядел до самого рассвета на эту статую, пока на ней угасли огни и лучи солнца начинали золотить ее голову... А Анна тихо спала, склонясь на свой узел...

Невдалеке от этого места стоит круглое невысокое здание, вроде цирка. Теперь это здание уже заколочено, а прежде, еще недавно, здесь получали приют эмигранты из Европы, приезжавшие на эмигрантских пароходах. Если бы Матвей знал это, то, наверное, подошел бы поближе. А если бы подошел, то мог бы увидеть, как из

ворот, веселая и нарядная, выходила его сестра Катерина, об руку с Осипом Лозинским. Осип одет, как господин, так же, как оделся Дыма, только на Осипе все уже облежалось и не торчит, как на корове седло. Они вышли и пошли берегом, направо, к пристаням, в надежде, что, может быть, Матвей и Дыма приехали на том эмигрантском корабле из Германии, который только что проплыл мимо «Свободы». А в это время Матвей поднялся и пошел налево, вдоль берега, за убежавшим поездом.

Часа в четыре странного человека видели опять у моста Только что прошел мостовой поезд, локомотив делал поворот по кругу, с лестницы сходила целая толпа приехавших с той стороны американцев,— и они обратили внимание на странного человека, который, стоя в середине этого людского потока, кричал:

— Кто в бога верует, спасите!

Но, разумеется, никто его не понял. Если бы так крикнул кто теперь в большом американском городе, то, наверное, ему отозвался бы кто-нибудь из толпы, потому что в последние годы корабль за кораблем привозит множество наших: поляков, духоборов, евреев. Они расходятся отсюда по всему побережью, пробуют пахать землю в колониях, нанимаются в приказчики, работают на фабриках. Иным удается, иные богатеют, иные пристраиваются к земле, и тогда через несколько лет уже не узнаешь еврейских мальчиков, вырастающих в здоровых фермерских работников. Но многие также терпят неудачи; тогда, обедневшие и испуганные, они опять кидаются в города, цепляются за прежнюю жизнь. Кто разложит на тележке плохие ножики и замочки, кто торгует с рук разной мелочью, кто носит книжки с картинками Нью-Йорка, Ниагары, великой дороги, кто бегает на побегушках у своей братии и приезжих. Идет такой бедняга с дрянным товаром, порой со спичками, только бы прикрыть чем-нибудь свое нищенство, идет лохматый, оборванный и грязный, с потускневшими и грустными глазами, и по всему сразу узнаешь нашего еврея, только еще более несчастного на чужой стороне, где жизнь дороже, а удача встречает не всех.

Но тогда их было еще не так много, и на несчастие Матвея ему не встретилось ни одного, когда он стоял

среди толпы и кричал, как человек, который тонет. Американцы останавливались, взглядывали с удивлением на странного человека и шли дальше... А когда опять к этому месту стал подходить полисмен, то Лозинский опять быстро пошел от него и скрылся на мосту...

За мостом он пошел все прямо по улицам Бруклина. Он ждал, что за рекой кончится этот проклятый город и начнутся поля, но ему пришлось идти часа три, пока, наконец, дома стали меньше и между ними, на больших расстояниях, потянулись деревья.

Лозинский вздохнул полной грудью и стал жадными глазами искать полей с желтыми хлебами или лугов с зеленой травой. Он рассчитал, что, по-нашему, теперь травы уже поспели для косьбы, а хлеба должны наливаться, и думал про себя:

«А! Подойду к первому, возьму косу из рук, взмахну раз-другой, так тут уже и без языка поймут, с каким человеком имеют дело... Да и народ, работающий около земли, должен быть проще, а паспорта наверное не спросят в деревне. Только когда, наконец, кончится этот проклятый город?

Теперь по бокам дороги пошли уже скромные коттеджи, в один и два этажа, на иных висели скромные вывески, как на наших лавках — по дверям и в окнах. Сады становились все чаще, дома все те же, мощеная дорога лежала прямо, точно разостланная на земле холстина, над которой с обеих сторон склонились зеленые деревья. Порой на дороге показывался вагон, как темная коробочка, мелькал в солнечных пятнах, вырастал и прокатывался мимо, и вдали появлялся другой... Порой казалось, что вот-вот сейчас все это кончится и откроется даль, с шоссейной дорогой, которая бежит по полям, с одним рядом телеграфных столбов, с одинокой почтовой тележкой и с морем спелых хлебов по сторонам, до самого горизонта. А там светлая речка, мостик, лужок — и приветливый деревенский народ на работе...

Но, вместо этого, внезапно целая куча домов опять выступала из-за зелени, и Матвей опять попадал как будто в новый город; порой даже среди скромных коттеджей опять подымались гордые дома в шесть и семь этажей, а через несколько минут опять маленькие домики и

такая же дорога, как будто этот город не может кончиться, как будто он занял уже весь свет...

И все здесь было незнакомо, все не наше. Кое-где в садах стояла странная зелень, что-то вилось по тычинкам, связанным дугами,— и, приглядевшись, Матвей увидел кисти винограда...

Наконец, в стороне мелькнул меж ветвей кусок черной, как бархат, пашни. Матвей быстро кинулся туда и стал смотреть с дороги из-за деревьев...

Но то, что он здесь увидел, облило кровью его сердце. Это был кусок плоского поля, десятин в пятнадцать, огороженного не плетнем, не тыном, не жердями, а железной проволокой, с колючками. На одном краю этого поля дымилась труба завода, закопченного и черного. На другом стоял локомобиль — красивая и сверкающая машина на колесах. Маховое колесо быстро вертелось, суетливо стучали поршни, белый пар вырывался тоненькой, хлопотливой и прерывистой струйкой. Тут же, мерно волнуясь, плыл в воздухе приводный канат. Проследив его глазом, Матвей увидел, что с другого конца пашни, как животное, сердито взрывая землю, ползет железная машина и грызет, и роет, и отваливает широкую борозду чернозема.

Матвей перекрестился. Всякое дыхание да хвалит господа! На что же теперь может пригодиться в этой стороне деревенский человек, вот такой пахарь, как Матвей Лозинский, на что нужна умная лошадь, почтенный вол, твердая рука, верный глаз и сноровка? И что же он станет делать в этой стороне, если здесь так пашут землю?

Несколько человек следили за этой работой. Может быть, они пробовали машину, а может быть, обрабатывали поле, но только ни один не был похож на нашего пахаря. Матвей пошел от них в другую сторону, где сквозь зелень блеснула вода...

Он жадно наклонился к ней, но вода была соленая. Это уже было взморье,— два-три паруса виднелись между берегом и островом. А там, где остров кончался,— над линией воды тянулся чуть видный дымок парохода. Матвей упал на землю, на береговом откосе, на самом краю американской земли, и жадными, воспаленными, сухими глазами смотрел туда, где за морем оста-

лась вся его жизнь. А дымок парохода тихонько таял, таял и, наконец, исчез...

Между тем за островом село солнце. Волна за волной тихо набегала на берег, и пена их становилась белее, а волны темнели. Матвею казалось, что он спит, что это во сне плещутся эти странные волны, угасает заря, полный месяц, большой и задумчивый, повис в вечерней мгле, лиловой, прозрачной и легкой... Волны все бежали и плескались, а на их верхушках, закругленных и зыбких, играли то белая пена, то переливы глубокого синего неба, то серебристые отблески месяца, то, наконец, красные огни фонарей, которые какой-то человек, сновавший по воде в легкой лодке, зажигал зачем-то в разных местах, над морем...

Потом, опять будто во сне, послышались голоса, крики, звонкий смех. Несколько мужчин, женщин и девушек, в странных костюмах, с обнаженными руками и ногами до колен, появились из маленьких деревянных будок, построенных на берегу, и, взявшись за руки, кинулись со смехом в волны, расплескивая воду, которая брызгала у них из-под ног тяжелыми каплями, точно расплавленное золото. Еще сильнее закачались зыбкие гребни, еще быстрее запрыгали в воде огни, перемешиваясь с цветными клочками неба и месяца, а лодки под фонарями, черные, точно из цельного угля,— забились и запрыгали на верхушках...

Матвею все казалось, что он спит или грезит. Чужое небо, незнакомая красота чужой природы, чужое, непонятное веселье, чужой закат и чужое море — все это расслабляло его усталую душу...

— Господи, Иисусе, святая дева... Всякое дыхание... Помилуй меня грешного.

Потихоньку бормотание странного человека стихало.

Он действительно спал, откинувшись на спину, на откосе...

XX

Проснулся он внезапно, точно кто толкнул его в бок, вскочил и, не отдавая себе отчета, куда и зачем, пошел опять по дороге. Море совсем угасло, на берегу никого не было, дорога тоже была пуста. Коттеджи спали, освещаемые месяцем сверху, спали также высокие незнако-

мые деревья с густою, тяжелою зеленью, спало недопаханное квадратное поле, огороженное проволокой, спала прямая дорога, белевшая и искрившаяся бледною полоской...

Послышался звон. Вагон вынырнул на свет из тени деревьев и, вздрагивая, позванивая, гудя, как ночной жук, пробежал мимо. Матвей посмотрел ему вслед. Лошадей не было, не было ни трубы, ни дыма, ни пара. Только наверху, откинувшись спереди назад, точно щупальце этого странного животного из стекла, железа и дерева,— торчал железный стержень с утолщением на конце. Он как будто хватался вверху за тонкую проволоку, чуть видную в темном воздухе, и всякий раз, как ему встречался узел,— на его верхушке вспыхивала яркая, синеватая искра.

Вагон уменьшался, стихал его гудящий звон, и искорки бледнели и угасали вдали, а из тени уже подходил другой, также гудя и позванивая.

Это, должно быть, был уже последний и шел почти пустой. Полусонный кондуктор, заметив одинокую фигуру на дороге, позвонил; вагон задрожал, заскрежетал на рельсах и замедлил ход. Кондуктор наклонился, взял Лозинского под локоть и посадил на скамью. Лозинский подал монету, раздался металлический звонок счетчика, и вагон опять покатился, а мимо убегали назад коттеджи, сады, переулки, улицы. Сначала все это спало или засыпало. Потом как будто пробуждалось, гремело, говорило, светилось. На небе разливалось зарево. Замелькали окна, уходя все выше и выше к небу.

— Бридж (мост),— сказал кондуктор. Матвей вышел, сожалея, что нельзя ехать таким образом вечно. Перед ним зияло опять, точно пещера, устье Бруклинского моста. Вверху, пыхтя, опять завернулся локомотив и подхватил поезд. В левой стороне вкатывались вагоны канатной дороги, справа выбегали другие, а рядом въезжали фургоны и шли редкие пешеходы...

Дойдя до половины моста, Матвей остановился. В ушах у него шумело, в голове что-то ворочалось. Мимо бежали поезда, вагоны, коляски, мост гудел, и было страшно слушать тонкие свистки пароходов, долетавшие снизу,— так они казались далеко и глубоко, в какой-то бездне, переполненной снующими огоньками...

А в небо уходили два гигантских пролета, с которых спускались канаты невиданной толщины. Целая сеть железных стержней, которые казались Матвею с корабля такой красивой паутинкой, тянулась от канатов, поддерживая мост на весу. Из-за них едва можно было разглядеть реку, сливавшуюся с заливом в одно серебристое сияние, в котором утопали и из которого виднелись опять огни пароходов. И дальше тысячи огней, как звезды, висели над водой, уходя вдаль, туда, где новые огни горели в Нью-Джерси. И среди всего этого моря огня, вдалеке, острые глаза Матвея едва различили круглую огненную диадему и факел свободы. Ему казалось, что он видит в синеватом свете и голову медной женщины, и поднятую руку. Но это уже светилось слабо, чуть-чуть мерцая, как недавние дни с мечтами о счастье на чужой стороне...

В черной громаде пролета, точно нора, светилось оконце мостового сторожа, и сам он, как ничтожный светляк, выполз из этой норы, с фонарем. Он тотчас же увидел на мосту иностранца, а это всегда нравится американцу. Сторож похлопал Матвея по плечу и сказал несколько одобрительных слов.

— Нельзя ли у тебя переночевать? — спросил Матвей усталым голосом.

— О уэлл! — ответил тот по-своему и стал объяснять Матвею, что Америка больше всего остального света,— это известно. Нью-Йорк — самый большой город Америки, а этот мост — самый большой в Нью-Йорке. Из этого Матвей, если бы понимал слова сторожа, мог бы заключить, чего стоят остальные мостишки перед этим.

Потом сторож поглядел в глаза странного человека, прочел в них тоску, вместо удивления, и мысли его приняли другое направление... Конечно, если уже человеку жизнь не мила, то, пожалуй, лестно кинуться с самого большого моста в свете, но, во-первых, это трудно: не перелезешь через эту сеть проволок и канатов, а во-вторых, мост построен совсем не для того. Все это сторож объявил Матвею, а затем довольно решительно повернул его и стал провожать, поталкивая сзади. Впрочем, странный человек пошел покорно, как заведенная машина, туда, где над городом стояло зарево и, точно

венец, плавало в воздухе кольцо электрических огней над зданием газетного дома...

За мостом он уже без приглашения кондуктора взобрался в вагон, на котором стояла надпись: «Central park» *. Спокойное сидение и ровный бег вагона манили невольно бесприютного человека, а куда ехать, ему было теперь все равно. Только бы ехать, чем дальше, тем лучше, не думая ни о чем, давая отдых усталым ногам, пока дремота налетает вместе с ровным постукиванием колес...

Ему было очень неприятно, когда постукивание вдруг прекратилось, и перед ним стал кондуктор, взявший его за рукав. Он опять вынул деньги, но кондуктор сказал: «No» **,— и показал рукой, что надо выйти.

Матвей вышел, а пустой вагон как-то радостно закатился по кругу. Кондуктор гасил на ходу огни, окна вагона точно зажмуривались, и скоро Матвей увидел, как он вкатился во двор станции и стал под навесом, где, покрытые тенью, отдыхали другие такие же вагоны...

Здесь было довольно тихо. Луна стала совсем маленькой, и синяя ночь была довольно темна, хотя на небе виднелись звезды, и большая, еще не застроенная площадь около Центрального парка смутно белела под серебристыми лучами... Далекие дома перемежались с пустырями и заборами, и только в одном месте какой-то гордый человек вывел дом этажей в шестнадцать, высившийся черною громадой, весь обставленный еще лесами... Эта вавилонская башня резко рисовалась на зареве от освещенного города...

До ушей Матвея донесся шум деревьев. Лес всегда тянет к себе бесприютного бродягу, а Матвей Лозинский чувствовал себя настоящим бродягой.

Поэтому он быстро повернулся и пошел к парку. Если бы кто смотрел на него в это время с площади, то мог бы видеть, как белая одежда то теряется в тени деревьев, то мелькает опять на месячном свете.

Он шел так несколько минут и вдруг остановился. Перед ним поднималась в чаще огромная клетка из

---

* Центральный парк (*англ.*).
** Нет (*англ.*).

тонкой проволоки, точно колпаком покрывшая дерево. На ветвях и перекладинах сидели и тихо дремали птицы, казавшиеся какими-то серыми комками. Когда Матвей подошел поближе, большой коршун поднял голову, сверкнул глазами и лениво расправил крылья. Потом опять уселся и втянул голову между плеч.

Матвей отошел, боясь, чтобы птицы не подняли возню. Он ступал тихо и оглядывался, ища себе приюта. Вскоре перед ним забелело продолговатое здание. Половина его была темная, и Матвею показалось, что это какой-нибудь сарай, где можно свернуться и заснуть до утра. Но, подойдя, он опять увидел железную решетку, от которой отскочил в испуге. Из-за нее сверкнули на него огнем два глаза. Большой серый волк стоял над спящею волчицей и зорко следил за подозрительным человеком в белой одежде, который бродит неизвестно зачем ночью около звериного жилья.

В то же время откуда-то из тени человеческий голос сказал что-то по-английски резко и сердито. Матвею этот окрик показался хуже ворчания лесного зверя. Он вздрогнул и пугливо пошел опять к опушке. Тут он остановился и погрозил кулаком. Кому? Неизвестно, но человек без языка чувствовал, что и в нем просыпается что-то волчье...

XXI

Легкое журчание воды потянуло его дальше. Это струился в бассейн неплотно запертый фонтан. Вода сочилась кверху, будто сонная, и, то поднимаясь, то падая совсем низко, струйка звенела и плескалась. Матвей склонился к водоему и стал жадно пить. Потом он снял шапку и перекрестился, решившись лечь тут же в кустах. Издалека в тишине ночи до него донесся свисток... Ему показался он звуком из какого-то другого мира. Он сам когда-то тоже приехал на пароходе... Может быть, это еще такой же пароход из старой Европы, на котором люди приехали искать в этой Америке своего счастья,— и теперь смотрят на огромную статую с поднятой рукой, в которой чуть не под облаками светится факел... Только теперь лозищанину казалось, что он освещает вход в огромную могилу.

С сокрушением, сняв шапку и глядя в звездное небо, он стал молиться готовыми словами вечерних молитв. Небо тихо горело своими огнями в бездонной синеве и казалось ему чужим и далеким. Он вздохнул, бережно положил около себя кусок хлеба, с которым все не расставался,— и лег в кусты. Все стихло, все погасло, все заснуло на площади, около зверинца и в парке. Только плескалась струйка воды, да где-то вскрикивала в клетке ночная птица, да в кустах шевелилось что-то белое, и порой человек бормотал во сне что-то печальное и сердитое, может быть, молитву, или жалобы, или проклятия.

Ночь продолжала тихий бег над землей. Поплыли в высоком небе белые облака, совсем похожие на наши. Луна закатилась за деревья; становилось свежее и как будто светлело. От земли чувствовалась сырость...

Тут с Матвеем случилось небольшое происшествие, которого он не забыл во всю свою последующую жизнь, и хотя он не мог считать себя виноватым, но все же оно камнем лежало на его совести.

Он начинал дремать, как вдруг раздвинулись кусты, и какой-то человек остановился над ним, заглядывая в его ночное убежище.

Час был серый, сумеречный. Матвей плохо видел лицо незнакомца. Впоследствии ему припоминалось, что лицо было бледно, а большие глаза смотрели страдающе и грустно...

Очевидно, это был тоже ночной бродяга, какой-нибудь несчастливец, которому, видно, не повезло в этот день, а может, не везло уже много дней и теперь не было нескольких центов, чтобы заплатить за ночлег. Может быть, это был тоже человек без языка, какой-нибудь бедняга-итальянец, один из тех, что идут сюда целыми стадами из своей благословенной страны, бедные, темные, как и наши, и с такой же тоской о покинутой родине, о родной беде, под родным небом... Один из безработных, выкинутых этим огромным потоком, который лишь ненадолго затих там, в той стороне, где высились эти каменные вавилонские башни и зарево огней тихо догорало, как будто и оно засыпало перед рассветом. Может быть, и этого человека грызла тоска; может быть, его уже не носили ноги; может быть, его сердце уже переполнилось тоской одиночества; может быть, его

просто томил голод, и он рад бы был куску хлеба, которым мог бы с ним поделиться Лозинский. Может быть, и он мог бы указать лозищанину какой-нибудь выход. .

Может быть... Мало ли что может быть! Может быть, эти два человека нашли бы друг в друге братьев до конца своей жизни, если бы они обменялись несколькими братскими словами в эту теплую, сумрачную, тихую и печальную ночь на чужбине...

Но человек без языка шевельнулся на земле так, как недавно шевельнулся ему навстречу волк в своей клетке. Он подумал, что это тот, чей голос он слышал недавно, такой резкий и враждебный. А если и не тот самый, то, может быть, садовый сторож, который прогонит его отсюда...

Он поднял голову с враждой на душе, и четыре человеческих глаза встретились с выражением недоверия и испуга...

— Джермен? — спросил незнакомец глухим голосом...— Френч? Тэдеско, итальяно?.. (германец? француз? итальянец?)

— Что тебе нужно? — ответил Матвей.— Неужели и здесь не дашь человеку минутку покоя?..

Они еще обменялись несколькими фразами. Голоса обоих звучали сердито и враждебно...

Незнакомец тихо выпустил ветку, кусты сдвинулись, и он исчез.

Он исчез, и шаги его стали стихать... Матвей быстро приподнялся на локте с каким-то испугом. «Уходит,— подумал он.— А что же будет дальше...» И ему захотелось вернуть этого человека. Но потом он подумал, что вернуть нельзя, да и незачем. Все равно — не поймет ни слова.

Он слушал, как шаги стихали, потом стихли, и только деревья что-то шептали перед рассветом в сгустившейся темноте... Потом с моря надвинулась мглистая туча и пошел тихий дождь, недолгий и теплый, покрывший весь парк шорохом капель по листьям.

Сначала этот шорох слышали два человека в Центральном парке, а потом только один...

Другого наутро ранняя заря застала висящим на одном из шептавших деревьев, с страшным, посиневшим лицом и застывшим стеклянным взглядом.

Это был тот, что подходил к кустам, заглядывая на лежавшего лозищанина. Человек без языка увидел его первый, поднявшись с земли от холода, от сырости, от тоски, которая гнала его с места. Он остановился перед ним, как вкопанный, невольно перекрестился и быстро побежал по дорожке, с лицом, бледным, как полотно, с испуганными, сумасшедшими глазами... Может быть, ему было жалко, а может быть, также... он боялся попасть в свидетели... Что он скажет, он, человек без языка, без паспорта, судьям этой проклятой стороны?..

В это время его увидал сторож, который, зевая, потягивался под своим навесом. Он подивился на странную одежду огромного человека, вспомнил, что как будто видел его ночью около волчьей клетки, и потом с удивлением рассматривал огромные следы огромных сапог лозищанина на сырой песчаной дорожке...

XXII

В это утро безработные города Нью-Йорка решили устроить митинг. Час был назначен ранний, так, чтобы шествие обратило внимание всех, кто сам спешит на работу — в конторы, на фабрики и в мастерские.

О предстоящем митинге уже за неделю писали в газетах, сообщая его программу и имена ораторов. Предвидели, что толпа может «выйти из порядка», интервьюировали директора полиции и вожаков рабочего движения. Газеты биржевиков и Тамани-холла громили «агитаторов», утверждая, что только иностранцы да еще лентяи и пьяницы остаются без работы в этой свободной стране. Рабочие газеты возражали, но тоже призывали к достоинству, порядку и уважению к законам. «Не давайте противникам повода обвинять вас в некультурности»,— писали известные вожаки рабочего движения.

Газета «Sun», одна из наиболее распространенных, обещала самое подробное описание митинга в нескольких его фазах, для чего каждые полчаса должно было появляться специальное прибавление. Один из репортеров был поэтому командирован ранним утром, чтобы дать заметку: «Центральный парк перед началом митинга».

Ему очень повезло. Прежде всего, обегая все закоулки парка, он наткнулся на Матвея и тотчас же нацелился на него своим фотографическим аппаратом. И хотя Матвей быстро от него удалился, но он успел сделать моментальный снимок, к которому намеревался прибавить подпись: «Первый из безработных, явившийся на митинг».

Он представлял себе, как подхватят эту фигуру газеты, враждебные рабочему движению: «Первым явился какой-то дикарь в фантастическом костюме. Наша страна существует не для таких субъектов...»

Затем зоркий глаз репортера заметил в чаще висящее тело. Надо отдать справедливость этому газетному джентльмену: первой его мыслью было,— что, может быть, несчастный еще жив. Поэтому, подбежав к трупу, он вынул из кармана свой ножик, чтобы обрезать веревку. Но, пощупав совершенно охладевшую руку,— спокойно отошел на несколько шагов и, выбрав точку,— набросал снимок в альбом... Это должно было тоже произвести впечатление,— хотя уже с другой стороны. Это подхватят рабочие газеты... «Человек, который явился на митинг еще ранее... Еще одна жертва нужды в богатейшей стране мира...» Во всяком случае заметка вызовет общую сенсацию, и редакция будет довольна.

Действительно, и заметка, и изображение мертвого тела появились в газете ранее, чем о происшествии стало известно полиции. По странной оплошности («что, впрочем, может случиться даже с отличной полицией»,— писали впоследствии в некоторых газетах) толпа уже стала собираться и тоже заметила тело, а полиция все еще не знала о происшествии...

Матвей Лозинский, ничего, конечно, не читавший о митинге, увидел, что к парку с разных сторон стекается народ. По площади, из улиц и переулков шли кучами какие-то люди в пиджаках, правда, довольно потертых, в сюртуках, правда, довольно засаленных, в шляпах, правда, довольно измятых, в крахмальных, правда, довольно грязных рубахах. Общий вид этой толпы, изможденные, порой бородатые лица производили на Лозинского успокоительное впечатление. Он чувствовал что-то как будто родственное и симпатичное. Все они

собирались к фонтану, затем узнали о самоубийстве и, как муравьи, толпились около этого места, сумрачные, озлобленные, печальные.

Лозинский теперь смелее вышел на площадку, около которой расположилась группа черномазых и густоволосых людей, еще более оборванных, чем остальные. Глаза у них были, как сливы, лица смуглые, порой остроконечные шляпы с широкими полями, а язык звучал, как музыка — мягко и мелодично. Это были итальянцы. Они напомнили Матвею словаков, заходивших в Лозищи из Карпат, и он доверчиво попытался заговорить с ними. Но и тут его никто не понял. Итальянцы лениво поворачивали к нему головы; один подошел, пощупал его белую свиту и с удивлением щелкнул языком. Потом он с удовольствием ощупал мускулы его рук и сказал что-то товарищам, которые выразили свое одобрение шумными криками... Но больше ничего от них Матвей не добился... Он заметил только, что глаза у них сверкают, как огонь, а у иных, под куртками у поясов, висят небольшие ножи.

Вскоре толпа залила уже всю площадку. Над ней стояла тонкая пыль, залегавшая, как туман, между зеленью, и сплошной гул голосов носился над людскими головами...

Около дерева, где висел человек, началось движение. Суровые и важные, туда прошли полисмены в своих серых шляпах. Над ними смеялись, их закидали враждебными криками и остротами, показывая номер газеты, но они не обращали на это внимания. Только около самого дерева произошло какое-то замешательство,— серые каски как-то странно толкались между черными, рыжими и пестрыми шляпенками, потом подымались кверху и опускались деревянные палки и что-то суетливо топталось и шарахалось. Потом мертвое тело колыхнулось, голова мертвеца вдруг выступила из тени в светлое пятно, потом поникла, а тело, будто произвольно, тихо опустилось вровень с толпой.

Матвей снял шапку и перекрестился. А в это время, с другой стороны, с площадки, послышались вдруг звуки музыки. Повернув туда голову, лозищанин увидел, что из переулка, на той стороне площади, около большой постройки, выкатился клуб золотистой пыли и пока-

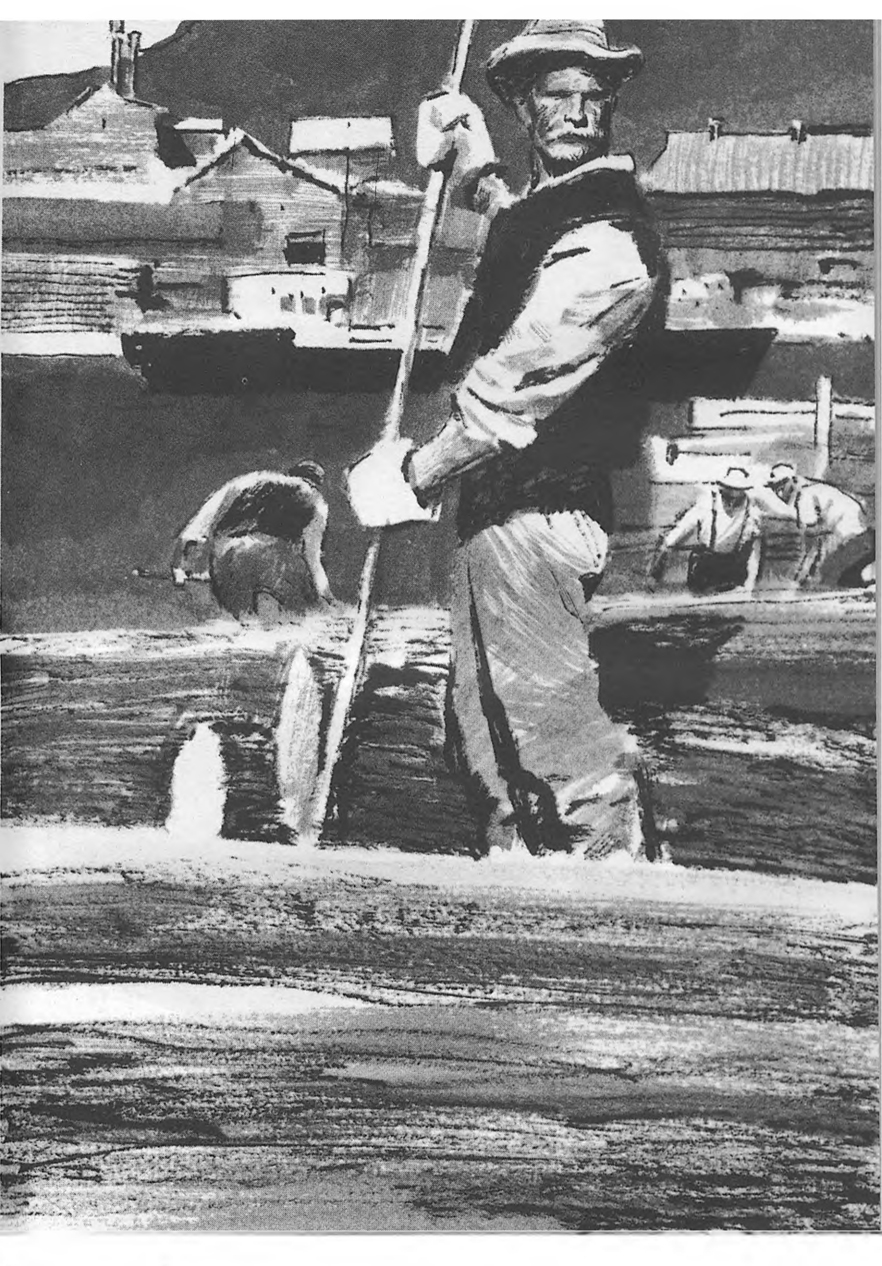
тился к парку. Точно гнали стадо или шло большое войско. А из облака неслись звуки музыки, то стихая,— и тогда слышался как будто один только гулкий топот тысячи ног,— то вдруг вылетая вперед визгом кларнетов и медных труб, стуком барабанов и звоном литавров. Впереди бежали двумя рядами уличные мальчишки, и высокий тамбур-мажор шагал, отмахивая такт большим жезлом. За ним двигались музыканты, с раздутыми и красными щеками, в касках с перьями, в цветных мундирах, с огромными эполетами на плечах, расшитые и изукрашенные до такой степени, что, кажется, не оставалось на них ни клочка, чем-нибудь не расцвеченного, не завешанного каким-нибудь галуном или позументом.

Матвей думал, что далее он увидит отряд войска. Но, когда пыль стала ближе и прозрачнее, он увидел, что за музыкой идут сначала рядами, а потом, как попало, в беспорядке — все такие же пиджаки, такие же мятые шляпы, такие же пыльные и полинялые фигуры. А впереди всей этой пестрой толпы, высоко над ее головами, плывет и колышется знамя, укрепленное на высокой платформе на колесах. Кругом знамени, точно стража, с десяток людей двигались вместе с толпой...

Гремя, стуча, колыхаясь, под яркие звуки марша, под неистовые крики и свист ожидавшего народа, знамя подошло к фонтану и стало. Складки его колыхнулись и упали, только ленты шевелились по ветру, да порой полотнище плескалось, и на нем струились золотые буквы...

Тогда в толпе поднялся настоящий шабаш. Одни звали новоприбывших к дереву, где недавно висел самоубийца, другие хотели остаться на заранее назначенном месте. Знамя опять колыхнулось, платформа поплыла за толпой, но скоро вернулась назад, отраженная плотно сомкнувшимся у дерева отрядом полиции.

Когда пыль, поднятую этой толкотней, пронесло дальше, к площади, знамя опять стояло неподвижно, а под знаменем встал человек с открытой головой, длинными, откинутыми назад волосами и черными сверкающими глазами южанина. Он был невелик ростом, но возвышался над всею толпой на своей платформе, и у него был удивительный голос, сразу покрывший говор тол-



«БЕЗ ЯЗЫКА»



«В КРЫМУ»

пы. Это был мистер Чарльз Гомперс, знаменитый оратор рабочего союза.

Толпа вся стихла, когда, протянув руку к дереву, где еще недавно висел самоубийца, он сказал негромко, но с какой-то особенной торжественной внятностью:

— Прежде всего отдадим почет одному из наших товарищей, который еще этой ночью изнемог в трудной борьбе.

Над многотысячной толпой точно пронесся ветер, и бесчисленные шляпы внезапно замелькали в воздухе. Головы обнажились. Складки знамени рванулись и заплескались среди гробовой тишины печально и глухо. Потом Гомперс начал опять свою речь.

В груди у Матвея что-то дрогнуло. Он понял, что этот человек говорит о *нем*, о том, кто ходил этой ночью по парку, несчастный и бесприютный, как и он, Лозинский, как и все эти люди с истомленными лицами. О том, кого, как и их всех, выкинул сюда этот безжалостный город, о том, кто недавно спрашивал у него о чем-то глухим голосом... О том, кто бродил здесь со своей глубокой тоской и кого теперь уже нет на этом свете.

Было слышно, как ветер тихо шелестит листьями, было слышно, как порой тряхнется и глухо ударит по ветру своими складками огромное полотнище знамени... А речь человека, стоявшего выше всех с обнаженной головой, продолжалась, плавная, задушевная и печальная...

Потом он повернулся и протянул руку к городу, гневно и угрожающе.

И в толпе будто стукнуло что-то разом во все сердца,— произошло внезапное движение. Все глаза повернулись туда же, а итальянцы приподнимались на цыпочках, сжимая свои грязные, загорелые кулаки, вытягивая свои жилистые руки.

А город, объятый тонкою мглою собственных испарений, стоял спокойно, будто тихо дыша и продолжая жить своею обычною, ничем невозмутимою жизнью. По площади тянулись и грохотали вагоны, пыхтел где-то в туннеле быстрый поезд... Ветер нес над площадью пыльное облако. Облако это, точно лента, пронизанная солнцем, повисло в половине огромного недостроенного

дома, напоминавшего вавилонскую башню. Вверху среди лесов и настилок копошились, как муравьи, занятые постройкой рабочие, а снизу то и дело подымались огромные тяжести... Подымались, исчезали в облаке пыли и опять плыли сверху, между тем как внизу гигантские краны бесшумно ворочались на своих основаниях, подхватывая все новые платформы с глыбами кирпичей и гранита...

И на все это светило яркое солнце веселого ясного дня.

В груди лозищанина подымалось что-то незнакомое, неиспытанное, сильное. В первый еще раз на американской земле он стоял в толпе людей, чувство которых ему было понятно, было в то же время и его собственным чувством. Это нравилось ему, это его как-то странно щекотало, это его подмывало на что-то. Ему захотелось еще большего, ему захотелось, чтобы и его увидели, чтобы узнали и его историю, чтобы эти люди поняли, что и он их понимает, чтобы они оказали ему участие, которое он чувствует теперь к ним. Ему хотелось еще чего-то необычного, опьяняющего, ему казалось, что сейчас будет что-то, от чего станет лучше всем и ему, лозищанину, затерявшемуся, точно иголка, на чужой стороне. Он не знал, куда он хочет идти, что он хочет делать, он забыл, что у него нет языка и паспорта, что он бродяга в этой стране. Он все забыл и, ожидая чего-то, проталкивался вперед, опьяненный после одиночества сознанием своего единения с этой огромной массой в каком-то общем чувстве, которое билось и трепетало здесь, как море в крутых берегах. Он как-то кротко улыбнулся, говорил что-то тихо, но быстро, и все проталкивался вперед, туда, где под знаменем стоял человек, так хорошо понимавший все чувства, так умело колыхавший их своим глубоким, проникавшим голосом...

XXIII

Совершенно неизвестно, что сделал бы Матвей Лозинский, если бы ему удалось подойти к самой платформе, и чем бы он выразил оратору, мистеру Гомперсу, волновавшие его чувства. В той местности, откуда он

был родом, люди, носящие сермяжные свиты, имеют обыкновение выражать свою любовь и уважение к людям в сюртуках — посредством низких, почти до земли, поклонов и целованья руки. Очень может быть, что мистер Гомперс получил бы это проявление удивления к своему ораторскому искусству, если бы роковой случай не устроил это дело иначе, а именно так, что ранее мистера Гомперса, председателя рабочих ассоциаций и искусного оратора, на пути лозищанина оказался мистер Гопкинс, бывший боксер и полисмен. Мистер Гопкинс, наряду с другими людьми в серых касках и с клобами в руках, стоял неподвижно, как статуя, и, разумеется, не был тронут красноречием мистера Гомперса. Нью-йоркская полиция отлично знала этого популярного джентльмена и действие его красноречия оценивала с своей точки зрения. Она знала, что мистер Гомперс человек очень искусный и никогда в своих речах не «выйдет из порядка». Но зато — таково было обычное действие его слова — слушатели выходили из порядка слишком часто. Безработные всегда склонны к этому в особенности, а сегодня, вдобавок, от этого проклятого дерева, на котором полиция прозевала повесившегося беднягу и позволила ему висеть «вне всякого порядка» слишком долго, на толпу веяло чем-то особенным. Между тем, давно уже не бывало митинга такого многолюдного, и каждому полисмену, в случае свалки, приходилось бы иметь дело одному на сто.

В таких случаях полиция держится крепко настороже, следя особенно за иностранцами. Пока все в порядке,— а в порядке все, пока дело ограничивается словами, хотя бы и самыми страшными, и жестами, хотя бы очень драматическими,— до тех пор полисмены стоят в своих серых шляпах, позволяя себе порой даже знаки одобрения в особенно удачных местах речи. Но лишь только в какой-нибудь части толпы явится стремление перейти к делу и «выйти из порядка» — полиция тотчас же занимает выгодную позицию нападающей стороны. И клобы пускаются в ход быстро, решительно, с ошеломляющей неожиданностью. И толпа порой тысяч в двадцать отступает перед сотнею-другою палок, причем задние бегут, закрывая, на всякий случай, головы руками...

Матвей Лозинский, разумеется, не знал еще, к своему несчастью, местных обычаев. Он только шел вперед, с раскрытым сердцем, с какими-то словами на устах, с надеждой в душе. И когда к нему внезапно повернулся высокий господин в серой шляпе, когда он увидел, что это опять вчерашний полицейский, он излил на него все то чувство, которое его теперь переполняло: чувство огорчения и обиды, беспомощности и надежды на чью-то помощь Одним словом, он наклонился и хотел поймать руку мистера Гопкинса своими губами.

Мистер Гопкинс отскочил шаг назад и — клоб свистнул в воздухе... В толпе резко прозвучал первый удар...

Лозищанин внезапно поднялся, как разъяренный медведь. . По лицу его текла кровь, шапка свалилась, глаза стали дикие. Он был страшнее, чем в тот раз в комнате Борка. Только теперь не было уже человеческой силы, которая была бы в состоянии сдержать его. Неожиданное оскорбление и боль переполнили чашу терпения в душе большого, сильного и кроткого человека. В этом ударе для него вдруг сосредоточилось все то, что он пережил, перечувствовал, перестрадал за это время, вся ненависть и гнев бродяги, которого, наконец, затравили, как дикого зверя

Неизвестно, знал ли мистер Гопкинс индейский удар, как Падди, во всяком случае и он не успел применить его вовремя. Перед ним поднялось что-то огромное и дикое, поднялось, навалилось — и полисмен Гопкинс упал на землю, среди толпы, которая вся уже волновалась и кипела... За Гопкинсом последовал его ближайший товарищ, а через несколько секунд огромный человек, в невиданной одежде, лохматый и свирепый, один опрокинул ближайшую цепь полицейских города Нью-Йорка... За ним с громкими криками и горящими глазами первые кинулись итальянцы. Американцы оставались около знамени, где мистер Гомперс напрасно надрывал грудь призывами к порядку, указывая в то же время на одну из надписей: «Порядок, достоинство, дисциплина!»

Через минуту вся полиция была смята, и толпа кинулась на площадь...

Была одна минута, когда, казалось, город дрогнул под влиянием того, что происходило около Central

park'a... Уезжавшие вагоны заторопились, встречные остановились в нерешимости, перестали вертеться краны, и люди на постройке перестали ползать взад и вперед... Рабочие смотрели с любопытством и сочувствием на толпу, опрокинувшую полицию и готовую ринуться через площадь на ближайшие здания и улицы.

Но это была только минута. Площадь была во власти толпы, но толпа совершенно не знала, что ей делать с этой площадью. Между тем большинство осталось около знамени и понемногу голова толпы, которая, точно змея, потянулась было по направлению к городу,— опять притянулась к туловищу. Затем, после короткого размышления,— вожаки решили, что митинг сорван, и, составив наскоро резолюцию, протестующую против действий полиции, они двинулись обратно. Впереди, как ни в чем не бывало, опять выстроился наемный оркестр, и облако пыли опять покатилось вместе с музыкой через площадь. А за ним сомкнутым строем шли оправившиеся полицейские, ободрительно помахивая клобами и поощряя отставших.

Через полчаса парк опустел; подъемные краны опять двигались на своих основаниях, рабочие опять сновали чуть не под облаками на постройке, опять мерно прокатывались вагоны, и проезжавшие в них люди только из газет узнали о том, что было полчаса назад на этом месте. Только сторожа ходили около фонтана, качая головами и ругаясь за помятые газоны...

XXIV

Несколько дней газеты города Нью-Йорка, благодаря лозищанину Матвею, работали очень бойко. В его честь типографские машины сделали сотни тысяч лишних оборотов, сотни репортеров сновали за известиями о нем по всему городу, а на площадках перед огромными зданиями газет «World», «Tribune», «Sun», «Herald» — толпились лишние сотни газетных мальчишек. На одном из этих зданий Дыма, все еще рыскавший по городу в надежде встретиться с товарищем, увидел экран, на котором висело объявление:

ДИКАРЬ В НЬЮ ИОРКЕ

Происшествие на митинге безработных.
Кафр, патагонец или славянин?
Сильнее полисмена Гопкинса.

УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Оскорбление законов этой страны!
Мы дадим портрет дикаря, убившего полисмена Гопкинса

Через час листы уже летели в толпу мальчишек, которые тотчас же ринулись во все стороны. Они шныряли под ногами лошадей, вскакивали на ходу в вагоны электрической дороги, через полчаса были уже на конце подземной дороги и в предместьях Бруклина,— и всюду раздавались их звонкие крики:

«Дикарь в Нью-Йорке!.. Портрет дикаря на митинге безработных!.. Оскорбление законов этой страны!»

Газетный джентльмен, нарисовавший вчера фантастическое изображение дикаря, купающего свою семью в городском водоеме, не подозревал, что его рисунок получит столь скорое применение. Теперь это талантливое произведение красовалось в сотнях тысяч экземпляров, и серьезные американцы, возвращавшиеся из своих контор, развертывали на ходу газету именно в том месте, где находилась фигура дикаря, «дважды нарушившего законы этой страны». А так как очень трудно воздержаться от невольных сопоставлений, то газета, пока не выяснятся окончательно мотивы загадочного преступления этого загадочного человека, предлагала свое объяснение, не настаивая, впрочем, на полной его достоверности. «Вчера бедный Гопкинс разъяснил дикарю всю неуместность купания детей в городских водоемах. Известно, что дикари мелочны и мстительны. Кто знает, быть может, Гопкинс пал невинною жертвой ревностного исполнения своего долга на Бродвее».

В другой газете, более серьезной, дано было изложение события по свежим следам. Заметка носила название *«Митинг безработных»*:

«Спешим дать нашим читателям точное изложение события в Центральном парке. Как уже известно, митинг безработных был назначен утром, и уже чуть не с рассвета площадка и окружающая местность стали наполнять-

ся людьми в количестве, которое привело в некоторое замешательство полицейские резервы. В числе последних оказался известный Гопкинс, бывший боксер, лицо, достаточно популярное в этом городе.

К несчастью, случай, один из тех, которые, конечно, могут встретиться во всяком городе этого штата, во всяком штате этой страны, во всякой стране этого мира (где всегда будет богатство и бедность, что бы ни говорили опасные утописты),— такой случай внес особенное возбуждение в настроение этой толпы. Неподалеку от фонтана, по соседству с местом митинга, в эту ночь повесился какой-то бедняк, имя, род занятий, даже национальность которого остаются пока неизвестны. Как бы то ни было, полиция проявила несомненную оплошность. Один из репортеров успел срисовать даже изображение самоубийцы прежде, чем полиция узнала о факте. Вынимать тело из петли пришлось уже в то время, когда в парке было много людей, судьба которых, вследствие случайных, но тем не менее прискорбных причин, очень грустно иллюстрировалась видом и судьбой этого бедняги. Первая попытка полиции снять тело оказалась неудачна вследствие сопротивления, оказанного сильно возбужденной толпой. Но затем, когда силы полиции увеличились, это было, наконец, сделано,— хотя, нужно признаться, не без содействия клобов, которые, как мы это указывали многократно, полиция наша пускает в ход нередко и при обстоятельствах, пожалуй менее оправдывающих употребление этого орудия в цивилизованной стране.

В назначенное время прибыл на место известный рабочий агитатор мистер Гомперс, в сопровождении хора музыки и со знаменем, на котором была надпись:

Работы!
Терпение народа истощено.
Соединяйтесь!
Петиция новому мэру!

Беспристрастие требует прибавить, что, кроме этих, была еще надпись следующего содержания: «Достоинство, порядок, дисциплина!»

За этой заметкой следовала в газете другая, имевшая опять три заглавия:

«Чарли Гомперс был горек».
«Он громил богатство и роскошь».
«Порицал порядки этой страны, а этот город
называл вавилонской блудницей».

«Чарли Гомперс, ораторскому таланту которого нельзя не отдать должной дани удивления, прекрасно использовал данное положение. Едва прибыв на место, в сопровождении прекрасного хора м-ра Ивэнса (Second avenue *, № 300), и узнав об утреннем происшествии, он начал свою речь блестящей импровизацией, в которой в самых мрачных красках изобразил положение лишенных работы и судьбу, ожидающую, быть может, в близком будущем многих из этих несчастливцев. Вслед за этим он воспользовался контрастами, которые на всяком шагу развертывает этот город, как известно, самый большой и самый богатый в мире. Эта речь Чарли Гомперса, имевшая целью пригласить безработных к петиции на имя городского мэра, а также пропагандировавшая идею рабочих ассоциаций,— вызвала, по-видимому, самые дурные страсти. Правда, англичане и американцы (которых, впрочем, было очень немного), даже большинство ирландцев и немцы,— остались в порядке. Но наименее цивилизованные элементы толпы — в лице итальянцев, отчасти русских евреев и в особенности какого-то дикого человека неизвестной нации — вспыхнули при этом, как порох от спички».

«МНЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ СЕНАТОРА РОБИНЗОНА»

«Мистер Робинзон, любезно принявший у себя нашего репортера, находит, что в этом происшествии с особенной яркостью выразилась сила законного порядка этой страны. «Сэр,— сказал мистер Робинзон нашему репортеру,— что вы видите в данном случае? Мятежники, побуждаемые опасными демагогами, опрокинули полицию. Преграда между ними и цивилизацией в лице бравого Гопкинса и его товарищей рушилась. И что же,— мятежники не находят ничего лучшего, как вернуться самопроизвольно к порядку. Я позволил бы себе,

* Второй проспект (*англ.*).

однако, предложить мистеру Гомперсу и в его лице всем подобным ему агитаторам один вопрос, который, надеюсь, поставил бы их в немалое затруднение: *зачем вы, сэр, возбуждаете страсти и подстрекаете толпу на дело, самый успех которого не можете ни в каком случае обратить в свою пользу?»*

«В следующем номере,— прибавляла редакция,— мы надеемся дать читателям ответ мистера Гомперса на уничтожающий вопрос почтенного сенатора».

Наутро газета исполнила свое обещание. Она дала, во-первых, портрет мистера Гомперса, а затем подробное изложение беседы его с репортером. При этом мистер Гомперс в изображении репортера рисовался столь же благожелательными красками, как и сенатор Робинзон. «Мистер Гомперс в личной жизни — человек привлекательный и симпатичный, его обращение с репортером было необыкновенно приветливо и любезно, но его отзывы о деле — очень горячи и энергичны. Мистер Гомперс винит во всем несдержанность полиции этого города. Сам он был «в порядке». Правда, как это совершенно справедливо было отмечено нашим репортером, он «был горек» в своей речи. Он этого не отрицает. Но с каких же это пор для американца в этой стране считается обязательным произносить только сладкие речи?! Кому не нравится сравнение этого города с блудницей, тот не должен слушать по воскресеньям проповеди, хотя бы, например, достопочтенного реверенд-Джонса, так как это его любимое сравнение. И, однако, никто не обвиняет за это священников в возбуждении дурных страстей или в оскорблении страны. Надо думать, что Тамани-ринг, которого, как известно, мистер Робинзон является деятельным членом, еще не в силах ограничить в этой стране свободу слова, завещанную великими творцами ее конституции! (Здесь репортер выражает сожаление, что он не в силах передать ни великолепного жеста, ни возвышенного пафоса, с каким мистер Гомперс произнес последнюю фразу. Он констатирует, однако, что они сделали бы честь первым ораторам страны.) Мистер Гомперс очень сожалеет о том, что случилось, но пострадавшими в этом деле считает себя и своих друзей, так как митинг оказался сорванным и право собраний грубо нарушено в их лице. Как началась

свалка, он не видел. Он далек также от мысли заподозревать добросовестность талантливого джентльмена, давшего изображение дикаря. Однако и наружность, и костюм этого дикаря кажутся ему достаточно маскарадными, чтобы быть изобретением полиции. Что касается до обращенного к нему вопроса, то удовлетворить любопытство достопочтенного сенатора гораздо легче, чем осветить некоторые проделки Тамани-ринга. Как уже ясно из предыдущего, он не подстрекал никого к нападению на полицию так же, как не подстрекал полицейских к слишком усердному употреблению клобов. Но он убежден, что великий вопрос о богатстве и бедности должен быть решен на почве свободы слова и союзов. Что же касается до плодов агитации, то они видны уже и теперь. Два года назад ассоциация рабочих, которой он имеет честь быть председателем, считала ровно вдвое меньшее число членов, чем имеет в настоящее время. Таковы плоды непосредственные. Что же касается дальнейших, то мистер Робинзон, сенатор и крупный фабрикант, может сказать кое-что по этому поводу, так как на его собственной фабрике с прошлого года рабочие часы сокращены без сокращения платы. «И мы с гордостью предвидим,— прибавил мистер Гомперс с неподражаемой иронией,— тот день, когда митеру Робинзону придется еще поднять плату без увеличения рабочего дня...» Наконец, мистер Гомперс сообщил, что он намерен начать процесс перед судьей штата о нарушении неприкосновенности собраний. Как известно,— сказал он,— ученым этой страны до сих пор не удалось выяснить вопроса о национальности загадочного дикаря. Мистер Гомперс не теряет, однако, надежды, что суду это удастся и что директору полиции (которому он отказывает, впрочем, в должном уважении) уже и теперь известно кое-что по этому поводу».

«Одним словом,— так заканчивалась заметка,— если оставить в стороне некоторые щекотливые вопросы, вызывающие (быть может, и справедливое) осуждение,— мистер Гомперс оказался не только превосходным оратором и тонким политиком, но и очень приятным собеседником, которому нельзя отказать в искреннем пафосе и возвышенном образе мыслей. Сам мистер Гомперс убежден, что он и его единомышленники оказывают

истинную услугу стране, внося организацию, порядок, сознательность и надежду в среду, бедствия, отчаяние и справедливое негодование которой легко могли бы сделать ее добычей анархии...»

Несколько дней еще происшествие в Центральном парке не сходило со столбцов нью-йоркских газет. Репортеры обегали весь город, и в редакции являлись разные лица, видевшие в разных местах странных людей, навлекавших подозрение в тождественности с загадочным дикарем. Дикарей в Нью-Йорке оказалось достаточно. Исходя из первого изображения, некоторые более или менее ученые джентльмены высказывали свое мнение о его национальности. Отзывы были весьма различны, но по мере того, как сведения становились многочисленнее и точнее, заключения ученых джентльменов начинали вращаться в круге все более ограниченном. Первый приблизился к истине некто мистер Аткинсон, взявший исходным пунктом «разрушительные тенденции незнакомца и его беспредельную ненависть к цивилизации и культуре». Судя по этим признакам, он причислял его к славянскому племени... К сожалению, пустившись в дальнейшие гипотезы, мистер Аткинсон отнес к славянскому племени также «кавказских черкесов и самоедов, живущих в глубинах снежной Сибири».

Круг около загадочной личности смыкался все более. В заметках, становившихся все более краткими, но зато и более точными, появлялись все новые места и лица, так или иначе прикосновенные к личности «дикаря». Негр Сам, чистильщик сапог в Бродвее, мостовой сторож, подозревавший незнакомца в каком-нибудь покушении на целость Бруклинского моста, кондуктор вагона, в котором Матвей прибыл вечером к Central park'у, другой кондуктор, который подвергал свою жизнь опасности, оставаясь с глазу на глаз с дикарем в электрическом вагоне, в пустынных предместьях Бруклина, наконец, старая барыня, с буклями на висках, к которой таинственный дикарь огромного роста и ужасающего вида позвонился однажды с неизвестными, но, очевидно, не добрыми целями, когда она была одна в своем доме... К счастью, престарелая леди успела захлопнуть свою дверь как раз вовремя для спасения своей жизни.

XXV

О другой старой барыне, из дома № 1235, в газетах не упоминалось. Не упоминалось также и об Анне, которая только вздыхала порой, при воспоминании о пропавшем без вести Матвее. Человек канул, точно в воду, а сама она попала, как лодка, в тихую заводь. Каждый день, когда муж и жильцы старой барыни уходили,— она, точно невидимая фея, являлась в оставленные комнаты, убирала постели, подметала полы, а раз в неделю перетирала стекла и чистила газовые рожки. Каждый день выносила сор на улицу в корзину, откуда его убирали городские мусорщики, и готовила обед для господ и для двух джентльменов, обедавших с ними. Два раза в месяц она ходила в церковь вместе с барыней... Вообще все для нее в этом уголке было так, как на родине. Все было, как на родине, в такой степени, что девушке становилось до боли грустно: зачем же она ехала сюда, зачем мечтала, надеялась и ждала, зачем встретилась с этим высоким человеком, задумчивым и странным, который говорил: «Моя доля будет и твоя доля, малютка». Молодой Джон и Дыма не являлись. Жизнь ее истекала скучными днями, как две капли воды похожими друг на друга. . Она нашла здесь родину, ту самую, о которой так вздыхал Лозинский,— и не раз она горько плакала об этом по ночам в своей кухоньке, в подвальном этаже, низком и тесном... И не раз ей хотелось вернуться к той минуте, когда она послушалась Матвея, вместо того, чтобы послушать молодую еврейку.. Вернуться и начать жить здесь по-иному, искать иной доли, может быть, дурной, да иной...

Однажды почтальон, к ее великому удивлению, подал ей письмо. На конверте совершенно точно стоял ее адрес, написанный по-английски, а наверху печатный штемпель: «Соединенное общество лиц, занятых домашними услугами». Не понимая по-английски, она обратилась к старой барыне с просьбой прочесть письмо. Барыня подозрительно посмотрела на нее и сказала:

— Поздравляю! Ты уже заводишь шашни с этими бунтовщиками!

— Я ничего не знаю,— ответила Анна.

В письме был только печатный бланк, с приглашением поступить в члены общества. Сообщался адрес и размер членского взноса. Цифра этого взноса поразила Анну, когда барыня иронически перевела приглашение... Однако девушка спрятала письмо и порой вынимала его по вечерам и смотрела с задумчивым удивлением: кто же это мог заметить ее в этой стране и так правильно написать на конверте ее имя и фамилию?

Это было вскоре после ее поступления на службу А еще через несколько дней старая барыня с суровым видом сообщила ей новость:

— Хорошие дела, нечего сказать, наделал этот твой... Матвей, что ли! — сказала она.— Вот и верь после этого наружности. Казался таким почтительным и смирным.

— Что такое? — спросила Анна с тревогой.

— Убил полицейского, ни более, ни менее.

— Не может быть! — вскрикнула девушка невольно.

Старая барыня показала ей кучку газет, которые принес ей муж, когда уже личность Матвея стала выясняться. В фантастическом изображении трудно было признать добродушную фигуру лозищанина, хотя все же сохранились некоторые черты и оклад бороды. Затем в следующих номерах был приведен портрет Дымы, на этот раз в свите и бараньей шапке,— как соотечественника исчезнувшей знаменитости. Старая барыня, надев очки, целый день читала газеты, сообщая от времени до времени вычитанные сведения и Анне. Сама она была искренно удивлена, узнав, что Матвей попал на митинг и оказался предводителем банды итальянцев, опрокинувших полицию и побуждавших толпу безработных ограбить ближайшие магазины.

— А ведь каким казался почтительным и тихим,— сказала барыня в раздумье, вспоминая покорную фигуру Матвея, его кроткие глаза и убежденное поддакивание на все ее мнения.— Да, да! Верь после этого наружности.

Она подозрительно покосилась даже на Анну, готовая видеть в ней сообщницу страшного человека, но открытый взгляд девушки рассеял ее опасения.

— Он очень вспыльчив,— сказала Анна грустно, вспоминая страшную минуту во время столкновения

с Падди.— И . и... знаете что... Как это там написано: потянулся губами к руке... Ведь это он.. прошу вас . хотел, верно, поцеловать у него руку

— Хотел поцеловать? и убил?.. Что-то все это странно,— сказала барыня — Во всяком случае, если его поймают, то непременно повесят... Видишь, до чего здесь доводят эти... общества разные... Я бы этих Гомперсов!.. Смотри, вот они и тебя хотят завлечь в свои сети...

Анна видела, что барыня говорит совершенно искренно, а происшествие с Матвеем придавало ее словам еще большее значение. Однако, когда, в отсутствии барыни, опять пришло письмо на ее имя с тем же штемпелем,— она обратилась за прочтением не к ней, а к одному из жильцов. Это был человек молчаливый и суровый, не участвовавший в карточных вечерах у хозяев и не сказавший никогда с Анной лишнего слова. Он все сидел в своей комнате, целые дни писал что-то и делал какие-то выкладки. В доме говорили, что он «считает себя изобретателем». Почему-то Анна питала к суровому человеку безотчетное доверие и уважение.

Он взял из ее рук письмо и добросовестно перевел слово в слово. Содержание письма очень удивило Анну: в нем писали, что комитету общества стало известно, что мисс Анна служит на таких условиях, которые, во-первых, унизительны для человеческого достоинства своей неопределенностью, а во-вторых, понижают общий уровень вознаграждения. Десять долларов в месяц и один свободный день в неделю — это минимальные требования, принятые в одном из собраний «соединенного общества лиц, занятых домашними услугами». Ввиду этого ей опять предлагают поступить в члены общества и предъявить повышенные требования своей хозяйке, иначе ее сотоварищи вынуждены будут считать ее «врагом своего класса».

Анна выслушала с испугом это странное обращение.

— Что же мне будет? — спросила она, глядя на чтеца совсем округлившимися глазами и не понимая хорошенько, кто это пишет и по какому праву.

– Ну, я в эти дела не мешаюсь,— ответил сурово молчаливый жилец и опять повернулся к своим бумагам. Но между глазами и бумагой ему почудилось испуганное лицо миловидной девушки, растерявшейся и бес-

помощной, и он опять с неудовольствием повернулся, подымая привычным движением свои очки на лоб.

— Ты еще здесь? — сказал он, глядя в упор на Анну своими близорукими глазами, устремленными как бы в пространство или видевшими что-то за ней.— Странно: твое лицо мне мешает... Ты спрашивала мое мнение?.. Ну, так вот: по моему мнению, все это глупости! Когда-то и я верил в эти бирюльки и увлекался, пока не понял, что только наука способна изменить все человеческие отношения. Понимаешь: наука! Вопрос решается не на улице, а в кабинете ученого... Вот здесь (он положил руку на бумаги) решение всех этих вопросов. Скоро все узнают... и ты в том числе. Ну, а пока — иди с богом. Твое лицо мне мешает... А мое дело и для тебя важнее всей этой сутолоки

И он опять наклонился над чертежами и выкладками, махая Анне левой рукой, чтобы она уходила. Анна пошла в кухню, думая о том, что все-таки не все здесь похоже на наше и что она никогда еще не видела такого странного господина, который бы так торжественно произносил такие непонятные слова.

Она захотела посоветоваться еще с Дымой и Розой. В церковь она ходила мимо Борка и уже знала дорогу. Однажды, когда барыня осталась дома и она одна пошла в церковь, девушка забежала в знакомую квартиру. Розы и Джона не было, а Борк был очень занят. От него она узнала только, что Дыма уехал, так как письмо его, наконец, дошло, и Лозинские его увезли в Миннесоту. Это было для него очень кстати, так как приятели ирландцы разбрелись, Тамани-холл не нуждался более в его голосе, а работы все не находилось... Временная знаменитость и появление его портрета в газетах—плохо утешали Дыму в потере приятеля. Впрочем, в это время публика перестала уже интересоваться инцидентом в Центральном парке, в особенности после того, как оказалось, вдобавок, что и здоровье мистера Гопкинса, вовсе не убитого, приведено в надлежащее состояние.

История дикаря отступала все далее и далее на четвертую, пятую, шестую страницы, а на первых, за отсутствием других предметов сенсации, красовались через несколько дней портреты мисс Лиззи и мистера

Фрэда, двух еще совсем молодых особ, которые, обвенчавшись самовольно в Балтиморе, устроили своим родителям, известным миллионерам города Нью-Йорка, «неожиданный сюрприз». И веселая, кудрявая головка мисс Лиззи, с лукавыми черными глазками, глядела на читателя с того самого места и даже нарисованная тем самым карандашом, который изображал недавно нашего земляка.

Из этого следует, как легко стать знаменитым в этой стране и как это бывает ненадолго...

И только Дыма да Лозинские читали, что могли о Матвее, думая о том, как им теперь разыскать беднягу, опять потонувшего без следа в людском океане...

XXVI

А сам виновник волнения публики в день знаменитого митинга под вечер ехал в экстренном поезде на Детройт, на Бэффало, на Ниагару и на Чикаго...

Как он попал в этот поезд, он помнил потом очень смутно. Когда толпа остановилась, когда он понял, что более уже ничего не будет, да и быть более уже нечему, кроме самого плохого, когда, наконец, он увидел Гопкинса лежащим на том месте, где он упал, с белым, как у трупа, лицом и закрытыми глазами, он остановился, дико озираясь вокруг и чувствуя, что его в этом городе настигнет, наконец, настоящая погибель. С этой минуты он стал опять точно беспомощный ребенок и покорно побежал за каким-то долговязым итальянцем, который схватил его за руку и увлек за собой.

Через площадь они пробежали вместе с другими, потом вбежали в переулок, потом спустились в какой-то подвал, где было еще с десяток беглецов, частью мрачных, частью, по-видимому, довольных сегодняшним днем. Мрачны были старики, довольны молодые бобыли и в том числе долговязый спаситель Матвея. Это был тот самый молодой человек, который утром, перед митингом, хлопал Матвея по плечу и щупал его мускулы. Веселому малому, кажется, очень понравилась манера обращения Матвея с полицией. Он и несколько его товарищей кинулись вслед за Матвеем, расчистившим дорогу, но затем, когда толпа остановилась, не зная, что делать

дальше, он сообразил, что теперь остается только скрыться, так как дело принимало оборот очень серьезный. И он счел своей обязанностью позаботиться также о странном незнакомце.

Из переулка Матвея ввели в какое-то помещение, длинное, узкое и довольно темное. Здесь столпилось десятка два человек, разных национальностей, которые, чувствуя себя в безопасности, обсуждали события дня. Они горячо спорили при этом: одни находили, что митинг сорван напрасно, другие доказывали, что, наоборот, все вышло хорошо и факт прямого столкновения с полицией произведет впечатление даже сильнее «слишком умеренных» речей Гомперса. Все это привело, наконец, споривших к вопросу: что же им делать с странным незнакомцем?

Они приступили к Матвею с расспросами на разных языках, но он только глядел на них своими синими глазами, в которых виднелась щемящая тоска, и повторял: «Миннесота... Дыма... Лозинский...»

Наконец долговязый юноша пришел к заключению, что не остается ничего другого, как переодеть Матвея и отправить его по железной дороге в Миннесоту. Достали одежду, которая сразу затрещала по швам, когда ее напялили на Матвея, а затем привели парикмахера из членов того же общества. Сначала Матвей оказал было сопротивление, но когда молодой верзила очень красноречивым жестом показал на шею, как бы охватывая ее петлей,— Матвей понял и покорно отдался своей судьбе. Через десять минут в небольшое зеркальце на Матвея глядело чужое, незнакомое лицо, с подстриженными усами и небольшой лопаткой вместо бороды.

Молодой человек похлопал его по плечу. Лозищанин понял, что эти люди заботятся о нем, хотя его удивляло, что этот беспечный народ относился к его печальному положению с каким-то непонятным весельем. Как бы то ни было, под вечер, совершенно преображенный, он покорно последовал за молодыми людьми на станцию железной дороги. Здесь у него взяли деньги, отсчитали, сколько было нужно, остальное (не очень много) отдали ему вместе с билетом, который продели за ленту шляпы. Перед самым отходом поезда долговязый принес еще две бутылки сидра, большой белый хлеб и несколько фрук-

тов. Все это было уложено в корзине. Это до глубины души тронуло Матвея, который крепко обнял своего благодетеля.

— Ты мне все равно, как родной,— сказал Матвей.— Никогда тебя не забуду...— Долговязый похлопал его по плечу, и вся компания, весело кивая и смеясь, проводила взглядами поезд, который понес Матвея по туннелям, по улицам, по насыпям и кое-где, кажется, по крышам, все время звоня мерно и печально. Некоторое время в окнах вагона еще мелькали дома проклятого города, потом засинела у самой насыпи вода, потом потянулись зеленые горы, с дачами среди деревьев, кудрявые острова на большой реке, синее небо, облака... потом большая луна, как вчера на взморье — всплыла и повисла в голубоватой мгле над речною гладью...

Корзина с провизией склонилась в руках ослабевшего человека, сидевшего в углу вагона, и груши из нее посыпались на пол. Ближайший сосед поднял их, тихо взял корзину из рук спящего и поставил ее рядом с ним. Потом вошел кондуктор, не будя Матвея, вынул билет из-за ленты его шляпы и на место билета положил туда же белую картонную марку с номером. Огромный человек крепко спал сидя, и на лице его бродила печальная судорога, а порой губы сводило, точно от испуга...

А поезд летел, и звон, мерный, печальный, оглашал то спящие ущелья, то долины, то улицы небольших городов, то станции, где рельсы скрещивались, как паутина, где, шумя, как ветер в непогоду, пролетали такие же поезда по всем направлениям, с таким же звоном, ровным и печальным.

XXVII

Впоследствии Матвею случалось ездить тою же дорогой, но впоследствии все в Америке казалось ему уже другим, чем в эти печальные дни, когда поезд мчал его от Нью-Йорка, а куда — неизвестно. Он проспал чудные берега Гудзона и проснулся на время лишь в Сиракузах, где в окнах засветилось что-то снаружи зловещим красным светом. Это были громадные литейные заводы. Расплавленный чугун огненным озером лежал на земле, кругом стояли черные здания, черные люди бродили, как нечистые духи, черный дым уходил в темное

мглистое небо, и колокола паровозов все звонили среди ночи, однообразно и тревожно... Затем Бэффало, весь тоже во мгле и дыму. Потом, уже на заре, в вагоне застучали отодвигаемые окна; повеяло утренней свежестью, американцы высунулись в окна, глядя куда-то с видимым любопытством.

— Найа́гара, Найа́гара-фолл,— сказал кондуктор, торопливо проходя вдоль поезда, и тронул лозищанина за рукав, с удивлением глядя на человека, который один сидит в своем углу и не смотрит Ниагару.

Матвей поднялся и заглянул в окно. Было еще темно, поезд как-то робко вползал на мост, висевший над клубящейся далеко внизу быстрой рекой. Мост вздрагивал и напрягался под тяжестью, как туго натянутая струна, а другой такой же мост, кинутый с берега на берег, на страшной высоте, казался тонкой полоской кружева, сквозившей во мгле. Внизу шумело пенистое течение реки, на скалах дремали здания городка, а под ними из камней струилась и падала книзу вода тонкими белыми лентами. Дальше пена реки сливалась с беловатым туманом, который клубился и волновался точно в гигантском котле, закрывая зрелище самого водопада. Только глухой шум, неустанный, ровный и какой-то безнадежный, рвался оттуда, наполняя трепетом и дрожанием сырой воздух мглистой ночи. Будто в тумане ворочалось и клокотало что-то огромное и глухо стонало, жалуясь, что нет ему покоя от века до века...

Поезд продолжал боязливо ползти над бездной, мост все напрягался и вздрагивал, туман клубился, как дым огромного пожара, и, подымаясь к небу, сливался там с грядой дальних облаков. Потом вагон пошел спокойнее, под колесами зазвучала твердая земля, поезд сошел с моста и потянулся, прибавляя ход, вдоль берега. Тогда стало вдруг светлее, из-за облака, которое стояло над всем пространством огромного водопада, приглушая его грохот, выглянула луна, и водопад оставался сзади, а над водопадом все стояла мглистая туча, соединявшая небо и землю.. Казалось, какое-то летучее чудовище припало в этом месте к реке и впилось в нее среди ночи, и ворчит, и роется, и клокочет..

Детройт остался у Матвея в памяти только тем, что железная дорога как будто вся целиком отделилась от

земли и вместе с рельсами и поездом поплыла по воде. Это было уже следующей ночью, и на другом берегу реки, на огромном расстоянии разлегся город и тихо пламенел и сверкал синими, белыми, желтыми огнями. Потом поезд пронесся утром мимо Чикаго. На правой стороне чуть не в самые рельсы ударяла синяя волна Мичигана — огромного, как море, и пароход, шедший прямо к берегу, выплывал из-за водного горизонта, большой и странный, точно он взбирался на водяную гору... Еще несколько часов вдоль берега, потом Мильвоки — и дорога отклонилась к западу...

Города становились меньше и проще, пошли леса и речки, потянулись поля и плантации кукурузы... И по мере того, как местность изменялась, как в окна врывался вольный ветер полей и лесов,— Матвей подходил к окнам все чаще, все внимательнее присматривался к этой стране, развертывавшей перед ним, торопливо и мимолетно, мирные картины знакомой лозищанину жизни.

И вместе с тем, понемногу и незаметно, застывшая во вражде душа оскорбленного и загнанного человека начинала как будто таять. В одном месте он чуть не до половины высунулся из окна, провожая взглядом быстро промелькнувшую пашню, на которой мужчины и женщины вязали снопы пшеницы. В другом, опершись на сапы и кирки, смотрели на пробегающий поезд крепкие, загорелые люди, корчевавшие пни поваленного леса. Матвею была знакома эта работа — и ему хотелось бы выскочить из вагона, взять в руки топор или кирку и показать этим людям, чтó он, Матвей Лозинский, может сделать с самым здоровым пнищем.

Но поезд все звонил и летел, сменяя картину за картиной. Грустные дни чередовались с еще более грустными ночами. И по мере того, как природа становилась доступнее, понятнее и проще, по мере того, как душа лозищанина все более оттаивала и смягчалась, раскрываясь навстречу спокойной красоте мирной и понятной ему жизни; по мере того, как в нем, на месте тупой вражды, вставало сначала любопытство, а потом удивление и тихое смирение,— по мере всего этого и наряду со всем этим его тоска становилась все острее и глубже. Теперь он чувствовал, что и ему нашлось бы место в этой жизни, если бы он не отвернулся сразу от этой страны, от

ее людей, от ее города, если б он оказал более внимания к ее языку и обычаю, если бы он не осудил в ней сразу, заодно, и дурное и хорошее... А теперь между ним и этой жизнью встало бродяжество и даже, может быть,— преступление...

И люди, хотя часто походили с виду на Падди, начинали все-таки представляться лозищанину в другом свете. Пока он ехал, переходя с поезда на поезд,— не раз сменилась и публика и кондукторская бригада Но сменявшиеся пассажиры обращали внимание новых на огромного человека, чувствовавшего себя как будто неловко в своей одежде, робкого, застенчивого и беспомощного, как ребенок. Никто его не тревожил, никто не надоедал никакими расспросами, но каждый раз, как приходилось менять вагон или пересаживаться на другой поезд, к Матвею подходил или кондуктор, или кто-нибудь из соседей, брал его за руку и вел за собою на новое место. Большой человек покорно следовал в таких случаях за ними и глядел на провожавшего застенчивыми, но благодарными глазами.

Кроме того, здесь, в глубине страны, люди не казались уже до такой степени похожими друг на друга, как в том огромном городе, где Матвей испытал столько горестных приключений. В поезд то и дело садились рослые фермеры, загорелые, широкоплечие, в широких сюртуках и с бородами, которые могли бы и на них навлечь остроты нью-йоркских уличных бездельников. Порой суровый квакер в застегнутом до шеи сюртуке, порой степной торговец скотом или охотник из Канады в живописном кожаном костюме, увешанном бахромой и кистями,— выделялись среди остальной публики, привлекая невольное внимание. А один раз у костра сидела в ожидании своего поезда группа бронзовых индейцев, возвращавшихся из Вашингтона, завернувшихся в свои одеяла и равнодушно куривших трубки под взглядами любопытной толпы, высыпавшей на это зрелище из поезда...

На одной станции у небольшого города, здания которого виднелись над рекой, под лесом, в вагон, где сидел Матвей, вошел новый пассажир. Это был старик с худощавым лицом, сильно впавшими щеками, тонкими губами и острым проницательным взглядом. Человек вида

странного, пожалуй даже смешного, тем более, что одет он был совсем оборванцем, а между тем держал себя уверенно и даже гордо. Его одежда, когда-то, вероятно, черная,— теперь стала серой от солнца, едкой белой пыли и многочисленных ржавых пятен. Его штаны были коротки, точно надеты с ребенка, и сапоги порыжели еще более, чем у Матвея, у которого они хранили все-таки следы щеток негра Сама на Бродвее. Но на голове незнакомца был надет новенький лоснящийся цилиндр, а во рту торчала большая сигара, наполнявшая вагон тонким ароматом. Матвей удивлялся уже ранее, что здесь, по-видимому, нет особых вагонов для «простого народа», а теперь подумал, что такого молодца в таких штанах, да еще с сигарой,— едва ли потерпят рядом с собой остальные пассажиры, несмотря даже на его новый цилиндр, как будто украденный. Но, к его удивлению, старика почтительно провожали со станции какой-то господин, очень щеголеватый, и кузнец, видимо только что отошедший от горна. Оба они пожимали ему руки на платформе, а когда он вошел в вагон, ближайший молодой человек, тоже одетый весьма старательно, приветливо посторонился, очищая место возле себя... Старик кивнул головой, вынул сигару, сплюнул и протянул молодому человеку руку в щегольской перчатке.

Между тем, поезд опять мчался дальше. Теплый вечер спускался на поля, на леса, на равнины, закутывая все легким сумраком, который становился все синее и гуще. Мерное позванивание локомотива оглашало леса, молчаливо лежавшие по обе стороны дороги. И всякий раз при этом где-нибудь на полянке мелькал огонь, порой горел костер, вокруг которого расположились дровосеки, порой светились окна домов... В одном месте семья садилась за ужин на открытом воздухе. В отворенных настежь дверях стояла женщина с ребенком, и даже пламя свечей не колебалось в тихом лесном затишье.

Матвей глядел на все это с смешанным чувством: чем-то родственным веяло на него от этого простора, где как будто еще только закипала первая борьба человека с природой и ему становилось грустно: так же вот где-нибудь живут теперь Осип и Катерина, а он... что

будет с ним в неведомом месте после всего, что он наделал?

Ему стало так горько, что он решил лучше заснуть.. И вскоре он действительно спал, сидя и закинув голову назад. А по лицу его, при свете электрического фонаря, проходили тени грустных снов, губы подергивались, и брови сдвигались, как будто от внутренней боли...

XXVIII

Сон не всегда приходит к нам вовремя. Если бы на этот раз Матвей не спал, то мог бы услышать много любопытного, и его похождения кончились бы благополучно и скоро.

Но он спал, когда поезд остановился на довольно продолжительное время у небольшой станции Невдалеке от вокзала, среди вырубки, виднелись здания из свежесрубленного леса. На платформе царствовало необычайное оживление: выгружали земледельческие машины и камень, слышалась беготня и громкие крики на странном горловом жаргоне. Пассажиры-американцы с любопытством выглядывали в окна, находя, по-видимому, что эти люди суетятся гораздо больше, чем бы следовало при данных обстоятельствах.

— Простите, сэр,— спросил пассажир, ехавший в поезде из Мильвоки,— что это за народ?

— Русские евреи,— ответил спрошенный.— Они основали колонию около Дэбльтоуна...

В это время у открытой боковой двери вагона остановились две фигуры, и послышались звуки русской речи.

— Слушай, Евгений,— говорил один высоким тенором, с легким гортанным акцентом.— Еще раз: оставайся с нами.

— Нет, не могу,— ответил другой грудным баритоном.— Тянет, понимаешь.. Эти последние известия .

— Такая же иллюзия, как и прежде!.. И из-за этих фантазий ты отворачиваешься от настоящего хорошего, живого дела: дать новую родину тысячам людей, произвести социальный опыт...

— Все это так и, при других условиях... Повторяю тебе: тянет. А что касается фантазий, то... во-первых,

Самуил, только в этих фантазиях и жизнь... будущего! А во-вторых, ты сам со своим делом...

— All right (готово)! — крикнул кто-то на платформе.

— Please in the cars (прошу в вагоны)! — раздались приглашения кондукторов. Два приятеля крепко обнялись, и один из них вскочил в вагон уже на ходу.

Это был высокий, молодой еще человек, с неправильными, но выразительными чертами лица, в запыленной одежде и обуви, как будто ему пришлось в этот день много ходить пешком. Он положил небольшой узелок на полку, над головой Матвея,— и затем его взгляд упал на лицо спящего. В это время Матвей, быть может под влиянием этого взгляда, раскрыл глаза, сонные и печальные. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Но затем голова Матвея опять откинулась назад и из его широкой груди вырвался глубокий вздох... Он опять спал.

Пришелец еще несколько секунд смотрел в это лицо... Несмотря на то, что Матвей был теперь переодет и гладко выбрит, что на нем был американский пиджак и шляпа,— было все-таки что-то в этой фигуре, пробуждавшее воспоминания о далекой родине. Молодому человеку вдруг вспомнилась равнина, покрытая глубоким мягким снегом, звон колокольчика, высокий бор по сторонам дороги и люди с такими же глазами, торопливо сворачивающие свои сани перед скачущей тройкой...

Может быть, и Матвею вспомнилось что-нибудь в этом роде. Губы его шевелились и бормотали что-то, и на лице виднелось выражение покорной просьбы.

Всю эту короткую молчаливую сцену наблюдал серый господин в цилиндре своими рысьими глазками, в которых светилось странное выражение — какого-то насмешливого доброжелательства.

— How do you do (здравствуйте), mister Nilof,— окликнул он, видя, что русский его не замечает. Тот вздрогнул и живо повернулся.

— А! Здравствуйте, судья Дикинсон,— ответил он на чистом английском языке, протягивая судье руку.— Простите, я вас не заметил.

— О, это ничего. Вы заинтересовались этим пасса-

жиром?.. Меня он тоже интересует... Он едет, по-видимому, издалека.

— Из Мильвоки,— сказал один из пассажиров.

— О, нет,— вмешался другой.— Я еду из Мильвоки и уже застал его в поезде. Он, кажется, сел в Чикаго, а может быть, и в Нью-Йорке. Он не говорит ни слова по-английски и беспомощен, как ребенок.

— Очевидно иностранец,— сказал судья Дикинсон, меряя спящего Матвея испытующим, внимательным взглядом.— Атлетическое сложение!.. А вы, мистер Нилов, кажется, были у ваших земляков? Как их дела? Я видел: они выписали хорошие машины: лучшая марка в Америке.

— Да... теперь им еще трудно. Но они надеются.

— Читали вы извлечение из отчетов эмиграционного комитета?.. Цифра переселенцев из России растет.

— Да,— кратко ответил Нилов.

— А кстати: в том же номере «Дэбльтоунского курьера» есть продолжение истории нью-йоркского дикаря. И знаете: оказывается, что он тоже русский.

— В таком случае, сэр, он не дикарь,— сказал Нилов сухо.

— Гм... да... Извините, мистер Нилов... Я, конечно, не говорю о культурной части нации. Но... до известной степени все-таки... человек, который кусается...

— Без сомнения, он не кусается, сэр. Не все газетные известия верны.

— Однако... его поступок с полисменом Гопкинсом?

— Полисмен Гопкинс, судя даже по газетам, первый ударил его по голове клобом... Считаете вы его дикарем?

Серый джентльмен засмеялся и сказал:

— О! Но это немного другое дело... Полицейские этой страны снабжаются клобами для известного употребления... И раз иностранец нарушает порядок...

— Мне очень жаль это слышать от судьи,— сказал Нилов холодно.

Серый джентльмен несколько выпрямился, видимо задетый, и сказал:

— Судью Дикинсона еще никто не упрекал за опрометчивые суждения... в его камере. Здесь мы имеем дело с фактами, как они изложены в газетах... Я вас обидел чем-нибудь, мистер Нилов?

— Вы меня не обидели. Но если вы знаете полицейских вашей страны, то я знаю людей моей родины. И я считаю оскорбительной нелепостью газетные толки о том, что они кусаются. Вполне ли вы уверены, что ваши полицейские не злоупотребляют клобами без причины?

Серый господин вынул изо рта сигару и некоторое время смотрел на собеседника, как будто удивленный неожиданным оборотом разговора.

— Гм... да,— сказал он.— Если взглянуть на дело с этой точки зрения... По совести, я в этом далеко не уверен... И поступи это дело ко мне, я потребовал бы разъяснения... По-видимому, у вас есть идея всего события?

— Да, у меня есть идея события... Я думаю, что мой земляк попал на митинг случайно... И случайно встретился с Гопкинсом.

— Ну, а зачем он наклонился и старался схватить его... гм... одним словом... как это изложено в газетах?

— Правда состоит, вероятно, в том, что он наклонился... К сожалению, сэр, на моей родине люди действительно кланяются иногда слишком низко...

— Вы думаете? Ха! Это кажется невероятным. Намерение укусить и именно за руку... Это по меньшей мере требовало бы доказательств...

— А если на приветствие последовал хороший удар по голове...

— Ха-ха! Это, конечно, затемняет рассудок и освобождает страсти! Положительно, я считаю дело почти выясненным. Вы были бы отличным адвокатом. О, да! Вы могли бы стать лучшим адвокатом нашего города!.. И если вы все-таки предпочитаете работать на моей лесопилке...

Он стряхнул пепел с своей сигары и впился в лицо Нилова своими живыми, острыми глазками. Затем, оглянувшись на других пассажиров и желая придать разговору больше интимности, он пересел на скамью рядом с Ниловым, положил ему руку на колено и сказал, понизив голос:

— Извините меня, мистер Нилов... Дик Дикинсон человек любопытный. Позволите вы мне предложить вам несколько вопросов, так сказать... личного свойства?

— Сделайте одолжение. Если они будут неудобны, я не отвечу.

— О, конечно, конечно! — засмеялся Дикинсон.— Видите ли: вы третий русский джентльмен, которого я встречаю.. Скажите — много американцев видели вы у себя на родине?

— Встречал, хотя... очень немного

— И наверное они меняли свое среднее положение на лучшие условия у вас?..

— Пожалуй..

— Скажите теперь... Может быть, я ошибаюсь, но... Мне кажется... вы лично не поступили ли наоборот?.. И здесь вы уже несколько раз имели случай скинуть рабочую блузу и сделать лучшую карьеру...

Нилов бросил взгляд на невероятный костюм старого джентльмена и ответил улыбнувшись:

— Я вижу на вас, судья Дикинсон, ваш рабочий костюм.

— О, это немного другое дело,— ответил Дикинсон.— Да, я был каменщиком. И я поклялся надевать доспехи каменщика во всех торжественных случаях.. Сегодня я был на открытии банка в N Я был приглашен учредителями. А кто приглашает Дика Дикинсона, тот приглашает и его старую рабочую куртку Им это было известно

— Я очень уважаю эту черту, сэр,— сказал серьезно Нилов.— Но...

— Но, повторяю, это другое дело. Я надеваю старое рабочее платье и лучшие перчатки из Нью-Йорка. Это напоминает мне, чем я был и чем стал, то есть чем именно я обязан моим старым доспехам. Это — мое прошлое и мое настоящее...

Он замолк, пожевал сигару своими тонкими ироническими губами и, пристально глядя на молодого человека, прибавил:

— Вы, кажется, идете обратным путем, и в старости вам, пожалуй, захочется надеть ваш фрак.

— Надеюсь, что нет,— ответил Нилов.— Однако, кажется, поезд останавливается. Это — лесопилка, и я здесь сойду. До свидания, сэр!

— До свидания. Я оставляю еще за собой свои вопросы...

Нилов, снимая свой узел, еще раз пристально и как будто в нерешимости посмотрел на Матвея, но, заме-

тив острый взгляд Дикинсона, взял узел и попрощался с судьей. В эту самую минуту Матвей открыл глаза, и они с удивлением остановились на Нилове, стоявшем к нему в профиль. На лице проснувшегося проступило как будто изумление. Но, пока он протирал глаза, поезд, как всегда в Америке, резко остановился, и Нилов вышел на платформу. Через минуту поезд несся дальше

Дикинсон пересел на свое место, и американцы стали говорить об ушедшем.

— Да,—сказал судья,—это третий русский джентльмен, которого я встречаю, и третий человек, которого я не могу понять...

— Быть может... из секты Лео Толстого,— предположил один из собеседников.

— Не знаю... Но он, видимо, получил прекрасное образование,— продолжал Дикинсон задумчиво.— И уже несколько раз, на моих глазах, пропускает прекрасные шансы... Когда я исполнил свой первый небольшой подряд, мистер Дэглас, инженер, сказал мне: «Я вами доволен, Дик Дикинсон. Скажите мне, в чем ваша амбиция». Я усмехнулся и сказал: «Для первого случая, я не прочь попасть в президенты». Мистер Дэглас засмеялся тоже и ответил: «Верно, Дик! Не могу поручиться, что вы станете президентом, но вы построите целый город и станете в нем головой...»

— И это оправдалось,— сказал почтительно самый юный из пассажиров.

— Да,— продолжал Дикинсон.— Понять человека, значит узнать, чего он добивается. Когда я заметил этого русского джентльмена, работавшего на моей лесопилке, я тоже спросил у него: What is your ambition? И знаете, что он мне ответил? «Я надеюсь, что приготовлю вам фанеры не хуже любого из ваших рабочих...»

— Да, все это странно,— сказал один из собеседников.

Между тем, Матвей, который опять задремал в поезде после ухода Нилова,— вздрогнул и забормотал во сне.

— Вот тоже человек, которого трудно понять,— засмеялся один из американцев.

— Я не встречал никого, кто мог бы так много спать в таком неудобном положении.

Судья Дикинсон внимательно посмотрел на Матвея и потом сказал:

— Я готов биться об заклад: на душе этого человека... неспокойно, Я не знаю, куда он едет, но предпочел бы, чтобы он миновал наш город. О! у меня на этот счет верный глаз...

XXIX

Звон раздавался чаще, поезд замедлял ход, кондуктор вошел в вагон и отобрал билеты у серого старика и у его молодого соседа. Потом он подошел к спавшему Матвею и, тронув его за рукав, сказал:

— Дэбльтоун, Дэбльтоун, сэр...

Матвей проснулся, раскрыл глаза, понял и вздрогнул всем телом. Дэбльтоун! Он слышал это слово каждый раз, как новый кондуктор брал билет из-за его шляпы, и каждый раз это слово будило в нем неприятное ощущение. Дэбльтоун, поезд замедлил ход, берут билет, значит, конец пути, значит, придется выйти из вагона .. А что же дальше, что его ждет в этом Дэбльтоуне, куда ему взяли билет, потому что до этого места хватило денег...

В окнах вагона замелькали снаружи огни, точно бриллиантовые булавки, воткнутые в темноту гор и лесов. Потом эти огни сбежали далеко вниз, отразились в каком-то клочке воды, потом совсем исчезли, и мимо окна, шипя и гудя, пробежала гранитная скала так близко, что на ней ясно отражался желтый свет из окон вагона .. Затем под поездом загудел мост, опять появились далекие огни над рекой, но теперь они взбирались все выше, подбегали все ближе, заглядывая в вагон вплотную и быстро исчезая назади. На паровозе звонили без перерыва, потому что поезд, едва замедливший ход, мчался теперь по главной улице города Дэбльтоуна...

— Видели ли вы, сэр, как этот незнакомец вздрогнул? — спросил молодой человек, очевидно, заискивавший у судьи Дикинсона.

— Я все видел,— ответил старик.— Дик Дикинсон примет свои меры.

Через минуту двери домов в Дэбльтоуне раскрывались, и жители выходили на встречу своих приезжих.

Вагон опустел. Молодой человек еще долго кланялся мистеру Дикинсону и напоминал о поклоне мисс Люси. Потом он отправился в город и посеял там некоторое беспокойство и тревогу.

Город Дэбльтоун был молодой город молодого штата. Прошло не более восьми лет с тех пор, как были распланированы его улицы у линии новой железной дороги, и с тех пор городок жил тихою жизнью американского захолустья. Совершенно понятно, что среди однотонной рабочей жизни город Дэбльтоун жадно поглотил известие, что с последним поездом прибыл человек, который не сказал никому ни слова, который вздрагивал от прикосновения, который, наконец, возбудил сильные подозрения в судье Дикинсоне, самом эксцентричном, но и самом уважаемом человеке Дэбльтоуна.

Сойдя с поезда, судья Дикинсон тотчас же подозвал единственного дэбльтоунского полисмена и, указав на фигуру Матвея, нерешительно стоявшего на залитой электрическим светом платформе, сказал:

— Посмотрите, Джон, куда отправится этот приезжий. Надо узнать намерения этого молодца. Боюсь, что нам не придется узнать ничего особенно хорошего.

Полисмен Джон Келли отошел и скрылся под тенью какого-то сарая, гордясь тем, что, наконец, и ему выпало на долю исполнять некоторое довольно тонкое поручение...

Однако Джону Келли скоро стало казаться, что у незнакомца не было никаких намерений. Он просто вышел на платформу, без всякого багажа, только с корзиной в руке, даже, по-видимому, без всякого плана действий и тупо смотрел, как удаляется поезд. Раздался звон, зашипели колеса, поезд пролетел по улице, мелькнул в полосе электрического света около аптеки, а затем потонул в темноте, и только еще красный фонарик сзади несколько времени посылал прощальный привет из глубины ночи...

Лозищанин вздохнул, оглянулся и сел на скамью, под забором, около опустевшего вокзала. Луна поднялась на середину неба, фигура полисмена Джона Келли стала выступать из сократившейся тени, а незнакомец все сидел, ничем не обнаруживая своих намерений по отношению к засыпавшему городу Дэбльтоуну.

Тогда Джон Келли вышел из засады и, согласно уговору, постучался в окно к судье Дикинсону.

Судья Дикинсон высунул голову с выражением человека, который знал вперед все то, что ему пришли теперь сообщить.

— Ну что, Джон? Куда направился этот молодец?

— Он никуда не отправился, сэр. Он все сидит на том же месте.

— Он все сидит... Хорошо. Обнаружил он чем-нибудь свои намерения?

— Я думаю, сэр, что у него нет никаких намерений.

— У всякого человека есть намерения, Джон,— сказал Дикинсон с улыбкой сожаления к наивности дэбльтоунского стража.— Поверьте мне, у всякого человека непременно есть какие-нибудь намерения. Если я, например, иду в булочную,— значит, я намерен купить белого хлеба, это ясно, Джон. Если я ложусь в постель,— очевидно, я намерен заснуть. Не так ли?

— Совершенно справедливо, сэр.

— Ну, а если бы... (тут лицо старого джентльмена приняло лукавое выражение), если бы вы увидели, что я хожу в полночь около железнодорожного склада, осматривая замки и двери... Понимаете вы меня, Джон?

— Как нельзя лучше, сэр... Однако... Если человек только сидит на скамье и вздыхает...

— Уэлл! Это, конечно, не так определенно. Он имеет право, как и всякий другой, сидеть на скамье и вздыхать хоть до утра. Посмотрите только, не станет ли он делать чего-нибудь похуже. Дэбльтоун полагается на вашу бдительность, сэр! Не пойдет ли незнакомец к реке, нет ли у него сообщников на барках, не ждет ли он случая, чтобы ограбить железнодорожный поезд, как это было недавно около Мадисона... Постойте еще, Джон.

Дик Дикинсон прислушался: к станции подходил поезд. Судья посмотрел на Джона своими острыми глазками и сказал:

— Джон!

— Слушаю, сэр!

— Я сильно ошибаюсь, если вы найдете его на месте. Он хотел обмануть вашу бдительность и достиг этого. Он, вероятно, сделал свое дело и теперь готовится сесть в поезд. Поспешите.

Окно Дикинсона захлопнулось, а Джон Келли бегом отправился на вокзал. Человек без намерений все сидел на прежнем месте, низко опустив голову. Джон Келли стал искать тени, подлиннее и погуще, чтобы пристроить к ней свою долговязую фигуру. Так как это не удавалось, то Келли решил, что ему необходимо присесть у стены склада. А затем голова Джона Келли сама собой прислонилась к стене, и он сладко заснул. Судья Дикинсон подождал еще некоторое время, но, видя, что полисмен не возвращается, решил, что человек без намерений оказался на месте. Он хотел уже тушить свою лампу, когда ему доложили, что с поезда явился к нему человек по экстренному делу.

Действительно, в его комнату вошел торопливой походкой человек довольно неопределенного вида, в котором, однако, опытный глаз судьи различил некоторые специфические черты детектива (сыщика).

— Вы здешний судья? — спросил незнакомец, поклонившись.

— Судья города Дэбльтоуна,— ответил Дикинсон важно.

— Мне необходим приказ об аресте, сэр.

— А! Я так и думал... Человек высокого роста, атлетического сложения?.. Прибыл с предыдущим поездом?..

Сыщик посмотрел с удивлением на проницательного судью и сказал:

— Как? Вам уже известно, что нью-йоркский дикарь?..

Судья Дикинсон быстро взглянул на сыщика и сказал:

— Ваши полномочия?

Новоприбывший потупился.

— Я так спешно отправился по следам, что не успел запастись специальными приказами. Но история так известна... Дикарь, убивший Гопкинса...

— По последним телеграммам,— сказал холодно судья,— здоровье полисмена Гопкинса находится в отличном состоянии. Я спрашиваю ваши полномочия?

— Я уже сказал вам, сэр... Дело очень важно, и притом — он иностранец.

— Иначе сказать,— вы часто облегчаете себе задачу с иностранцами. Я не дам приказа.

— Но, сэр... это опасный субъект.

— Полиция города Дэбльтоуна исполнит свой долг, сэр,— сказал судья Дикинсон надменно.— Я не допущу, чтобы впоследствии писали в газетах, что в городе Дэбльтоуне арестовали человека без достаточных оснований.

Незнакомец вышел, пожав плечами, и отправился прежде всего на телеграф, а судья Дикинсон лег спать, совершенно уверенный, что теперь у полиции города Дэбльтоуна есть хорошая помощь по надзору за человеком без намерений. Но прежде, чем лечь, он послал еще телеграмму, вызывавшую на завтра мистера Евгения Нилова...

XXX

Наутро Джон Келли явился к судье.

— Ну, что скажете, Джон? — спросил у него Дикинсон.

— Все в порядке, сэр. Только... Там за ним следит еще кто-то.

— Знаю. Человек небольшого роста, в сером костюме.

Джон Келли с благоговением посмотрел на всезнающего судью и продолжал:

— Он все сидит, сэр, опустив голову на руки. Когда поутру проходил железнодорожный сторож, он только посмотрел на него. «Как больная собака»,— сказал Билльямс.

— И ничего больше?

— Около незнакомца собирается толпа... Вся площадка и сквер около вокзала заняты народом, сэр.

— Что им нужно, Джон?

— Они, вероятно, тоже хотят узнать его намерения... И притом, разнесся слух, будто это дикарь, убивший полисмена в Нью-Йорке...

Донесение Джона было совершенно справедливо. За ночь слухи о том, что с поездом прибыл странный незнакомец, намерения которого возбудили подозрительность мистера Дикинсона, успели вырасти, и наутро, ког-

да оказалось, что у незнакомца нет никаких намерений и что он просидел всю ночь без движения,— город Дэбльтоун пришел в понятное волнение. Около странного человека стали собираться кучки любопытных, сначала мальчики и подростки, шедшие в школы, потом приказчики, потом дэбльтоунские дамы, возвращавшиеся из лавок и с базаров,— одним словом, весь Дэбльтоун, постепенно просыпавшийся и принимавшийся за свои обыденные дела, перебывал на площадке городского сквера, у железнодорожной станции, стараясь, конечно, проникнуть в намерения незнакомца...

Но это было очень трудно, так как незнакомец все сидел на месте, вздыхал, глядел на проходящих и порой отвечал на вопросы непонятными словами. А между тем, у Матвея к этому времени уже было намерение. Рассмотрев внимательно свое положение в эту долгую ночь, пока город спал, а невдалеке сновали тени полицейского Келли и приезжего сыщика,— он пришел к заключению, что от судьбы не уйдешь, судьба же представлялась ему, человеку без языка и без паспорта,— в виде неизбежной тюрьмы... Он долго думал об этом и решил, что, раньше или позже, а без знакомства с американской кутузкой дело обойтись не может. Так пусть уж лучше раньше, чем позже. Он покажет знаками, что ничего не понимает, а об истории в Нью-Йорке здесь, конечно, никто не знает... Поэтому он даже вздохнул с облегчением и с радостной доверчивостью поднялся навстречу добродушному Джону Келли, который шел к нему, расталкивая толпу.

Судья Дикинсон вышел в свою камеру, когда шум и говор раздались у его дома и в камеру ввалилась толпа. Незнакомый великан кротко стоял посередине, а Джон Келли сиял торжеством.

— Он обнаружил намерение, господин судья,— сказал полисмен, выступая вперед.

— Хорошо, Джон. Я знал, что вы оправдаете доверие города... Какое же именно намерение он обнаружил?

— Он хотел укусить меня за руку.

Мистер Дикинсон даже откинулся на своем кресле.

— Укусить за руку?.. Так это все-таки правда! Уверены ли вы в этом, Джон Келли?

— У меня есть свидетели...

— Хорошо. Мы спросим свидетелей. Случай требует внимательного расследования. Не пришел еще мистер Нилов?..

Нилова еще не было. Матвей глядел на все происходившее с удивлением и неудовольствием. Он решил идти навстречу неизбежности, но ему казалось, что и это делается здесь как-то не по-людски. Он представлял себе это дело гораздо проще. У человека спрашивают паспорт, паспорта нет. Человека берут, и полицейский, с книгой под мышкой, ведет его куда следует. А там уж что будет, то есть как решит начальство.

Но здесь и это простое дело не умеют сделать как следует. Собралась зачем-то толпа, точно на зверя, все валят в камеру, и здесь сидит на первом месте вчерашний оборванец, правда, теперь одетый совершенно прилично, хотя без всяких знаков начальственного звания. Матвей стал озираться по сторонам с признаками негодования.

Между тем, судья Дикинсон приступил к допросу.

— Прежде всего установим национальность и имя,— сказал он.— Your name (ваше имя)?

Матвей молчал.

— Your nation (ваша национальность)? — И, не получая ответа, судья посмотрел на публику.— Нет ли здесь кого-нибудь, знающего хоть несколько слов по-русски? Миссис Брайс! Кажется, ваш отец был родом из России?..

Из толпы вышла женщина лет сорока, небольшого роста, с голубыми, как и у Матвея, хотя и значительно выцветшими глазами. Она стала против Матвея и как будто начала припоминать что-то.

В камере водворилось молчание. Женщина смотрела на лозищанина, Матвей впился глазами в ее глаза, тусклые и светлые, как лед, но в которых пробивалось что-то, как будто старое воспоминание. Это была дочь поляка-эмигранта. Ее мать умерла рано, отец спился где-то в Калифорнии, и ее воспитали американцы. Теперь какие-то смутные воспоминания шевелились в ее голове. Она давно забыла свой язык, но в ее памяти еще шевелились слова песни, которой мать забавляла когда-то ее, малого ребенка. Вдруг глаза ее засветились, и она при-

подняла над головой руку, щелкнула пальцами, повернулась и запела по-польски, как-то странно, точно говорящая машина:

Наша мат-ка... ку-ропат-ка...
Рада бить дет-ей...

Матвей вздрогнул, рванулся к ней и заговорил быстро и возбужденно. Звуки славянского языка дали ему надежду на спасение, на то, что его, наконец, поймут, что ему найдется какой-нибудь выход...

Но глаза женщины уже потухли. Она помнила только слова песни, но и в ней не понимала ни слова. Потом поклонилась судье, сказала что-то по-английски и отошла...

Матвей кинулся за ней, крича что-то, почти в исступлении, но немец и Келли загородили ему дорогу. Может быть, они боялись, что он искусает эту женщину, как хотел укусить полисмена.

Тогда Матвей схватился за ручку скамейки и пошатнулся. Глаза его были широко открыты, как у человека, которому представилось страшное видение. И действительно,— ему, голодному, истерзанному и потрясенному, первый раз в жизни привиделся сон наяву. Ему представилось совершенно ясно, что он еще на корабле, стоит на самой корме, что голова у него кружится, что он падает в воду. Это снилось ему не раз во время путешествия, и он думал после этого, что чувствуют эти бедняки, с разбитых кораблей, одни, без надежды, среди этого бездушного, бесконечного и грозного океана...

Теперь этот самый сон проносился перед его широко открытыми глазами. Вместо судьи Дикинсона, вместо полицейского Келли, вместо всех этих людей, вместо камеры,— перед ним ясно ходили волны, пенистые, широкие, холодные, без конца, без края... Они ходят, грохочут, плещут, подымаются, топят... Он напрасно старается вынырнуть, крикнуть, позвать, схватиться, удержаться на поверхности... Что-то тянет его книзу. В ушах шумит, перед глазами зеленая глубина, таинственная и страшная. Это гибель. И вдруг к нему склоняется человеческое лицо с светлыми застывшими глазами. Он оживает, надеется, он ждет помощи. Но глаза тусклы,

лицо бледно. Это лицо мертвеца, который утонул уже раньше...

Вся эта картина мелькнула на одно мгновение, но так ясно, что его сердце сжалось ужасом. Он глубоко вздохнул и схватился за голову... «Господи боже, святая дева,— бормотал он,— помогите несчастному человеку. Кажется, что в голове у меня неладно...»

Он протер глаза кулаком и опять стал искать надежду на лицах этих людей.

А в это время полицейский Джон объяснил судье Дикинсону, при каких обстоятельствах обнаружились намерения незнакомца. Он рассказал, что, когда он подошел к нему, тот взял его руку вот так (Джон взял руку судьи), потом наклонился вот этак...

И полицейский Джон, наклонившись к руке судьи, для большей живости оскалил свои белые зубы, придав всему лицу выражение дикой свирепости.

Эта демонстрация произвела сильное впечатление на публику, но впечатление, произведенное ею на Матвея, было еще сильнее. Этот язык был и ему понятен. При виде маневра Келли, ему стало сразу ясно очень многое: и то, почему Келли так резко отдернул свою руку, и даже за что он, Матвей, получил удар в Центральном парке... И ему стало так обидно и горько, что он забыл все.

— Неправда,— крикнул он,— не верьте этому подлому человеку...

И, возмущенный до глубины души клеветой, он кинулся к столу, чтобы показать судье, что именно он хотел сделать с рукой полисмена Келли...

Судья Дикинсон вскочил со своего места и наступил при этом на свою новую шляпу. Какой-то дюжий немец, Келли и еще несколько человек схватили Матвея сзади, чтобы он не искусал судью, выбранного народом Дэбльтоуна; в камере водворилось волнение, небывалое в летописях города. Ближайшие к дверям кинулись к выходу, толпились, падали и кричали, а внутри происходило что-то непонятное и страшное..

Измученный, голодный, оскорбленный, доведенный до исступления,— лозищанин раскидал всех вцепившихся в него американцев, и только дюжий, как и он сам, немец еще держал его сзади за локти, упираясь ногами... А он рвался вперед, с глазами, налившимися кровью, и чув-

ствуя, что он действительно начинает сходить с ума, что ему действительно хочется кинуться на этих людей, бить и, пожалуй, кусаться...

Неизвестно, что было бы дальше Но в это время в камеру быстро вошел Нилов. Он протолкался к Матвею, стал перед ним и спросил с участием, по-русски:

— Эй, земляк! Что это вы тут натворили?

При первых звуках этого голоса Матвей рванулся и, припав к руке новопришедшего, стал целовать ее, рыдая, как ребенок...

Через четверть часа камера мистера Дикинсона опять стала наполняться обывателями города Дэбльтоуна, узнавшими, что по обстоятельствам дела намерение незнакомца разъяснилось в самом удовлетворительном смысле. В лице русского джентльмена, работающего на лесопилке, он нашел земляка и адвоката, которому не стоило много труда опровергнуть обвинение. Судья Дикинсон получил вполне удовлетворительные ответы на вопросы: «Your name?», «Your nation?» и на все другие, вытекавшие из обстоятельств дела. Гордый полным успехом, увенчавшим его разбирательство,— он великодушно забыл даже о новой шляпе и, быстро покончив с официальными отношениями, протянул обвиняемому руку, выразив при этом уверенность, что выбор именно Дэбльтоуна из всех городов союза делает величайшую честь его проницательности... В заключение он предложил Матвею партикулярный вопрос:

— Гоу до ю лайк дис кэунтри, сэр?

— Он хочет знать, как вам понравилась Америка? — перевел Нилов.

Матвей, который все еще дышал довольно тяжело, махнул рукой.

— А! чтоб ей провалиться,— сказал он искренно.

— Что сказал джентльмен о нашей стране? — с любопытством переспросил судья Дикинсон, одновременно возбудив великое любопытство в остальных присутствующих.

— Он говорит, что ему нужно время, чтобы оценить все достоинства этой страны, сэр...

— Вэри уэлл! Ответ, совершенно достойный благоразумного джентльмена! — сказал Дикинсон тоном полного удовлетворения.

XXXI

На следующий день газета города Дэбльтоуна вышла в увеличенном формате. На первой странице ее красовался портрет мистера Мэтью, нового обитателя славного города, а в тексте, снабженном достаточным количеством весьма громких заглавий, редактор ее обращался ко всей остальной Америке вообще и к городу Нью-Йорку в особенности. «Отныне,— писал он,— город Дэбльтоун может гордиться тем обстоятельством, что его судья, мистер Дикинсон, удачно разрешил вопрос, над которым тщетно ломали головы лучшие ученые этнографы Нью-Йорка Знаменитый дикарь, виновник инцидента в Central park'е, известие о котором обошло всю Америку в столь искаженном виде, в настоящее время является гостем нашего города. После весьма искусного расследования, произведенного чрезвычайно сведущим в своем деле судьей, мистером Дикинсоном,— он оказался русским, уроженцем Лозищанской губернии (одной из лучших и самых просвещенных в этой великой и дружественной стране), христианином и,— добавим от себя,— очень кротким человеком, весьма приятным в обращении и совершенно лояльным. Он обнаружил истинно христианскую радость, узнав о том, что здоровье полисмена Гопкинса, считавшегося убитым, находится в вожделенном состоянии и что этот полисмен уже приступил к исполнению своих обычных обязанностей. Тем лучше для полисмена Гопкинса, но, смеем прибавить, основываясь на мнении лучших юристов нашего города, что в этом вопросе является заинтересованным лицом единственно лишь сам полисмен Гопкинс, так как он сам виновен в постигшем его несчастии. Да, повторяем, он сам виновен, так как первый ударил клобом по голове мирного иностранца, обратившегося к нему с выражением любви и доверия. Если судьи города Нью-Йорка думают иначе, если адвокат этого штата пожелает доказывать противное или сам полисмен Гопкинс вознамерится искать убытки, то они будут иметь дело с лучшими юристами Дэбльтоуна, выразившими готовность защищать обвиняемого безвозмездно. Едва ли, однако, в этом представится надобность после того, как мы разоблачим на этих столбцах еще одну клевету, которой

наши нью-йоркские собратья по перу, без достаточной проверки, очернили репутацию Мэтью Лозинского, нашего уважаемого гостя и, надеемся — будущего согражданина. Дело в том, *что он вовсе не кусается*. Движение, которое полисмен Гопкинс истолковал в этом позорном смысле (что вовсе не делает чести проницательности нью-йоркской полиции),— имеет, наоборот, значение самого горячего привета и почтения, которым в Лозищанской губернии обмениваются взаимно люди самого лучшего круга. Он просто наклонился, чтобы поцеловать у Гопкинса руку. То же движение мы имели случай наблюдать с его стороны по отношению к судье Дикинсону, полисмену Джону Келли, а также к одному из его соотечественников, занимающему ныне очень скромное положение на лесопилке мистера Дикинсона, но которому его таланты и образование, без сомнения, откроют широкую дорогу в этой стране. Нет сомнения, что если бы и у нас на это выражение высшей деликатности последовал грубый ответ по голове клобом, то полисмен города Дэбльтоуна испытал бы горькую судьбу полисмена города Нью-Йорка, так как русский джентльмен обладает необыкновенной физической силой. Но Дэбльтоун,— говорим это с гордостью,— не только разрешил этнографическую загадку, оказавшуюся не по силам кичливому Нью-Йорку,— но еще подал сказанному городу пример истинно христианского обращения с иностранцем,— обращения, которое, надеемся, изгладит в его душе горестные воспоминания, порожденные пребыванием в Нью-Йорке.

Из судебной камеры мистер Нилов,— русский джентльмен, о котором сказано выше,— увел соотечественника в свое жилище, находящееся в небольшом рабочем поселке, около лесопилки. Значительная часть населения города Дэбльтоуна, состоявшая преимущественно из юных джентльменов и леди, провожала их до самого дома одобрительными криками, и даже после того, как дверь за ними закрылась, народ не расходился, пока мистер Нилов не вышел вновь и не произнес небольшого спича на тему о будущем процветании славного города... Он закончил просьбой дать отдых его скромному соотечественнику, не привыкшему к столь шумным изъявлениям общественной симпатии».

Разумеется, автор красноречивой статьи не знал, что, когда граждане города Дэбльтоуна разошлись, Матвей вздохнул с облегчением и сказал:

— Что?.. совсем ушли?

— Да,— ответил Нилов, принявшийся готовить кофе на керосинке.

— А, чтоб их всех взяла холера!..— от души сказал Матвей и как-то весь опустился.

Нилов только улыбнулся и не сказал ничего; он понимал, что столько пережитых ощущений могут свалить даже такого сильного человека. Поэтому он наскоро напоил его горячим кофе и уложил спать.

XXXII

Матвей проспал целые сутки и даже несколько больше. Когда он проснулся, солнце уходило из светлой каморки, озаряя ее последними лучами. Нилов, вернувшийся с работы, снимал с себя синюю блузу, всю в стружках и опилках. Стружки видны были даже в его волосах.

Матвей некоторое время не мог сообразить, где он и что с ним происходит. Поэтому сначала он смотрел прищуренными глазами, как-то подозрительно следя за движениями молодого человека, боясь, что это сон, который сейчас сменится новой кутерьмой неприятного свойства.

Между тем, Нилов тихонько переоделся, сменив рабочий костюм легкой фланелевой парой, и, сев к столу, раскрыл какую-то книгу.

В этом виде он совсем не напоминал рабочего, и в памяти лозищанина ожил опять мимолетный образ, который мелькнул уже раз в вагоне. Ему вспомнился барский дом около Лозищей, выглядывавший из-за зелени сада. Между этим домом и поселком шла давняя вражда и долгая тяжба из-за чиншевых земель. Она началась при отцах, продолжалась при детях и склонялась то на ту, то на другую сторону. Дело грозило большими запутанностями и неприятностями, как вдруг старый барин умер. В Лозищи явился его наследник и, созвав сход, предложил покончить спор, уступив по всем пунктам. Некоторое время лозищане еще шумели и упирались, не понимая причин этой уступчивости.

Но потом более проницательные люди сообразили, что, вероятно, барчук прокутился, наделал долгов и хочет поскорее спустить отцовское наследие, чему мешает тяжба. Лозищане постарались оттянуть еще, что было можно, и дело было кончено. После этого барчук исчез куда-то, и о нем больше не было слышно ничего определенного. Остались только какие-то смутные толки, довольно разноречивые, но во всех версиях неблагоприятные для молодого человека.

И вот теперь Матвею показалось, что перед ним этот самый человек, только что снявший рабочую блузу и сидящий за книгой. Он так удивился этому, что стал протирать глаза. Кровать под ним затрещала. Нилов повернулся.

— Что, земляк, выспались? — спросил он приветливо.— Ну, теперь давайте пить кофе.

Лозинский поднялся застенчиво и неловко, расправляя онемевшие члены. Вчера он обрадовался этому человеку, как избавителю, сегодня чувствовал себя как-то неловко в его присутствии. К тому же он увидел с смущением, что в комнате не было другой кровати,— значит, хозяин уступил свою, а его ноги были босы,— значит, Нилов снял с него, сонного, сапоги. Правда, он не разувался во все время долгого пути, и от этого ноги его горели... Но все-таки эти заботы причинили ему скорее неудовольствие. Он был теперь уверен, что это лозищанский барчук и что толки были правдивы; он, значит, действительно спустил все отцовское наследие и теперь несет участь блудного сына на чужой стороне. Но так как все-таки он оказал ему услугу и притом был барин, то Лозинский решил не подавать и виду, что узнал его, но в его поведении сквозило невольное почтение. Это вносило какое-то замешательство и неопределенность в их взаимные отношения. Нилов вел себя просто, но сдержанно, Матвей конфузился и уходил в себя.

На следующий день, вернувшись с лесопилки, Нилов сказал, что Матвей может, если желает, получить работу: носить лес с барок. Матвей, конечно, согласился с радостью, и вскоре недавняя знаменитость, человек, о котором говорили все газеты Америки, скромно переносил лес с барок на берег речки. Его сила и уверенность его обращения с тяжелыми дубовыми бревнами достави-

ли ему повышение, и, спустя недели две, он работал уже рядом с Ниловым, подавая лес на зубчатые колеса, где Нилов резал его на тонкие фанеры. К вечеру, оба засыпанные опилками, они возвращались домой.

Матвей нанял комнату рядом с Ниловым, обедать они ходили вместе в ресторан. Матвей не говорил ничего, но ему казалось, что обедать в ресторане — чистое безумие, и он все подумывал о том, что он устроится со временем поскромнее. Когда пришел первый расчет, он удивился, увидя, что за расходами у него осталось еще довольно денег. Он их припрятал, купив только смену белья.

Еще через неделю Нилов сказал ему, что они отправятся вместе в Дэбльтоун, где он, Нилов, будет читать лекцию. Они пришли в большой зал, весь набитый народом, который встретил их криками и свистом (в Америке это — выражение одобрения). Затем все стихло, судья Дикинсон сказал несколько слов, указывая то на Матвея, то на Нилова, а затем последний стал долго и свободно рассказывать что-то, по временам показывая места на большой карте. Публика, состоявшая в большинстве из рабочих людей, слушала с напряженным вниманием и в конце опять устроила им овацию...

Когда после этого они пришли домой, Нилов вынул кучку денег и, разделив ее на две половины, одну отдал Матвею.

— Это мы с вами заработали сегодня,— сказал он.— Это плата за лекцию. Я говорил им о нашей родине и о ваших похождениях. По справедливости, половина принадлежит вам.

Матвей пробовал было отказаться, но потом принял деньги. За это время его отношение к Нилову сильно изменилось, и хотя он не все понимал, однако совершенно отбросил мысль о блудном сыне. Получив деньги, он сконфуженно смотрел на Нилова... Ему хотелось бы выразить как-нибудь свою благодарность и почтение... Губы его тянулись к руке Нилова, колени подгибались для земного поклона... Но в лице Нилова, а может быть, и в тех неделях, которые они уже провели вместе, было что-то, удержавшее Матвея от этого излияния. Поэтому он взял деньги и, положив их около себя, сказал:

— А что... извините и не подумайте чего худого... Тут очень много денег?

— Не очень много, но достаточно, чтобы сделать себе хорошую пару платья,— ответил Нилов.— Вы ходите в одном и на работу и в праздник.

— А! — сказал Матвей, махнув рукой.— Я простой человек, работник.

— Здесь все простые люди и работники считают себя не хуже других и не хотят ничем отличаться по внешности. Я советую вам обзавестись бельем и платьем.

Матвей потупился.

— Простите меня,— сказал он.— Я не то, чтобы там... не слушался вас или что... Но... скажите: можно здесь работой скопить на дорогу?

— Куда?

— Назад, на родину!..— сказал Матвей страстно.— Видите ли, дома я продал и избу, и коня, и поле... А теперь готов работать, как вол, чтобы вернуться и стать хоть последним работником там, у себя на родной стороне...

Нилов прошелся по комнате, о чем-то думая, и потом, остановившись против Лозинского, сказал:

— Слушайте, Лозинский. Заработать столько можно. Можно со временем и вернуться. Но... всякий человек должен знать, что он делает. Зачем вы ехали сюда?

— А! — ответил Матвей, махнув рукой.— Мало ли что приходит человеку в голову.

— Постарайтесь вспомнить, что вам приходило в голову.

Матвей наморщил лоб и сам удивился тому, как трудно идут из головы слова и мысли.

— А! Хотелось человеку, конечно... клок вольной земли, чтобы было где разойтись плугом... Ну там... пару волов, хорошего коня... корову... крепкую телегу...

— А еще?

Матвей чувствовал, что за всеми перечисленными предметами в душе остается еще что-то, какой-то неясный осадок... Мелькнуло лицо Анны...

— Ну, потом...— продолжал он с усилием,— человек уже в возрасте. Своя хата, значит, уже и своя жена.

— И еще что-нибудь?

— Еще... если бы можно было молиться по-старому в своей церкви...

В голове его мелькнули еще разговоры о свободе, но

это было уже так неясно и неопределенно, что он не сказал об этом ни слова.

Нилов подождал еще. Лицо его было серьезно и несколько взволнованно.

— Все это вы можете найти здесь! — сказал он решительно и резко,— все, что вы искали. Зачем же вам уезжать?

И видя, что Матвей несколько огорчен его резким тоном, он прибавил:

— Вы пережили самое трудное: первые шаги, на которых многие здесь гибнут. Теперь вы уже на дороге. Поживите здесь, узнайте страну и людей... И если все-таки вас потянет и после этого... Потянет так, что никто не в состоянии будет удержать... Ну, тогда...

В голосе Нилова звучало какое-то страстное возбуждение. Матвей заметил это и сказал:

— А вы сами... извините... ведь вы хотите уехать.

Лицо Нилова опять слегка омрачилось.

— Да,— ответил он.— У меня свои причины...

— Значит... вы не нашли для себя то, чего искали?

Нилов распахнул окно и некоторое время смотрел в него, подставляя лицо ласковому ветру. В окно глядела тихая ночь, сияли звезды, невдалеке мигали огни Дэбльтоуна, трубы заводов начинали куриться: на завтра разводили пары после праздничного отдыха.

— Здесь есть то, чего я искал,— ответил Нилов, повернув от окна взволнованное и покрасневшее лицо.— Но... слушайте, Лозинский. Мы до сих пор с вами играли в прятки... Ведь вы меня узнали?

— Я узнал вас,— смущенно сказал Матвей.

— И я вас узнал также. Не знаю, поймете ли вы меня, но... за то одно, что мы здесь встретились с вами... и с другими, как равные... как братья, а не как враги... За это одно я буду вечно благодарен этой стране...

Матвей слушал с усилием и напряжением, не вполне понимая, но испытывая странное волнение...

— А если я все-таки еду обратно,— продолжал Нилов,— то... видите ли... Здесь есть многое, чего я искал, но... этого не увезешь с собою... Я уже раз уезжал и вернулся... Есть такая болезнь... Ну, все равно. Не знаю, поймете ли вы меня теперь. Может, когда-нибудь поймете. На родине мне хочется того, что есть здесь... Сво-

боды, своей, понимаете? Не чужой... А здесь... Здесь мне хочется родины...

Нилов смолк, и после этого оба они долго еще смотрели в окно на ночное небо, на тихую, ласковую ночь чужой стороны. Нилов думал о том, что скоро он покинет все это и оставит назади целую полосу своей жизни. А Матвею почему-то вспомнилось море и его глубина, загадочная, таинственная, непонятная... Так же непонятно казалось ему теперь многое в жизни, и так же манило еще смутную мысль... И, вспоминая недавний разговор, он чувствовал, что не знал хорошо себя самого и что за всем, что он сказал Нилову,— за коровой, и хатой, и полем, и даже за чертами Анны — чудится еще что-то, что манило его и манит, но что это такое — он решительно не мог бы ни сказать, ни определить в собственной мысли... Но было это глубоко, как море, и заманчиво, как дали просыпающейся жизни...

XXXIII

Наша правдивая история близится к концу. Через некоторое время, когда Матвей несколько узнал язык, он перешел работать на ферму к дюжему немцу, который, сам страшный силач, ценил и в Матвее его силу. Здесь Матвей ознакомился с машинами, и уже на следующую весну Нилов, перед своим отъездом, пристроил его в еврейской колонии инструктором. Сам Нилов уехал, обещав написать Матвею после приезда.

О жизни Матвея в колонии, а также историю американской жизни Нилова мы, быть может, расскажем в другой раз. А теперь нам придется досказать немного.

Статья «Дэбльтоунского курьера» об окончании похождений «дикаря» была перепечатана в нескольких газетах преимущественно провинциальных городов, недовольных «кичливостью» нью-йоркцев, впавших в данном случае в такую грубую ошибку. Нью-йоркские газеты обмолвились о ней лишь краткими и довольно сухими извлечениями фактического свойства, так как в это время на поверхности политической жизни страны появился один из крупных вопросов, поднявших из глубины взволнованного общества все принципы американской политики... нечто вроде бури, точно вихрем унесшей и

портреты «дикаря», и веселое личико мисс Лиззи, устроившей родителям сюрприз, и многое множество других знаменитостей, которые, как мотыльки, летают на солнышке газетного дня, пока их не развеет появление на горизонте первой тучи.

О Матвее и его истории скоро забыли, и ни Дыма, ни Анна не узнали, что он очутился в Дэбльтоуне и потом перешел в колонию, что здесь он был приписан к штату и подавал свой голос, после мучительных колебаний и сомнений (ему все вспоминалась история Дымы в Нью-Йорке). И понемногу даже лицо его изменялось, менялся взгляд, выражение лица, вся фигура. А в душе всплывали новые мысли о людях, о порядках, о вере, о жизни, о боге, которому поклоняются, хотя и разно, по всему лицу земли, о многом, что никогда не приходило в голову в Лозищах. И некоторые из этих мыслей становились все яснее и ближе...

А Анна все жила в том же доме под № 1235, только барыня становилась все менее довольна ею. Она два раза уже сама прибавляла ей плату, но «благодарности» как-то не видела. Наоборот, у Анны все больше портился характер, являлась беспредметная раздражительность и недостаток почтительности.

— Что делать... правду говорят, что это здесь в воздухе,— говорил муж старой барыни, а изобретатель, все сидевший над чертежами и к которому старая барыня обращалась иногда с жалобами, зная его влияние на Анну,— только пожимал плечами.

— Я теперь далек от всего этого,— говорил он,— но когда-то... одним словом, я думаю, что ей просто хотелось бы... собственной своей жизни... Понимаете ли вы: собственной своей жизни...

— Скажите, пожалуйста,— отвечала барыня с искренним изумлением.— Не обязана ли я ей доставлять, кроме десяти долларов, еще собственную жизнь...

— Ну, это теперь меня не касается,— отвечал старый господин.— Все это разрешит наука. Все: и ее, и вас, и всех. Дело, видите ли, в том, что...

Ученый повернулся на стуле и сказал серьезным тоном:

— Человек изобретает нужную ему машину... Это мы все отлично знаем. А думали ли вы когда-нибудь

о том, что и машина, в свою очередь, изобретает... вернее сказать, вырабатывает нужного ей человека... Вы удивлены?.. А между тем это можно доказать с математической точностью. Стоит усвоить эту великую истину, и все решено: вся задача сводится к тому, чтобы изобрести такую универсальную машину, которой нужен только свободный человек, понимаете? Тогда и только тогда разрешатся все эти мучительные вопросы... В этом будущем строе не будет уже ни господ, ни прислуги, ни рабовладельцев с их смешными притязаниями, ни рабов с их завистью и враждой... Понимаете вы меня?..

Старый господин приподнял очки и простодушно-радостным взглядом посмотрел в лицо хозяйки. Но на этом лице виднелось лишь негодование.

— Благодарю покорно! — сказала она. — Хорош ваш будущий строй... без прислуги! Я лучше согласна остаться при старом...

А дело с Анной шло все хуже и хуже...

Через два года после начала этого рассказа два человека сошли с воздушного поезда на углу 4 avenue и пошли по одной из перпендикулярных улиц, разыскивая дом № 1235. Один из них был высокий блондин с бородой и голубыми глазами, другой — брюнет, небольшой, но очень юркий, с бритым подбородком и франтовски подвитыми усами. Последний вбежал на лестницу и хотел позвонить, но высокий товарищ остановил его.

Он взошел на площадку и оглянулся вдоль улицы. Все здесь было такое же, как и два года назад. Так же дома, точно близнецы, походили друг на друга, так же солнце освещало на одной стороне опущенные занавески, так же лежала на другой тень от домов...

Глаза его с волнением видели здесь следы прошлого. Вот за углом как будто мелькнула чья-то фигура. Вот она появляется из-за угла, ступая так тяжело, точно на ногах у нее пудовые гири, и человек идет, с тоской оглядывая незнакомые дома, как две капли воды похожие друг на друга... «Все здесь такое же,— думал про себя Лозинский,— только... нет уже того человека, который блуждал по этой улице два года назад, а есть другой...»

Звонок затрещал, дверь открылась, из-за нее выглянуло лицо Анны, и дверь опять захлопнулась, заглушив

испуганный крик девушки, точно она увидела призрак. Потом она опять выглянула в щелку и сказала:

— Вы?.. Неужели это вы?

Старая барыня тоже с большим удивлением встретила этого человека и с трудом узнавала в нем простодушного лозищанина в белой свите и грубых сапогах, когда-то так почтительно поддерживавшего ее взгляды на американскую жизнь и на основы общественности. Она внимательно присматривалась к нему сквозь свои очки и искренно находила, что он стал гораздо хуже. Правда, в нем не было вызывающей резкости и задора молодого Джона, но не было также ласковой и застенчивой покорности прежнего Матвея, которая так приятно ласкала глаз старой барыни. Кроме того, она находила, что черный сюртук сидел на нем, «как на корове седло».

— Садитесь, пожалуйста,— сказала она с легким оттенком иронии. Но она чувствовала с некоторой досадой, что ей все-таки неловко было бы оставить стоять этого человека.

В сущности, она была человек недурной, и, когда Анна заявила ей об отказе от службы,— она поняла, что теперь у Анны есть уважительная причина..

— Ну, вот — она нашла себе «свою собственную жизнь»,— сказала она с оттенком горечи ученому господину, когда Анна попрощалась с ними.— Теперь посмотрим, что вы скажете: пока еще явится ваш будущий строй, а сейчас вот.. некому даже убрать комнату.

— Гм... да...— задумчиво ответил изобретатель...— Надо признать, что в этом есть доля неприятности. Конечно, со временем все это устроится несомненно... Но .. действительно, трудно будет придумать машину, которая бы делала это так приятно и ловко,— как эта милая девушка...

Несколько дней после этого ученый чувствовал себя не в своей тарелке и находил, что даже выкладки даются ему как-то труднее.

— Гм... да... я должен признаться,— говорил он старой барыне.— Мне недостает ее лица и ее добрых синих глаз... Конечно, со временем все заменят машины...

Но тут он оборвал фразу под упорным ироническим взглядом старой барыни, которая процедила сквозь зубы:

— Даже синие глаза? Ну, это-то уж едва ли...

Перед отъездом из Нью-Йорка Матвей и Анна отправились на пристань — смотреть, как подходят корабли из Европы. И они видели, как, рассекая грудью волны залива, подошел морской гигант, и как его опять подвели к пристани, и по мосткам шли десятки и сотни людей, неся сюда и свое горе, и свои надежды, и ожидания...

Сколько из них погибнет здесь, в этом страшном людском океане?..

Матвею становилось грустно. Он смотрел вдаль, где за синею дымкой легкого тумана двигались на горизонте океанские валы, а за ними мысль, как чайка, летела дальше на старую родину... Он чувствовал, что сердце его сжимается сильною, жгучею печалью...

И он понимал, что это оттого, что в нем родилось что-то новое, а старое умерло или еще умирает. И ему до боли жаль было многого в этом умирающем старом; и невольно вспоминался разговор с Ниловым и его вопросы. Матвей сознавал, что вот у него есть клок земли, есть дом, и телки, и коровы... Скоро будет жена... Но он забыл еще что-то, и теперь это что-то плачет и тоскует в его душе...

Уехать... туда... назад... где его родина, где теперь Нилов со своими вечными исканиями!.. Нет, этого не будет: все порвано, многое умерло и не оживет вновь, а в Лозищах, в его хате живут чужие. А тут у него будут дети, а дети детей уже забудут даже родной язык, как та женщина в Дэбльтоуне...

Он крепко вздохнул и посмотрел в последний раз на океан. Солнце село. Туманная дымка сгущалась, закрывая бесконечные дали. Над протянутой рукой «Свободы» вспыхнули огни...

Пароход опустел Две чайки снялись с мачт и, качаясь в воздухе, понеслись по ветру в широкую туманную даль...

Как те, которые когда-то, так же отрываясь от мачт корабля, неслись туда... назад... к Европе, унося с собой из Нового света тоску по старой родине...

1895

Фабрика смерти

Эскиз

I

Я открыл как-то окно в своей комнате, в Чикаго, на Rhodes avenue. Комната быстро наполнилась особенным, тяжеловатым и чрезвычайно неприятным запахом.

— Заприте окно,— ветер от Stock-yard'a,— сказал мне Виктор Павлович, один из моих гостей-соотечественников.

— Это что такое? — спросил я.

— Как?.. Неужели вы еще не видели Сток-ярда? Напрасно: Пульмановский городок, где пьют кровь из людей, и Stock-yard, где убивают фабричным способом животных,— две great attractions * Чикаго даже и не в выставочное время. Разве вы не знаете, что на свиной туше основано все величие Чикаго?

Виктор Павлович был человек желчный и не мог решить в течение долгих странствований,— где хуже: у нас или в Америке, или еще где-нибудь на белом свете... Мы решили в этот день вместо выставки отправиться маленькой компанией к Stock-yard'у.

Ехать пришлось долго, и я начал было сомневаться, возможно ли вправду влияние столь отдаленного учреждения на атмосферу моей комнаты в Rhodes avenue. Но

* Самые большие достопримечательности *(англ.)*.

вот вагон, повертывая из улицы в улицу, несет нас чем-то вроде предместья: дома ниже, шире площади, много дыма, больше грязи на неровных мостовых, кое-где деревянные тротуары, стоптанные и с провалившимися досками. Еще далее наш вагон бежит, неизвестно уже как выбирая свою дорогу, по целой сети рельсов, искрестивших широкие площади и улицы, точно паутина.

Мы останавливаемся... Поперек нашего пути идет поезд, весь нагруженный скотом. Головы, головы, головы... Быки солидно смотрят на суетливую картину грязного города, сменившую для них простор родных прерий. В другом месте глупо толкутся овцы... Свиньи нервно возятся и обнаруживают беспокойство... Вагоны, вагоны, еще вагоны, без конца... Начинает накрапывать дождик, с утра уже разводящий на улицах тонкую, липкую грязь.

Последний вагон прошел, обвеяв нас полосой острого скотского запаха. Мы трогаемся далее... Дождик сильнее, грязь гуще, небо застилает каким-то особенным дымом, тяжелым и вязким. Вагон то и дело подпрыгивает на стыках. Три степных пастуха, в кожаных одеждах, покачиваясь на высоких седлах, тихонько едут под дождем и ведут о чем-то спокойную беседу. Они, вероятно, сдали уже свои партии. Теперь, может быть, считают барыши и с удовольствием думают о чистом воздухе и просторе прерий, где на зеленой траве пятнами бродят стада... Чувствуется близость бойни. Сырой воздух пропитан угнетающим запахом, тем самым, от которого пришлось закрывать окна за несколько верст отсюда...

— Stock-yard! — выкрикивает кондуктор...

Перед нами целый городок сумрачно-муругих зданий с широкими дворами, обвеянных клубами пара и дыма... Грязно, сурово и уныло. Stock-yard неряшлив, серьезен и несколько циничен. Он грязен, некрасив, он нехорошо пахнет, и порой гости Чикаго, съехавшиеся со всего мира на его выставку, вынуждены затыкать носы... Что делать! Городу приходится выносить эти неприятные черты в характере Stock-yard'а: ведь город сделал блестящую карьеру, он может принимать у себя блестящее общество, главным образом благодаря своему некрасивому дедушке, Сток-ярду... А дедушка не торопится скидать для гостей грязный халат...

Мы пробираемся по плохим мосткам между паутиною рельсов; на широком дворе — грязные загородки, ограждающие еще более грязные загоны, затоптанные пригоняемой скотиной... Множество лошадей коу-бойсов, с оригинальными седлами, стоят у этих загородок. Это — все пастухи, быть может, еще сегодня пригнавшие табуны или приехавшие с ними в поездах. Скот — частию в загородках, частию же в огромных зданиях, мимо которых мы проходим. Я заглядываю в запотелое, грязное окно: коровы тупо и равнодушно пережевывают жвачку; в другом месте овцы сбились в кучу, как будто над ними носится ощущение смерти. Их уже не кормят, потому что дело идет здесь быстро, и пока cow-boy получает расчет и садится на коня, чтобы двинуться в обратный путь,— его стадо уже выходит с другого конца Stock-yard'а в виде туш, полстей и консервов... Скотская смерть густо нависла всюду, ею насыщена атмосфера, и я положительно уверен, что видел смертельную тоску в глазах этих сотен и тысяч живых существ, сбитых в кучу и ожидающих своего часа.

Stock-yard охотно принимает любопытных посетителей. Мы входим в дверь office'а*, становимся на площадку щегольского лифта, и в несколько секунд мы уже наверху, в конторе. Не успели мы даже объяснить нашего желания, как навстречу нам вышел изящно одетый джентльмен и привычными движениями автомата роздал всем прибывшим по карточке. На моей карточке было напечатано:

Армор, Свифт и К°, год 1892.	
Число убитого рогатого скота	1 189 498
убитых свиней	1 134 692
овец	1 013 527

И т. д. Общая цифра — девяносто миллионов голов. Затем Свифт и К° считают нелишним сообщить для сведения посетителей, что по плану города Чикаго их здания занимают 40 акров земли. Поверхность всех полов в этих зданиях 60 акров, крыши 29 акров...

И это лишь одна из компаний Сток-ярда, который весь состоит из таких же учреждений...

---

* Бюро, контора (*англ.*).

Джентльмен попросил нас присесть, а сам ушёл в контору, где множество молодых людей и девушек считали что-то и щелкали клавишами ремингтоновских машин... Вероятно, он внес нас в свою статистику посетителей. Весь воздух конторы был заполнен этим щелканием и жужжанием... Девяносто миллионов голов,— думалось невольно,— каждый из этих звуков отмечает одну смерть из числа этих девяноста миллионов... Характерная бухгалтерия Сток-ярда!

II

Через минуту мальчик в ливрее Свифта и К° явился за нами. Он только что отпустил такую же партию посетителей и теперь привычным жестом пригласил нас за собой... Рядом со мной в приемной сидела дама, державшая за руку девочку лет пяти. Она тоже взяла карточку с извещением о том, сколько Свифт и К° убили голов в 1892 году, но я думал сначала, что это недоразумение: дама, вероятно, пришла навестить кого-нибудь в конторе. Однако оказалось через минуту, что мы стоим рядом с этой дамой и с этой девочкой на галерее-помосте, висящем над обширною бойней.

Свет проникает сюда с двух сторон. Рассеянные лучи бродят и скользят в воздухе, точно на картинах фламандских мастеров, изображающих мирные сцены большого скотного двора. Только здесь совсем не идиллия... Внизу под нами вдоль всего здания тянутся ряды стойл. Их много. В эту минуту все они открыты, и в них, точно по команде, неохотно, но с тупою покорностью входят рядами огромные красавцы быки с крутыми рогами. Стойла задвигаются загородками, и стук этих загородок сливается в один продолжительный треск, проносящийся из конца в конец огромного помещения... Потом короткая тишина... На узеньком помосте, вдоль стойл, над каждым быком стоит по человеку... Когда стойла задвинуты, ряд железных молотов на длинных рукоятках разом поднимаются в воздухе... И вдруг стук грузных тупых ударов проносится по всему зданию, сливаясь в частую, короткую, глухую дробь...

Дело редко кончается с одного удара... Я вижу, что ближайший от меня бык упал на колени, полежал, потом

поднялся и стал мотать рогатой головой, как будто отгоняя какое-то назойливое насекомое. А молот уже опять подымается над его головой...

Бык не видит... Мы сверху видим и ждем...

Дама стоит в двух шагах от меня, красиво облокотившись на перила, а ближе пятилетняя девочка просовывает личико в промежутки перил и с бессознательной детски недоумелой жадностью приглядывается к непонятному еще зрелищу смерти.

— Так и надо,— говорит Виктор Павлович.— Янки народ последовательный. Они не отворачиваются от того, что делают...

III

Первый акт кончен. Юный джентльмен в ливрее приглашает нас далее... Каждой партии посетителей показывается вся операция над партией введенных при них животных. Дама с девочкой и несколько мужчин пошли за провожатым, но мы все, кучка русских, как будто по уговору, свернули к выходу, откуда спускались рабочие. Это — задний ход Сток-ярда. Грязная площадка, грязный лифт, сам похожий на стойла. Блоки скрипят, пол качается и задевает за стенки, все сооружение кряхтит, стучит и встряхивается при остановке. Это далеко не похоже на щегольской лифт, которым любезные гг. Свифт и К⁰ вводят своих посетителей с парадного хода. Но... мы сами отступили от программы...

Мы опять на дворе, под мелким дождем, среди грязных зданий... Мутный дождь разводит какое-то месиво на грязной земле, и грязные люди в тяжелых сапогах выпускают грязный дым из трубок в грязный, насыщенный жирными испарениями воздух.

Очутившись на панели, мы с недоумением посмотрели друг на друга: как это случилось, что мы вдруг очутились здесь, точно нас выкинула посторонняя сила, тогда как мы не осмотрели еще и десятой доли того, что нам готовы показать Армор, Свифт и К°

— Российское слабодушие,— сказал желчный Виктор Павлович.— Кушать бычка можно, а смотреть, как его убивают, мы не согласны... Природный аристократизм и лицемерие чувства... По мне так вот, как эта

американка,— привела ребенка и показала... вот, милая, что для тебя готовят эти добрые дяди... Это умнее и честнее. Нет, господа, пойдем уж далее...

IV

Мы были рядом с входом в другое здание... К нему по рельсам подкатился вагон, и огромное стадо свиней, подгоняемых палками, высыпало на широкий помост, который вел кверху. Это очень остроумно: живая свинья должна доставить себя наверх, а уж оттуда ее с комфортом спустят вниз через разные отделения. Мы посмотрели на этот поток живых существ, идущих в жерло смерти, и еще раз вошли внутрь здания по скользкому коридору, на скользкую лестницу.

Мы в коридоре второго этажа. Мимо нас быстро прокатываются тачки с потрохами, десятки, сотни, без остановки. Приходится сторониться, но посторониться некуда: стены облипли, с потолков каплет что-то, стоящее на полу клейкой грязью. Здесь еще грязнее, чем на бойне быков. Может быть, можно было бы при таких оборотах сделать все это чище и приличнее... Но гг. Армор и Свифт не думают придавать более привлекательный вид своему доходному делу.

Еще лестница. Атмосфера еще тяжелее, люди полуобнаженные. Мне кажется, что я прямо осязаю этот воздух, плотный от густых осадков крови и жира. В нем ходит теплый пар, что-то глухо шумит, откуда-то несется заглушенный стенами визг... Окрик сзади... Мы сторонимся: это с конца коридора в клубах тумана несутся свиные туши, подвязанные за ноги к рельсам под потолком; они скользят мимо нас, уже ободранные от шерсти... не более пяти минут назад все это еще жило, барахталось и страдало. Навстречу им открываются с грохотом и визгом железные дверки... Клубы горячего пара вырываются из печей, и туши одна за другой опускаются туда по рельсам... Пока они спустятся в следующий этаж, горячий пар обожжет на них остатки шерсти... На потолок, на стены садятся жирные осадки, и среди тяжелой мглы, как привидения, несутся по коридору новые ряды белых туш...

Еще поворот, еще подъем. Что-то клокочет. Тесно, суета, визг сильнее... Люди почти совсем голые, с скользкими, неприятно белыми телами; один из них указывает почти вертикальную лесенку, всю облипшую грязью. Мы всходим по ней и оказываемся в главном отделении. Дальше идти уже некуда: те самые свиньи, которых мы видели у входа, теперь поднялись к своему последнему этапу. Толкаясь, упираясь, визжа, они всходят на верхнюю площадку. Их подгоняют ударами дубин, и меня поражает необыкновенная жестокость этих ударов. Как будто в самом положении «обреченных» есть что-то пробуждающее по отношению к ним инстинкты жестокости в душах людей... Животные мечутся, жмутся друг к дружке и визгливо, пронзительно жалуются... Напрасно. В самой свалке, наверху подъема стоят два человека, очень ловко накидывающие петли на правую заднюю ногу животного. Минута... веревка натягивается, животное опрокидывается, виснет в воздухе, нервно визжит, а блок, к которому привязана его нога, начинает тихо скатываться вниз вправо и влево, по наклонным рельсам, проведенным под потолком коридоров. Наклон очень незначителен... Механизм передвижения рассчитан на эти судорожные вздрагивания...

А вот и главные герои Сток-ярда...

Невдалеке от подъема, почти голый, весь скользкий, белотелый и равнодушный, стоит человек с узким ножом в руке. Когда животное прокатывается мимо него, он делает привычное движение сверху вниз. Визг, предсмертное хрипение, волна алой крови из разреза... А блок катится по рельсу далее, и к полуголому человеку неотвратимо подвигается другое животное... Вся работа этого человека состоит лишь в одном этом движении ножа сверху вниз. От пяти до десяти секунд — на одну жизнь, шесть жизней в минуту, тридцать шесть в час, триста шестьдесят в десять часов, а на бойнях работают по двенадцати и тринадцати часов... Рабочие на бойнях — самые неразвитые и тупые из всех рабочих: они еще не участвуют в союзах и не умеют отстаивать свои интересы. Около пятисот убийств в день, пятнадцать тысяч в месяц, и в этом вся жизнь полуголого человека с ножом...

Я с некоторым ужасом смотрел на этого мастера смерти... А он, полыснув по горлу очередную жертву, на-

шел еще время в промежутке толкнуть меня локтем и быстро подставить руку. Я торопливо вынул монету и сунул ему. И тут же подумал: за что?.. Мне представилось невольно, что если бы по ошибке моя нога запуталась в петлю, и я подкатился бы к нему по рельсу,— едва ли он остановил бы из-за этого привычное движение привычной руки.

В нескольких шагах от этого места веревка блока внезапно ослабляется, животное, еще бьющееся в судороге, попадает в резервуар с грязно-кровавым кипятком . Не проходит и полминуты, как оно уже ошпарено, ободрано на вертящемся железном зубчатом барабане, опять поднято на блок и тихо катится по коридору вниз, к паровой печи... Визг, клокотанье, шипение, стук... И обнаженные люди среди скользких стен, на залитом кровью полу, в липком воздухе продолжают работу смерти...

Когда мы сошли вниз, к выходу, то на тачках мимо нас катились шары белого жира, груды совершенно готовых окороков... и коробки, коробки, коробки... Армор и Свифт работают отчетливо и быстро. Очень вероятно, что это, в закупоренных и запаянных жестяных коробках, уходили те самые животные, которые вошли сюда одновременно с нами.

V

На этот раз с нас было довольно: мы видели главное, и мне казалось, что я знаю остальное: бык умирает спокойно и тупо, но величаво,— и только в глазах видна тоска глубокая и сознательная Овца валится безропотно и глупо, свинья нервничает, мечется и проклинает судьбу А фабрика работает без остановки, и целые поезда кидают сюда все новые и новые тысячи жертв ..

Мы торопливо выбрались из Сток-ярда, торопливо миновали загоны и хлевы, прошли мимо коновязей с оседланными лошадьми cow-boys'ов... Умные животные стояли задумчиво и смирно. Понимают ли они, в каком соседстве находятся, содрогается ли сердце животного от сочувственного ужаса.. Наверное понимают .. Кучка пастухов вышла из какой-то конторы и села в седла. Лошади внезапно оживились и как-то особенно нервно побежали прочь, вздрагивая и отряхаясь ..

Stock-yard остался назади, застилаясь пеленой своей мглы, пара и дыма; вагон опять громыхал на стыках, то и дело останавливаясь, чтобы пропустить поезда, из которых опять тупо глядели овцы, быки, коровы.

Уже далеко на длинной улице, все еще пронизываемой то и дело веянием Stock-yard'а, нас обогнал щегольской возок-ящик, на котором по красному полю белыми буквами стояла надпись Armor, Swift и K°, а затем следовало длинное перечисление предметов производства. Я посмотрел на этот красивый фургончик с неприятным чувством... С таким невольным содроганием мы встречаем в толпе иное приличное, но почему-то зловещее лицо... Фургончик ожидал вместе с нами, пока пройдет новый поезд,— и мне казалось, что это соседство наносит мне какое-то личное оскорбление. Я вздохнул с облегчением, когда последний поезд прошел и щегольская тележка с белыми буквами по красному полю быстро умчалась, утопая в тумане.

— О чем это вы задумались? — спросил у меня Виктор Павлович...

— Фабрика смерти! — сказал я, формулируя свои впечатления от Сток-ярда.

— Да, фабрика... И все итоги подведены! Общая цифра — девяносто миллионов в год. Заметили вы этих молодцов? Замечательные психологи!

— Кто это?

— А эти рабочие-бойцы... Здесь уже нигде не дают на чай, даже ресторанной прислуге. Обидятся... А эти молодцы собирают дань со всех приходящих Знает, каналья, что ему стоит толкнуть тебя локтем, и рука невольно лезет в карман за деньгами. Вот вы... За что вы ему дали десять центов?

— Черт его знает, в самом деле, за что я ему дал десять центов?

— Да, просто, вы его *боялись* и питали к нему отвращение. Это как раз то чувство, которое можно питать к сообщнику давно забытого преступления... Вы живете спокойною жизнью уважаемого джентльмена. И вдруг он является и уверенно протягивает вам руку: пожалуйте нечто старому товарищу, сэр... Ведь это я оказываю вам маленькие услуги...

— Вы вегетарианец? — спросил я.

— Такой же, как и вы! Впрочем, в данную минуту Пожалуй — да. Армор и Свифт хоть на время делают людей вегетарианцами...

— А потом?..

— Я взялся быть вашим гидом только по Сток-ярду... Вот мы и вышли... А дальше... Спросите лучше у Егорова. Он все это знает...

Егоров сидел на скамье вагона, задумавшись, и не слышал нашего разговора; но теперь он вдруг отряхнулся и сказал:

— Я вспоминал, как у нас в деревне били свинью.. Это было целое событие. Батюшка с матушкой долго совещались, потом решили, что, по хозяйственным соображениям, пора убить «любимого» борова. Мы все его загоняли с помощью деревенских ребят, и это было очень весело. Боров визжал и долго бегал от нас по двору и огороду... Потом его растянули на зеленой траве, над речкой. Остального мы, ребята, не видели...

— Необыкновенно поэтично,— сказал Виктор Павлович.

— Все-таки лучше, чем то, что мы видели сейчас.

Егоров был романтик, ненавидел городскую жизнь и фабрики... Мечтал о работе на ферме, а пока перебивался в какой-то конторе.

— Разумеется,— насмешливо сказал Виктор Павлович.— Вот индейцы привязывают пленника к дереву, резвая молодежь упражняется на нем в меткости ударов томагаука, а юные девы поощряют наиболее удачные удары... Это длится целый день... и так это хорошо описано у Майн-Рида, что порой не прочь и сам испытать эту поэзию... Однако, по зрелом размышлении, я лично предпочел бы погибнуть от цивилизованного шаспо, а еще приятнее от пушечного ядра... Армор и Свифт кончают сразу... и это лучше... Думаю, что всякая благоразумная свинья разделяет мое мнение.

Виктор Павлович впадал в обычный сплин, становился неприятен и циничен...

— И все-таки это ужасно,— сказал задумчиво Егоров.

— Да, как всякая последовательность. Нет ни цветочков, ни лужайки, ни речки,— все просто, откровенно и всему подведены итоги... Однако мы приехали... По-

благодарите меня за доставленное удовольствие. А впрочем, не взыщите...

VI

На следующий день выставка развлекла и рассеяла мои воспоминания о Stock-yard'е. Однако когда в обычный час я пришел в ресторан, и миловидная Лиззи, ирландка, взявшая меня, чужестранца, под свое покровительство, принесла мне обычную порцию ростбифа,— я увидел, что решительно не в состоянии к нему прикоснуться.

— Вы здоровы, сэр? — спросила Лиззи, вглядываясь в мое лицо, на котором, вероятно, слишком явственно выступило мое ощущение.

— Я здоров, Лиззи, но я желал бы лучше получить кукурузы, картофеля и апельсин.

Это продолжалось что-то около недели...

1896

Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды

I

В то время Рим вознесся могуществом над всеми народами, а его владычество простерлось от края до края земли.

В Европе римляне победили галлов и крепких телом германцев и бриттов, огражденных, кроме океана, еще стеною, и горную Испанию, охваченную морями. А также Греция и народы, живущие около Понта, и многие другие признали власть орла.

В Африке от Столпов Геркулеса и до Чермного моря, Карфаген и бесчисленные эфиопы подчинились силе оружия и обязались поставлять запасы, которыми в течение восьми месяцев питался римский народ.

В Азии пятьдесят городов поклонялись правителю Рима, глядя на ликторские пучки, окружавшие консулов.

Египет и Аравия, народы Индии и мидяне, и парфяне, и гордые киринеяне, ведущие свой род от лакедемонян, и мармаридяне, и страшные сиртяне, и насамоны, и мавры, и нумидяне, и многие другие народы, сложив оружие, склонились под ярмо и трепетали... Трепетали уже не перед мечом завоевателей, но перед пучками ликторских розог, которые напоминали народам об их постыдном рабстве.

Стихло сопротивление захвату, руки борцов упали в бессилии смерти, смежились очи, обращавшиеся к сво-

боде, смолкли голоса, звучавшие призывом к защите... Над затихшим в ужасе миром взвился римский орел, и владычество Рима легло над порабощенной землей...

И мир на время наступил в мире. Но он нес с собою не процветание, а зло. Не маслина цвела на ниве жизни, а волчец и терн, потому что нива жизни поливалась не благодатным дождем, а кровавым потом рабства, и над землею от края до края стоял стон угнетенных...

И гордый Рим питался плодами рабства, как орел-стервятник питается падалью; от этих плодов яд разливался в народе, которым прежде всего отравились правители.

Первые кесари, встречая отпор и сопротивление народов, еще не забывших свободу, часто вспоминали о благоразумии; мерами кротости привлекали они тех, чьи руки могли еще мечами защищать вольность; под цветами человеколюбия скрывали они цепи рабства, чтобы не вызывать в гордых сынах свободы — желания смерти в бою.

И потому, завоевав Иудею, они оставили народу отеческие законы и веру в Единого, и собственное правление. А вторгаться воинам в пределы храма запретили под страхом смерти.

Но вот клики борьбы за свободу повсюду стихли, пало сопротивление насилию завоевателей, мир склонился в изнеможении, кой-где только в бессилии потрясая цепями. И так шли годы. Римляне привыкали повелевать, мир привыкал повиноваться. В сердце Рима росло высокомерие и гордость. Он думал: «Кто посягнет ныне на мое владычество?» И отвечал: «Никто». А в остальном мире рабство укореняло привычки страха и низкого преклонения.

И Рим в безмолвии общего рабства рычал на вселенную, как хищный лев ночью среди ливийской пустыни. А вселенная, как пустыня, со страхом внимала рычанию насильника, помня страдания отцов, но забывши их доблесть.

И по мере того как в народах смолкало святое чувство гнева, — в Риме терялась мера благоразумия.

После кесарей Юлия и Августа воцарился свирепый Тиверий, а за ним Кай — безумец, мечтавший о том, чтобы обезглавить вселенную в лице самого Рима. И, наконец, после слабоумного Клавдия,— жесточайший из людей Нерон попирал законы бога и природы с высоты кесарского престола, на виду у вселенной. «На вершине горы поставил он ложе разврата», смеялся над добродетелью и кровью невинных напоил содрогавшуюся землю...

В Иудее же не было давно ни кроткого Петрония, ни даже Пилата, который некогда вынес из священного города знамена с изображением кесаря, чтобы не оскорбить народного чувства. Но Албин, правитель, человек алчный и жестокий, подобный разбойнику, свирепствовал над беззащитными, так что не было злодеяния, которое бы он оставил не совершенным. «Копиеносцев своих, назначенных к поддержанию порядка, употреблял к разграблению тихо-живущих. Вольность слова была отнята, и возвысить голос к осуждению или к жалобе не смел никто, тогда как владычествовали многие» [1]. Никто уже не в силах был оказать справедливую защиту, но к грабежу и к обиде имел возможность всякий, кто только обладал силой.

Так возрастало страдание смиренно покорявшихся игу.

Так возрастало страдание, но предела еще не достигло.

Вступивший на место Албина, Гессий Флор показал, что в сравнении с ним и Албина можно было считать кротким. В то время как Албин свои злодейства совершал тайно и с укрывательством, Флор кичился ими, подражая Нерону. В делах, требовавших милосердия, он был бесчеловечен, дела же гнусности оставлял без наказания и сам являлся в них первым зачинщиком и покровителем.

Так росло дерево насилия на почве слабости и гордость на почве смирения. И не было народу надежды и исхода, так как источники правосудия были закрыты.

[1] Иосиф Флавий, «О войне Иудейской».

Случилось, что в праздник опресноков приехал в Иерусалим Кестий Галл — правитель Сирии, имевший силу у римлян. Тогда огромная толпа иудеев, окружив вельможу, с криком и слезами жаловалась на притеснения Флора, прося правосудия и защиты.

И Кестий стоял на возвышении среди простиравшего к нему руки народа и думал.

Он был суровый воин и не боялся смерти, но гнева своих повелителей боялся. Его сердце не билось учащеннее в сече, но трепетало перед взглядом немилости кесаря. Таковы сердца тех, кто служит насилию.

И Кестий думал: «Если окажу им защиту,— могу подвергнуться немилости Нерона, так как Флор силен при дворе, а Нерон давно забыл правду. Если же не заступлюсь,— мера терпения народа исполнится, и он восстанет. Тогда произойдет кровопролитие, и мне придется вести против них свои легионы. Последнее лучше. Легионы созданы на то, чтобы биться и побеждать».

И пока он так думал, народ простирал к нему руки, а Флор стоял рядом и явно смеялся народным слезам и народной надежде. Он знал, что не найдут правосудия.

Приказав народу замолчать, Кестий сказал им с лицемерием, чтобы они успокоились, так как он знает, что Флор и сам уже намерен оказать народу милость.

О правосудии же не сказал ни слова и уехал, а Флор выехал с ним, чтобы проводить его до Кесарии, в знак своего расположения к вельможе, сохранившему с ним согласие.

Затем, прислав в Иерусалим своих воинов, приказал им взять семнадцать талантов из сокровища храма, которое хранилось в башне, называемой Антония.

Такова была милость насильника. Флор посягнул на святыню, стремясь к ограблению храма и всего народа.

Был среди римлян некто именем Авл Катулл, начальник тысячи. Это был седой воин, помнивший времена борьбы и поступки суровых, но благоразумных вождей... Проникнув намерения Флора, он возвысил голос перед легионами и сказал:

— Помнишь ли ты, Гессий Флор, зачем ты прислан в эту страну? Затем ли, чтобы утеснять народ и само-

му безмерно обогащаться, или, наоборот,— чтобы мудрым правлением поддерживать единство империи? Когда же утесненный народ восстанет, а за ним восстанут другие,— какой ответ дашь перед сенатом?

Но Флор, опьяненный властью и презрением к иудеям, смеялся словам Авла Катулла и говорил:

— Я знаю иудеев. Этот ли презренный народ подымется против нас, храбрых римлян? Нет, римская держава от них не поколеблется, а только мы, храбрые, получим легкую добычу. Иудеи трусливы и несогласны. Если даже восстанут, то, при легкой победе, представится случай к большей корысти, без страха перед кесарем и сенатом. Если же будут все сносить с обычным смирением, то мы захватим сокровища храма и возвратимся на родину богачами, предоставив новым легионам искать новой добычи. Корысть — жребий храбрых, а жребий смиренных — работа для других... Ты, Катулл, малодушен, и потому недостоин командовать мужами, но должен стать в ряды простых воинов, а другие поведут легионы к богатству.

Тогда среди римлян послышались громкие крики. И хотя были воины, любившие Катулла и думавшие, как он, но таких было мало, и потому не смели противиться. Катулл снял знаки начальника и стал в ряды простых воинов.

А в Иерусалиме среди народа тоже настало великое смятение. Будучи несогласны между собою, люди шумели и спорили. Одни говорили:

— Долго ли нам терпеть насилия и оскорбления святыни? Разве не видно, куда влечет Флора корысть и злое сердце!.. Не остановится, пока не захватит святыню, а захватив — получит новое побуждение к дальнейшим насилиям. Ибо как легионы стоят вокруг знамени, так наш народ — вокруг святыни. И если знамя захватит неприятель, то легион побеждается и неприятель побивает бегущих с большею легкостью. Так и Флор скажет себе: если этот народ не мог отстоять свою святыню, то чему же после этого воспротивится? Того ли желаем? Желаем ли, чтобы легионеры, возвращаясь на родину, отягченные добычей, говорили своим товарищам: «Идите

в Иудею. Там народ с малой душой, и воину не предстоит опасности в сражении, а только одни приятности: иудеи не защищают своих, но отцы со смирением приводят дочерей несозревших к ложу солдата».

Так говоря, разжигали в народе мятежные чувства, и многие говорили: «Лучше смерть у порога Антонии, на защиту святыни и чести. Флор хочет меча, будет иметь меч. Мы не видим правосудия у кесаря, так пусть же бог, управляющий бранью, рассудит нас с Флором».

Таковы были многие из народа, а также и из ученых многие мудрецы и между другими — Менахем, сын Иегуды Гамалиота, пролившего кровь в борьбе за свободу отечества.

Отец завещал сыну свою любовь и свою ненависть. Его любовь была любовь к свободе, а его ненависть — вражда к угнетению. Менахем говорил, подобно своему отцу: «Недостойно кланяться перед алтарями римских кесарей, потому что кесари — люди; преклонение же подобает единому богу, создавшему людей для свободы».

Кроме того мудрый Менахем, скорбя о бессилии своего народа, углублялся в книжное изучение и познавал из книг завета и из книг иноземных все, что происходит на свете, и что есть зло и добро, и в чем сила народов сильных, и откуда идет слабость ослабевших. В учении он был велик и не походил на гордых фарисеев, ни на смиренных ессеев, ни на саддукеев, кормившихся от храма. Но пытливым умом искал неустанно истину, обращая стремления души своей вперед, а не назад.

И слава Менахема разошлась среди народа, и даже иноземцы называли мудрого Гамалиота острым философом, потому что язык его был подобен мечу, поражавшему лживые измышления. В сердце же Менахема любовь и ненависть горели, как яркое пламя.

Любовь была пламенем, а ненависть ветром. Ибо по мере того, как ненавистный гнет усиливался, Менахем отдавал свое сердце народу, — сердце, горевшее любовью.

Если же сравним ненависть с пламенем, то любовь была бы ветром, потому что от любви к угнетенным разгоралась ненависть к угнетателям.

И теперь Менахем могучим голосом призывал к оружию иерусалимлян, и галилеян, и гадаритян, и быстрых в нападении идумеев. «Встаньте,— говорил он,— и тогда час божий пробьет над Флором».

Но другие в Иерусалиме были противного мнения. «Так как,— говорили они,— Флор ищет войны, то мы, наоборот, должны сохранять кротость и терпение, чтобы не потерять и того, что еще у нас осталось».

Таковы были священники и вельможи, и все, кормившиеся от храма, и богатые, боявшиеся потерять богатство; они ходили меж народа, припадая к ногам даже простых людей и смиренно обнимая их колена, чтобы склонить к поступкам кротким и к терпению.

И им удалось склонить народ на сторону смирения.

Между тем Флор приближался с отрядом, возвращаясь из Кесарии. Народ иерусалимский, выйдя из города, встретил его на дороге с приветом и принес легиону доброжелательные поздравления. Но Флор осердился.

— Презренные! — сказал он с гневом.— Знаю, что в сердце своем каждый из вас меня ненавидит, на устах же ваших привет лицемерия... С оружием в руках встретили бы вы нас, если бы были мужами чести и правды. Смотри, Авл, на этих людей, которых ты боишься.

И он приказал своим воинам броситься на иудеев. Тогда случилось, что смиренные люди, пришедшие поздравить римлян, бежали к городу, подобно испуганному стаду, римляне же настигали их, как волки. И так спустилась над городом ночь среди криков, смятения, убийства, хохота и стонов...

Наутро же Флор приказал воинам разграбить торговую площадь, называемую Верхней, и воины грабили, а встречавшихся побивали без милосердия. В городе сделалось великое бегство по улицам и убийство людей, и насилие жен, и истязание невинных. Всех же с женами и детьми избито в тот день шесть тысяч триста иудеев.

Тогда собралось на Верхней площади великое множество смущенного народа, так что некуда было упасть яблоку. Мятежные люди, собравшись вокруг Гамалиота, разжигали в народе огонь негодования и мести за невинно погубленных. Вся же толпа с великими воплями оплакивала убитых.

Флор, собрав воинов, заперся в своем дворце, выжидая, что станут делать. Римляне говорили теперь вместе с Авлом: «Ожесточили мы этот народ свыше меры!.. И вот, над головами нашими, как туча, висит праведная месть». А Флор молчал.

Но знатнейшие граждане и первосвященники опять бросились в среду народа и опять, унижая себя перед простыми людьми, умоляли обратиться к смирению. «Флор,— говорили они,— уснул теперь, как тигр, пресытившийся кровью. Не будите же тигра в его берлоге, дабы не возбуждать свирепого зверя к новым напастям».

И опять народ послушался и, утишив плач, стал расходиться. Напрасно мятежный Гамалиот возвышал голос, призывая к оружию. Он был подобен льву пустыни, у которого ускользнула добыча. Напрасно скрежещет он зубами и когтями роет землю.

Начальники же и первосвященники, придя к дому Флора и будучи к нему допущены, сказали свирепому римлянину: «Вот, мы опять усмирили народ. Неужели ты забудешь наше смирение?»

А Флор со смехом повернулся к сотникам и начальникам тысяч и сказал: «Вот видите!» Иудеям же ответил ласково, замышляя вновь злейшее коварство:

— Вижу, что вы смиренны, но не знаю еще, до какой степени. Чтобы убедить нас всех,— выйдите опять с народом на дорогу и приветствуйте возвращающиеся из Сирии легионы.

Сам же заранее послал тем воинам свои наставления.

Священники и начальники смутились. Они знали, что теперь предстоит самое трудное. Поэтому, войдя в храм, облачились во все украшение, в котором совершается служба, а также взяли священные сосуды и, захватив с собой певцов и гусляров, со всеми их орудиями, пошли по улицам, привлекая народ зрелищем великолепия.

Когда народ собрался, стали вновь склоняться перед ним, прося еще раз смириться и не доводить римлян до того, чтобы они все эти сосуды разграбили. Первосвященники рыдали, склоняя головы, посыпанные пеплом, с разодранными одеждами и обнаженной грудью. «Сохраните нам эти сосуды! — молили они.— Не предавайте отечества своим непокорством в руки тех, которые стремятся к конечному разграблению. Если еще раз окажете покорность и вновь встретите воинов с кротким приветом, тогда у Флора не останется никакого предлога для нападения, вы же спасете отечество и сами ничего уже более не претерпите!»

Так говорили они. А Гамалиота не было в Верхнем городе; отойдя к могиле первосвященника Иоанна, что за городскою стеной,— Менахем готовился уйти в Галилею с учениками и приверженцами из галилеян и идумеев. Но прежде он предложил священникам: «Идите, но позвольте и нам идти за вами. Если вас не тронут, меч останется в ножнах. А если опять кинутся на беззащитных, то встретят собственную гибель». Священники же отвергли его предложение и сказали: «Мы победим покорностью».

Тогда Гамалиот тронулся в путь со своим отрядом, как уходит лев между собаками: римляне сторонились, когда, сверкая копьями, идумеи шли за своим вождем, а молодые галилеяне смотрели на римских воинов бесстрашными глазами. И когда они проходили мимо римских шатров, старый Авл Катулл крикнул:

— Привет смелым! Уважение сыну Иегуды!..

А священники и старейшины вывели народ на кесарийскую дорогу, и все с тихою робостью и в порядке пошли навстречу сирийским легионам.

Среди пыли и топота ног подошли к ним суровые римские воины и стали в молчании; и на привет свой иудеи не слышали ответа. Когда же из их среды раздался голос, просивший у воинов снисхождения к народу, чтобы не поступали подобно Флору,— тогда римляне вновь кинулись на иудеев, с мечами и копьями, и вновь беззащитные побежали.

И опять кровь обагрила дорогу: римляне настигали бегущих оружием и давили конями. В воротах же от теснившейся толпы причинилась иудеям окончательная гибель, так что не осталось из вышедших ни одного человека, которого могли бы узнать ближайшие сродники.

Воины же, разгоряченные запахом крови и стонами людей, бросились через Везефу и, пронеся с собой смерть по улицам города, устремились к Антонии, мечтая среди смятения достигнуть и захватить сокровище храма. И Флор, выйдя из дворца, весело отдался сече, говоря своим воинам: «Напрасно вы боялись этого народа. Вот теперь мы, две горсти храбрых людей, гоним тысячи и можем захватить сокровище без большого труда».

Так еще раз заплатили римляне иудеям за их смирение. Но захватить сокровище не успели, так как люди Гамалиота услышали стоны сограждан, кинулись навстречу римлянам и задержали их в улицах, ведущих к Антонии и храму. Потом, подрубив переходы, ведущие от храма к Антонии, заградили римлянам путь в башню и утишили таким образом сребролюбие Флора. Ободрившиеся же иудеи, став на высоте переходов, кидали в римлян камнями сверху. Легионы устрашились и отступили. Иудеи же, как толпа охотников на бегущего зверя, ринулись на отступавших, и многие из грабителей пали на улицах, звеня щитами и окровавленное оружие валяя в пыли.

И Флор, мрачно сдвинув брови, отступал вместе с другими, защищая свою жизнь против разъярившихся иудеев и стыдясь Авла и его сторонников.

И так спустилась ночь, но и ночью на улицах и над храмом, и по всем площадям и переходам стоял гул голосов, а полная луна освещала движение восставших. Гнев народа переполнил чашу терпения.

Римляне развели костры у дворца Флора, и воины стояли в мрачном молчании на площади. Они увидели, встретив отпор, что поступили неблагоразумно и жестоко. Они смотрели на небо и видели предзнаменование: луна, склонясь к земле, краснела, как будто погружаясь в кровавые волны; и стены храма отсвечивали багряным светом, как будто кровь убитых разлилась по земле и по

небу и вместе с воплями восставшего народа сгущалась тяжелым облаком, которое простиралось над холмами Иерусалима.

И вспомнили легионы слова благоразумного Авла, а его приверженцы возвысили голос:

— Старый тысяченачальник был прав,— говорили они,— Флор привел нас к позору.

И, собравшись вокруг Авла, послали его к Гессию сказать от имени войск:

— В настоящую минуту мы тебе еще повинуемся, но знай, жестокий человек, что мы сами принесем на тебя жалобу сенату. Взгляни,— кровь наша и кровь иудеев, пролитая по твоей вине, взывает к небу.

Это были слова немногих благоразумных, которые теперь получили значение, а дерзкие насильники, стоявшие прежде за Флора,— молчали. Потому большинство склонилось на сторону благоразумных.

А багряный свет все более и более заливал небо и землю.

Когда луна скрылась, над землей простерся мрак и вторая стража ночи сменила первую,— Флор угрюмо вышел из дворца с потупленными от стыда глазами и повел в молчании легионы из города.

Наутро в священном городе Иудеи не было римлян.

II

Над городом Гамалой садилось солнце...

Тихий вечер спускался над всей иудейской землей, осеняя эту землю благодатью покоя...

Вечерние тени кое-где уже трепетали в долинах, но ночь не зажигала еще своих блестящих лампад. И еще не было видно огненного меча, который вот уже несколько ночей всплывал в синем эфире и горел в небе, заставляя сердца людей биться тревожным ожиданием.

Грозная звезда, как пламенный меч ангела, каждую ночь тихо плыла в беспредельных пространствах, и люди чувствовали, что так же неуклонно идут в мир великие события и великое горе...

Но теперь, в этот час тихого заката,— мир, казалось, забыл о звезде, вестнице горя, и отдавался беспечно спокойствию отдыха. Горы синели, алел закат золотыми

багрянцами, тихо таяли в вышине белые тучки, роскошные пальмы поникли головами в истоме, и дальняя пыль клубилась на дороге, играя переливами последних лучей...

Ничто не говорило людям о грядущих бедствиях...

И только там, в вышине, над звездами сонмы ангелов. предстоявших престолу Иеговы, закрывали глаза крыльями и восклицали неслышными для смертного уха голосами:

— Горе вам, о Иерусалим и Гадара, и несчастная самоубийственная Иотапата!..[1]

Но смертные не слышали этих воплей, и завеса близких времен не поднималась перед их взорами. Внизу, на земле, обвеянной сумраком заката, существовало лишь настоящее. Бог судил смертным,— не видя грядущего, самим искать впотьмах пути своей жизни, пытливо исследуя, где зло и где благо...

И слепой род ликовал. Отступили легионы Флора, и Кестий потерпел неудачу. Казалось, невзгоды миновали, и дочери Галилеи сплетали венки и пели песни. А в Иерусалиме даже фарисеи возвещали вести свободы.

Но Гамалиот не участвовал в ликовании. Он знал, что война еще впереди, что римский орел собирается расправить когти, и потому, удаляясь из Иерусалима, ходил по стране, созывая ополчение. И теперь, утомясь призывами к оружию, пришел в свой дом, чтобы отдохнуть.

И, смотря на багрянец заката и на синее небо, он плакал, потому что ясное небо говорило ему о вечном законе мира, а его сердце жаждало мира на земле, отвращаясь от крови и брани. И казалось, оно смягчается от ласкового дыхания кроткой зари и в душу Гамалиота спускается тихое спокойствие.

Вокруг него, на ступенях дома, возлежали его ученики и приверженцы в одеждах отдохновения. И все молчали, потому что молчал учитель, над которым пролетел

---

[1] Во время завоевания Иудеи, взойдя на стены осажденного города Иотапаты, римляне нашли всех ее жителей мертвыми. Им удалось разыскать лишь одну старуху, которая рассказала, что осажденные накануне последнего штурма перебили прежде жен и детей, а затем и сами погибли добровольно, предпочитая смерть рабству.

тихий ангел забвения... Он забыл о римлянах, и о погибших братьях, и об отце, сложившем голову на войне за свободу, и о невинно пролитой крови, и о том, что его ждут убийства, и опасности, и вражда, и, может быть, заблуждения, и гибель...

И, вздохнув полною грудью, Гамалиот сказал:

— Люди должны быть братьями, а божий мир хорош...

Но дальняя пыль, клубясь на дороге, катилась все ближе, и, прикрыв глаза рукою, Гамалиот увидел толпу людей, которые шли к его дому.

Тут были вестники из Иерусалима, пришедшие с известиями к Менахему, и галилейские поселяне, и идумеи, и ессеи в белых одеждах. Идя по дороге, они спорили между собою, смущая гулом нестройных голосов тихую негу вечера.

И так подошли к дому Менахема, иные звеня запыленными доспехами и все не переставая спорить. Когда же подошли близко, то стали, и Менахем спросил, в чем у них спор.

Вперед выступили вестники и сказали:

— Мы идем с вестями из Иерусалима и прежде всего выслушай нас.

Менахем сказал: «Говорите», и они рассказали Гамалиоту:

— После того как ты и многие другие удалились из Иерусалима, чтобы призвать на помощь страну,— в Иерусалим возвратился царь Агриппа, бывший в отсутствии. Увидев, что народ готовится к свержению ига, он огорчился, думая о своей власти... Ибо, если он примкнет к народу, то римляне, в случае победы, свергнут его с престола. Тоже и иудеи,— если пристанет к римлянам. Царь Агриппа имеет престол и потому готов примириться с рабством. Собрав народ, он обратился к нему с увещанием. Народ стоял внизу на улицах, а царь стоял на высоте переходов. Сестру же свою Веронику, любимую народом за кротость, поставил против себя на кровле Асмонеева дома, приказав ей на виду у всех проливать слезы. Так хотел силой своего изощренного

красноречия смутить мысли народа, а женскими слезами — залить пламя народного гнева. В речи своей Нерона называл «кротким правителем», а римлян — «великодушными победителями» и говорил: «Ничего так не смягчает боль от ударов, как кротость и терпение обиженных...» И смутил многих. Теперь в разных концах страны повторяют слова Агриппы, и в единодушно восставшем народе посеян раздор. И вот эти, с нами пришедшие, тоже держатся разных мыслей и спорят...

Когда вестники кончили рассказ, тогда выступили вперед Матафия и Захария, купцы, и сказали Менахему:

— Агриппа прав, а ты и твои сеете зло: твой отец погиб на войне и погубил наших отцов, неповинных в мятеже, и ты хочешь мятежом погубить нас, мирно торгующих. Ты не дорожишь своею жизнью, потому что у тебя нет богатства, а мы дорожим. Будь же справедлив, мудрый Менахем, сын погибшего Иегуды.

Менахем холодно ответил купцам:

— Мой отец погиб, и ваши отцы тоже погибли... Мой отец погиб с оружием, а ваших отцов убили разъяренные победители; но воистину говорю вам: не мой отец погубил ваших отцов, а наоборот — они погубили доблестного Иегуду.

И купцы спросили: «Как это?» Менахем ответил:

— Иегуда исполнял свой долг, сопротивляясь насилию завоевателей. Так делали доблестнейшие мужи у всех народов: парфян, и нумидийцев, и мавров. И если бы все исполняли этот долг, то Рим не дерзал бы выйти за свои пределы, и на земле был бы мир, и земля не стонала бы под игом. И мой отец был бы жив. Но ваши отцы так же, как малодушные из других народов, оставили своих защитников без помощи, и они погибли, а нам, сынам тех людей, достался позор рабства. Вот что отвечу я вам, торговцы... Идите!..

Тогда подошли к нему ессеи в белых одеждах и сказали:

— Ты сеешь зло, мудрый Менахем, учением, которое в гордости своей стремится проникнуть во все, что было, что есть и что будет. Не довольно ли человеку знать закон Моисея и еще — как пахать землю?.. Ты сеешь

зло также учением, которое зовет на борьбу!.. И горе тебе, Менахем, сын Иегуды! Когда осаждают город, и город сопротивляется, то осаждающие предлагают жизнь кротким, а мятежных предают смерти. Мы проповедуем народу кротость, чтобы он мог избегнуть гибели... А мятежные умирают смертию... И поэтому мы — живые люди, а вы обречены на смерть... Чье же учение лучше?..

И они сказали ему притчу, которую Менахем слушал со вниманием, и другую, и третью, в которых говорилось, что борьба — зло.

— Воду,— говорили они,— не сушат водой, но огнем, и огонь не гасят пламенем, но водой. Так и силу не побеждают силой, которая есть зло.

И ученики Менахема бен-Иегуды смутились.

Но сам Менахем не смутился и ответил:

— Правду сказали вы, кроткие ессеи: когда город сопротивляется, то осаждающие направляют оружие на тех, кто его защищает; тем же, кто склонен сдаться, обещают жизнь, чтобы склонить большее число к сдаче...

Да, это правда! Но когда на город нападают грабители и никто не смеет встать на защиту, что тогда делают насильники?.. Не избивают ли они всех без различия, не видя никакой разницы, ни причины для милости?.. Вспомните Флора: не убивали ли его воины и тех, кто выходил навстречу легионов с кротким приветом? А ныне Кестий, воюя с нами, привлекает вас обещанием безопасности и покровительства! Не видны пути господни смертному оку: быть может, мы, защитники свободы, погибнем, а вы останетесь с детьми и с детьми детей. Тогда, кроткие ессеи, не вспомните ли вы с благодарностью о нас, мятежных, привлекших на себя весь гнев насильников и своею гибелью купивших вам мир и спокойствие?.. Будьте же благодарны гибнущим вы, кроткие и сохраняющие жизнь; ибо ваша кротость получает цену лишь посредством нашей строптивости, а ваше спокойствие подобно цветам, расцветающим на полях, удобренных нашею кровью...

— И еще отвечу вам на ваши доводы:

Вы прибегаете к уподоблениям и притчам. Это мехи,

в которые можно влить вино худое и хорошее; но по мехам нельзя узнать, какое вино худо и какое хорошо; вино узнается в употреблении.

Так и истина познается и доказывается не уподоблением, но опытом, который есть проба истины...

Сила руки не зло и не добро, а сила; зло же или добро в ее применении. Сила руки — зло, когда она подымается для грабежа и обиды слабейшего; когда же она поднята для труда и защиты ближнего — она добро.

И если вы думаете, что ангел, раскрывающий смысл уподоблений, служит только вашей истине, то в этом вы ошибаетесь. Огонь не тушат огнем, а воду не заливают водой. Это правда. Но камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу — силой... И еще: насилие римлян — огонь, а смирение ваше — дерево. Не остановится, пока не поглотит всего. Флор избивал даже самых кротких, а теперь Кестий обещает пощаду даже сражавшимся. Это потому, что вместо вашего дерева — римляне встретили наше железо... Насилие питается покорностью, как огонь соломой. А гневная честь родит в насильнике воспоминание о пользе кротости. Таковы мои уподобления...

И ангел притчей не вам одним раскрывает их тайну. Я тоже беседовал с ним, и послушайте, что он рассказал мне.

И рабби Менахем рассказал ученикам своим и пришедшим к нему ессеям следующую притчу:

— Однажды бог сжалился над землею, сплошь покрытою злом и бедствиями. И сказал: «Я пошлю людям ангела, которого еще не видела земля...» И он позвал к себе невинного ангела, которому имя «Неведение зла».

Во взоре небожителя была такая глубокая ясность, такая тихая радость и кротость невинности, что всякий раз, когда взор бога, слишком долго обращенный на грешную землю, омрачался,— он смотрел в лицо своего любимца, в его синие, сияющие глаза, и сам прояснялся... Ангел предстал перед богом в своей белоснежной одежде и поднял на него свои взоры, в которых искрилось юное неведение...

И бог сказал своему ангелу: «Лети вот туда, на землю, пусть люди увидят твою ясность и устыдятся мрачного позора. Устыдятся и бросят. Твое неведение так сильно, что и они забудут о пороке».

Ангел улыбнулся и тихо понесся к земле.

Многие его видели, и кому случалось взглянуть в его чистые глаза, тот просветлялся... И несчастный забывал свое горе, а злой забывал свою злобу, и кругом ангела злоба смолкала, а он летел дальше, и по-прежнему глаза его были ясны, потому что он не ведал зла.

Однажды он летел над землей и увидел в лесу человека. Человек шел по тропе, прислушиваясь к лесному шуму, и озирался, потому что за ним гнались люди.

Но ангел не знал, зачем люди гонятся за человеком, и хотел спуститься к несчастному и предстать перед ним в чаще, сияя своей чистотой и кроткой невинностью.

Но в это время тот человек подошел к жилищу другого человека, который сидел на пороге, и, упав в изнеможении перед домом, беглец сказал:

«Я не могу идти дальше, я утомлен, и за мною погоня, и меня убьют. Дай мне приют и защиту под твоим кровом».

И человек ответил: «Я знаю, кто тебя гонит. Их отцы и деды всегда гнали невинных, а мои отцы и деды давали приют слабым и угнетенным!.. И я дам тебе приют. Войди в мой дом и усни... Но прежде, дай, я разобью твои цепи, как делали мои отцы и деды и завещали мне».

И он сломал цепи и сильной рукой бросил их далеко, сказав: «Да не осквернится дом отцов моих и дом моих детей цепями рабства!»

И гонимый человек вошел в дом и уснул, а ангел все слышал и видел и ничего не понял, потому что имя его было Неведение.

Он склонился над истомленным, и улыбка заиграла на устах спящего, и душа его стала ясна, а сон крепок.

И потом ангел подошел к хозяину, сидевшему на пороге, но хозяин не увидел ангела Неведения, потому что взоры его были устремлены в лес. Он сторожил сон своего гостя.

Тогда ангел полетел дальше.

И невдалеке встретил людей, усталых, измученных и разъяренных. Пот и злоба застилали их глаза, и они не

видели, что перед ними ангел, а только спрашивали,— не видел ли он человека в цепях.

И ангел протянул с ясной улыбкой руку к дому, где видел человека в цепях, и сказал: «Идите за мной,— он там».

И сам пошел впереди и привел их к дому, где беглец спал с улыбкой на лице, потому что душа беглеца была ясна.

И только хозяин заслышал шаги людей и увидел идущих. Он быстро поднялся и вошел в дом.

И, разбудив спавшего, сказал ему: «Брат, ты отдохнул. Уходи из моего дома и спеши уйти подальше, потому что сюда приближается погоня...»

Человек испугался и сказал:

«Они убьют меня в лесу. Я слишком долго спал у тебя и потому не успею уйти... Горе мне, я погиб».

Но хозяин ответил:

«Уходи скорее, а я займу их здесь. Отцы и деды завещали мне хранить сон гостя, и еще никто не страдал от того, что спал в моем доме».

Беглец поверил и пошел в лес, а хозяин взял оружие и стал на пороге.

И люди погони, подойдя, увидели хозяина и сказали:

«В твоем доме есть человек, которого мы ищем убить. Отдай нам его».

Но хозяин отвечал:

«Ваши отцы и деды всегда гнали невинных, а мои отцы завещали мне хранить сон гостя».

Тогда люди обнажили мечи, а ангел стоял и не понимал ничего, потому что имя его было Неведение.

И сталь скрестилась со сталью и громко звенела и визжала, оспаривая жизнь человека, который защищал жизнь другого...

И долго сталь сверкала, скрежетала и звенела, пока, наконец, с коротким шипением змеи не впилась в грудь защитника. И он упал на порог своего дома, обагренный кровью...

Эта кровь брызнула из раны и попала на белоснежную одежду ангела и осталась на ней алым пятном. А слух ангела был поражен предсмертным стоном человека, которого он погубил по неведению...

Гонители же кинулись в дом и никого не нашли. И, выйдя оттуда, сказали хозяину:

«Вот ты скрыл от нас истину и сам умираешь».

А хозяин ответил:

«Я скрыл от вас истину, но моя правда ясна перед богом, потому что я умираю, защитив слабого, как делали мои отцы и деды. И свою кровь я завещаю моим детям и детям вашим».

И с этими словами он умер, а ангел, слышавший все слова, не понял их смысла, потому что его имя было Неведение...

Но лишь только взгляд ангела упал на алую кровь,— ее отблеск отразился в его глазах, и они потеряли свою прежнюю ясность... Он поднял их на людей с выражением жалобы и испуга, а затем, в ужасе смерти, поднялся к престолу бога и стал перед ним. И бог взглянул в его глаза и на его одежду...

Ангел стоял перед ним, и в глазах его не было ясности, а было смущение, и боль, и стыд, потому что он был обагрен кровью. И глаза ангела были мутны, потому что в них не было уже чистого неведения прежних времен, но они не засияли еще скорбным познанием.

И бог омрачился, а ангел сказал с упреком:

«О Адонаи, Адонаи!.. Вот куда ты послал своего любимца... вот что люди сделали со мною... на моем сердце теперь камень...»

И бог, глядя на ангела, заплакал:

«О люди, люди! Род жестоковыйный и неисправимый,— что вы сделали с моим любимцем! Исполнилась мера долготерпения моего, и я пролью на вас гибель...»

И, обратившись к ангелу, спросил:

«Как это случилось с тобою и где потерял ты свою прежнюю ясность?»

Тогда ангел рассказал Адонаю все, что с ним было:

«В лесу я видел человека в цепях и другого, сидевшего на пороге хижины. Они говорили что-то о гонениях и о защите, но я ничего не понял. Потом утомленный человек вошел в хижину, а я полетел дальше... Я хотел предстать пред ними, но они меня не видели, потому что были заняты другим...»

«Им не нужна была твоя ясность,— сказал бог.— Ра-

нее ты должен бы предстать перед гонителями, а перед гонимым после».

«Я не знал,— сказал на это ангел.— И дальше я встретил других людей, которых глаза застилали пот и вражда. Они спрашивали, не глядя на меня,— где человек в цепях. Я улыбнулся им и указал хижину...»

Бог поник головой и сказал:

«Горе, великое горе! . Ты сделал не то, что было нужно».

А ангел рассказал до конца и воскликнул:

«Ты сам послал меня на землю, ты виновен в том, что случилось, а не я!.. Сними же тяжесть, которая давит мне сердце, сними с моей одежды эти отвратительные алые пятна!.. Сделай, предвечный, чтобы *я не знал*, как прежде, чтобы в душе моей опять воцарилась ясность святого неведения...»

И ангел, рыдая, склонился перед престолом бога.

Но бог ответил:

«Не знаешь сам, о чем просишь. Я не сделаю этого, но сделаю другое: вместо *Неведения* я дам тебе *Скорбное понимание*».

И бог рассказал ангелу, какая кровь обагрила его одежду, и сказал ему:

«Я заповедаю тебе носить эту кровь, как святыню. Это чистая кровь, пролитая на защиту слабого. И, зная это,— ты будешь скорбеть, а неведение никогда к тебе не возвратится...

Даже и я не могу изгладить на скрижалях времен то, что раз было в прошедшем. И неужели ты хочешь, чтобы назади осталось все то, что было, а в твоем сердце царила бы ясная радость?.. Того ли желаешь, о том ли просишь? .»

И, пока бог говорил, в глазах ангела исчезла смущенная боль, и засветилось в них скорбное знание, и он ужаснулся и упал перед престолом божиим и воскликнул:

«Нет, всемогущий!.. Не хочу ясности неведения!.. Оставь мне навсегда мою скорбь».

И бог поднял ангела и сказал:

«Ты по-прежнему будешь моим любимцем, и моя любовь станет к тебе еще больше... Но отныне имя тебе будет уже не *Неведение*... Твое имя *Великая скорбь*...»

И ангел поднялся и поднял глаза на бога; и бог

опять с любовью смотрел в эти глаза и видел в них... скорбь.

И ангел сказал: «Теперь, господи, отпусти меня опять на землю... Я снесу священную кровь праведника детям его и детям убийц... И пусть, когда они вырастут, ясность заменится в их глазах скорбью познания...

И тогда первые будут готовы встать на защиту слабых, по обычаю своего рода, и будут исполнять завещание отцов до тех пор, пока дети гонителей поймут всю скорбь, истекающую из завещания насильников».

И, преклонясь перед престолом бога, ангел поднялся и, взмахнув крылами, понесся к земле, а бог с любовью следил за тихим полетом Скорби...

. .

Пока Гамалиот говорил притчу, вечер одел землю своею синею ризой.

И земля утонула в сумраке, а в небе зажглись огни господни, и опять пламенный меч засиял в вышине, обращаясь к стороне Иудеи.

И сердца всех смирились и стихли, а в души вступила благоговейная робость перед знамением воли господней. И все молчали, прислушиваясь к тишине ночи. Людям казалось, что они слышат грозный бег звезды в бесконечных пространствах,— звезды, знаменующей неотвратимые события.

А Гамалиот встал на ступенях своего дома, поднял руки к синеве неба и, весь озаренный отблеском небесных огней, воссылал мольбы к всевышнему:

— О Адонаи, Адонаи!..

Ты посылаешь на землю знамения, но не открываешь их смысла. В этой земле, на которую обращено лезвие меча твоего гнева,— ныне есть угнетатели и угнетенные. Первым ли, или вторым грозишь ты этим знамением?..

Да будет воля твоя, всевышний, но вот к тебе моя горячая молитва. Прими ее ты, восседающий в горних и мудрым оком видящий бесконечные времена. В тебе исполнение надежд, в тебе разрешение неведомых, в тебе примирение...

И если ты, в бесконечной мудрости, судил в наше время гибель правому делу и еще раз дашь торжествовать насилию,—

И если нам, защитникам, суждено погибнуть, а угнетатели воздвигнут алтари торжества и нечестия на месте твоих алтарей,—

Да будет!..

Но исполни же просьбу обреченных, исполни нашу просьбу, всевышний!

Пусть никогда не забудем мы, доколе живы, завета борьбы за правду.

Пусть никогда не скажем: лучше спасемся сами, оставив без защиты слабейших.

Пусть ни один наш удар не будет направлен против неповинного в насилии.

Пусть никогда не посягнем на святость чужих алтарей, помня поругание своих.

Пусть мысли наши сохраняют ясность, дабы направлять стопы наши по пути правды, а удары рук — на защиту, а не на утеснение.

И когда будут смежаться наши очи в виду смерти,— не отыми у нас, Адонаи, веру в торжество правого дела на земле.

Чтобы мы знали, что закон правды непреложен, как непреложен закон природы: вот ныне грозное знамение пламенеет в синеве неба, но оно пробежит и исчезнет. А кроткая луна, которая ныне мало заметна,— будет восходить над землей в свое время от века и до века.

Когда же пробьет час твоей воли и мы погибнем, пусть ангел скорби осенит своим крылом наши могилы и поведает о нас нашим детям и детям врагов наших, чтобы и наша смерть служила правому делу.

И я верю, о Адонаи, что на земле наступит твое царство!..

Исчезнет насилие, народы сойдутся на праздник братства, и никогда уже не потечет кровь человека от руки человека.

Тогда ангел скорби, радостно взмахнув своими крылами, поднимется к небу, а на земле будет радость и мир.

Пусть тогда люди вспоминают о нас, несчастных, в жестокое время проливших свою кровь для дела защиты, а не для утеснения. Аминь!..

1886

Тени

Фантазия

I

Это было месяц и два дня спустя после того, как, при громких криках афинского народа, судьи постановили смертный приговор философу Сократу за то, что он разрушал веру в богов. Он был для Афин то же, что овод для коня. Овод жалит коня, чтоб он не заснул и бодро шел своею дорогой. Философ говорил афинскому народу: «Я твой овод, я больно жалю твою совесть, чтобы ты не заснул. Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, афинский народ!»

И народ, в припадке жестокой досады, пожелал избавиться от своего овода. «Быть может, доносчики Мелит и Анит оба не правы,— говорили граждане, расходясь с площади после приговора.— Но что же это, наконец, такое, и куда он идет? Он плодит недоумения, он разрушает мнения, твердо установленные веками, он говорит о новых добродетелях, которые надо познавать и разыскивать, он говорит о божестве, которое нам еще неведомо. Дерзкий, он считает себя умнее богов!.. Нет, спокойнее нам вернуться к старым, хорошо знакомым божествам. Пусть они не всегда справедливы, пусть распаляются порой неправедным гневом, а другой раз и нечестивою похотью даже к женам смертных. Но не с ни-

ми ли жили наши предки в спокойствии души, не с их ли помощью совершали славные подвиги? А теперь образы олимпийцев померкли, и старая добродетель расшатана. Что же будет дальше, и не должно ли одним ударом положить конец нечестивой мудрости?»

Так говорили друг другу афинские граждане, расходясь с площади под покровом синего вечера. Они решили убить беспокойного овода, в надежде, что после этого лица богов опять просветлеют. Правда, в умах граждан порой вставал кроткий образ чудака-философа; порой они вспоминали, как мужественно делил он с ними при Потидее труды и опасности; как он один защищал их самих от позора несправедливой казни военачальников после аргинузской победы; как один он против тиранов, убивших полторы тысячи граждан, осмелился возвысить голос, спрашивая на площадях о пастырях и овцах. «Не тот ли пастырь,— говорил он,— может назваться добрым, который приумножает и бережет свое стадо? Или, напротив, добрые пастыри призваны уменьшать количество овец и разгонять их, а добрые правители — делать то же с гражданами? Исследуем, афиняне, этот вопрос!» И от вопроса одинокого, безоружного философа лица тиранов бледнели, а глаза юношей загорались огнем негодования и честного гнева...

Когда афиняне, расходясь с площади после приговора, вспоминали все это, тогда их сердца сжимало смутное сомнение: «Уж не совершили ли мы над сыном Софрониска жестокую неправду?» Но тогда добрые афиняне смотрели в гавань и на море. При свете угасавшей зари на синем понте еще мелькали вдали пурпуровые паруса острогрудого корабля делосских празднеств. Корабль ушел из гавани в этот день и вернется лишь через месяц, а до тех пор в Афинах не может пролиться кровь ни виновного, ни невинного. В месяце же много дней, а часов еще больше. Кто помешает сыну Софрониска, если уж он осужден невинно, убежать из тюрьмы, а многочисленные друзья, наверное, даже помогут? Разве так трудно богатому Платону, Эсхину и другим подкупить тюремную стражу? Тогда беспокойный овод улетит из Афин к фессалийским варварам или в Пелопоннес, или еще дальше, в Египет... Афины не услышат более его назойливых речей, а на совести добрых граж-

дан не будет этой смерти. И все, таким образом, обойдется ко всеобщему благополучию...

Так многие рассуждали про себя в этот вечер, восхваляя мудрость демоса и гелиастов, а втайне питая надежду, что беспокойный философ уберется из Афин, убежит от цикуты к варварам, освобождая сограждан в одно время и от себя, и от угрызений совести за невинную смерть.

Тридцать два раза с тех пор солнце выходило из-за океана и опять погружалось в него, а до того дня, когда афиняне решили воздвигнуть Сократу памятник,— осталось тридцатью двумя днями меньше. Корабль из Делоса вернулся и, точно стыдясь за родной город, стоял в гавани с печально упавшими парусами. На небе не было луны, море колыхалось под тяжелым туманом, и огни на холмах мерцали сквозь мглу, точно прижмуренные очи людей, одержимых стыдом.

Упрямый Сократ не пожалел совести добрых афинян. «Простимся! Вы идите к своим очагам, а я пойду умирать,— сказал он судьям после приговора.— Не знаю, друзья, кто из нас выбирает себе лучший жребий». Когда срок возвращения корабля стал приближаться, многие из сограждан почувствовали беспокойство. Неужели же этот упрямец в самом деле умрет? И они принялись стыдить Эсхина, Федона и других учеников и друзей Сократа, подстрекая их усердие. «Неужто,— говорили они с едкой укоризной,— вы допустите, чтоб ваш учитель умер? Или вам жаль несколько мин на подкуп сторожей?» Напрасно Критон упрашивал Сократа согласиться на побег и горько жаловался, что общая молва упрекает их в недостатке дружбы и в скупости,— упрямый философ не пожелал сделать удовольствие ни своим ученикам, ни доброму афинскому народу. «Исследуем этот вопрос,— говорил он.— Если окажется, что мне надо бежать,— я убегу; а если нужно умереть, то умру. Припомним: не говорили ли мы раньше, что не смерть должна страшить разумного человека, а неправда? Справедливо ли соблюдать нами же установленные законы, пока они нам лично приятны, а неприятные нарушать? Кажется, память мне не изменила: ведь мы действительно что-то говорили об этих предметах?»

— Да, говорили,— ответил ученик.

— И, кажется, все были в этом вопросе согласны?

— Да.

— Но, может быть, правда есть правда для других, а не для нас?

— Нет, правда одинакова для всех, и для нас тоже.

— Но, может быть, когда нам, а не другим приходится умирать, то и правда превращается в неправду?

— Нет, Сократ, правда остается правдой при всех обстоятельствах.

Когда таким образом ученик последовательно согласился со всеми посылками Сократа, философ, улыбаясь, перешел к умозаключению:

— Но если так, друг мой, то не следует ли, пожалуй, мне умереть? Или уж моя голова так ослабела, что я не в состоянии сделать верного заключения?.. Тогда поправь меня, добрый друг, и укажи правильный путь моей заблудившейся мысли.

Ученик закрыл лицо плащом и отвернулся.

— Да,— сказал он,— я вижу теперь, что ты непременно умрешь...

И в этот темный вечер, когда море металось и глухо шумело под туманом, а изменчивый ветер шевелил паруса кораблей с тихим и грустным недоумением; когда на улицах Афин граждане, встречаясь, спрашивали друг друга: «Он умер?» — и голоса их звучали робкою надеждой, что это неправда; когда первое дыхание проснувшейся совести, как первый предвестник бури, уже шевельнуло сердце афинского народа и даже, казалось, лица домашних богов устыдились и потемнели,— в этот вечер, с закатом солнца, упрямец выпил чашу смерти...

Ветер крепчал, сильнее закутывая город пеленой морских туманов, и начинал с яростью трепать паруса, запоздавшие в гавань. И Эриннии заводили свои мрачные песни в сердцах граждан, возбуждая в них грозу, от которой впоследствии погибли обвинители Сократа... Но в тот час эти первые порывы раскаяния метались еще смутно и неясно. Граждане еще более сердились на Сократа, зачем он не доставил им облегчения своим побегом в Фессалию; злились на учеников его, которые ходили в последние дни печальные, мрачные, как живые упреки; злились на судей, у которых не бы-

ло ни благоразумия, ни мужества, чтобы воспротивиться слепой ярости возбужденного народа; злились на самых богов. «Вам, боги, принесли мы эту жертву,— говорили многие,— радуйтесь, ненасытные!»

«Не знаю, кто из нас берет лучший жребий!» — вспоминались слова Сократа, последние слова его к судьям и к народу, собранному на площади. Теперь он лежал в своей тюрьме, под плащом, спокойный и неподвижный, а над городом нависли печаль, недоумение, стыд... Он опять стал мучителем города, сам уже недоступный мучению... Овод был убит, но мертвый он жалил свой народ еще больнее... Не спи, не спи эту ночь, афинский народ! Не спи,— ты совершил жестокую, неизгладимую неправду!

II

В эти печальные дни из учеников Сократа воин Ксенофонт находился в далеком походе с десятью тысячами, пробивая себе среди опасностей путь к милой родине. Эсхин, Критон, Критовул, Федон и Аполлодор были заняты приготовлением скромных похорон, а у Платона горела вечерняя лампа, и лучший из учеников философа записывал на пергаменте его дела, слова и поучения, которыми завершилась жизнь мудреца. Ибо, как говорит великий поэт,

Листьям в дубраве подобны сыны человеков:
Ветер одни по земле расстилает, другие — дубрава,
Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают...
Так человеки: одни нарождаются, те погибают.

Однако мысль не гибнет, и истина, достигнутая великим умом, как факел в темноте, освещает пути следующих поколений.

Был и еще ученик Сократа. Пылкий Ктезипп еще недавно считался самым веселым и самым беспечным из афинских юношей; он боготворил только красоту и преклонялся перед Клиниасом, как совершеннейшим ее воплощением. Но с некоторых пор, и именно с того времени, как познакомился с Сократом, он потерял и веселье, и беспечность, а в толпе Клиниасовых друзей его заменили другие, и он смотрел на это равнодушно. Строй-

ность мысли и гармония духа, которые он встретил у Сократа, казались ему теперь во сто крат более привлекательными, чем стройность стана и гармония в чертах Клиниаса. Всеми силами своей пылкой души он привязался к тому, кто нарушил девственное спокойствие его собственной души, раскрывшейся навстречу первым сомнениям, как почки молодого дуба раскрываются навстречу свежему весеннему ветру.

Теперь, в эти горькие минуты, он нигде не мог найти успокоения,— ни у домашнего очага, ни на улицах притихшего города, ни в обществе единомышленных друзей. Боги очага, домашние и народные боги стали ему противны: «Я не знаю,— говорил он,— лучшие ли вы из тех, кому бесчисленные поколения народов сжигают благовония и приносят жертвы. Но знаю, что в угоду вам слепая толпа погасила яркий светильник истины и принесла в жертву лучшего из смертных!»

Улицы и площади, казалось Ктезиппу, еще оглашаются криками неправедного суда. Здесь некогда Сократ один воспротивился бесчеловечному приговору судей слепой ярости черни, требовавшей смерти аргинузским вождям [1]. Теперь не нашлось никого, кто бы сумел защитить его с такою же силой. В этом Ктезипп винил и себя, и товарищей, и вот отчего ему хотелось в этот вечер избавиться от присутствия всех людей и даже, если возможно, от себя самого.

Он пошел к морю. Но здесь его тоска стала еще тяжелее. Казалось, под покровами из тумана опечаленные дочери Нерея метались и бились о берег, оплакивая лучшего из афинян и самый город, ослепленный безумием. Волны летели одна за другой, волны плескались о каменные скалы с непрерывным жалобным рокотом,

---

[1] В битве при Аргинузах афиняне одержали блестящую победу. После битвы наступила буря, и, щадя живых, вожди недостаточно позаботились о мертвых, которые остались без погребения. Тогда против счастливых вождей поднялись в Афинах страсти суеверной толпы. Родственники убитых явились на собрание в траурных платьях, обвиняя вождей в том, что теперь умершие останутся вечными скитальцами; здесь выступило древнее верование, гласившее, что душа не покидает тела и вместе с ним сходит в недра земли. Сократ один воспротивился приговору, основанному на угождении грубому суеверию.

который раздавался в ушах Ктезиппа, как траурное, намогильное пение.

Тогда он отвернулся и пошел от берега все прямо, не глядя перед собой и не заботясь даже о дороге. Мрачная скорбь затемнила его сознание и нависла над ним, как темная туча. Он забыл о времени, о пространстве, о собственном существовании и весь полон был одною гнетущею мыслью о Сократе... «Вчера он *был*, вчера еще раздавались его кроткие речи. Как может быть, что его *нет* сегодня? О ночь, о вы, великаны го́ры, окутанные туманными нимбами, ты, рокочущее море, обладающее собственным движением, вы, неспокойные ветры, несущие на крыльях дыхание необъятного мира, ты, звездный свод, покрытый летучими облаками, ты, тихо сверкающая зарница, раздвигающая их молчаливые гряды,— возьмите меня к себе, откройте мне тайну этой смерти, если вы ее знаете! А если не знаете, дайте моему неведению ваше бесстрастие. Возьмите у меня эти мучительные вопросы,— я не в силах более носить их в груди без ответа и без надежды на ответ... А кто же ответит, если уста Сократа смежило вечное молчание, а на его взоры налегла вечная тьма?»

Так говорил Ктезипп, обращаясь к морю, к горам и мракам ночи, которая между тем, как всегда, совершала над спящим миром свой незримый, неудержимый полет. Прошло много часов, прежде чем Ктезипп вздумал оглянуться, куда привели его шаги, не управляемые сознанием. Когда же он оглянулся, то темный ужас охватил его душу.

III

Казалось, неведомые божества вечной ночи услышали дерзкую молитву. Ктезипп глядел и не узнавал места, где он находился. Огни города давно угасли в темноте, рокот моря смолк в отдалении, и теперь самое воспоминание о нем стихало в оробевшей душе. Ни один звук: ни осторожный крик ночной птицы, ни свист ее крыла, ни шорох листьев, ни журчание никогда не засыпающих горных ручьев,— ничто не нарушало глубокого молчания... И только синие блуждающие огни тихо снимались и переносились с места на место по утесам, да молчаливые зарницы вспыхивали и угасали в туманах

над вершинами, усиливая мрак своими короткими вспышками и мертвым светом открывая мертвые очертания пустыни, по которой черные расселины вились, как змеи, и скалы громоздились в диком, хаотическом беспорядке.

Казалось, все веселые боги, живущие в зеленых дубравах, в звенящих ручьях и в горных лощинах, навсегда бежали из этой пустыни; только один великий таинственный Пан притаился где-то близко в хаосе природы и зорко, насмешливым взглядом следит за ним, ничтожным муравьем, еще так недавно дерзко взывавшим к тайне мира и смерти. И слепой, не рассуждающий ужас уже разливался в душе Ктезиппа, как море заливает во время шумного прилива прибрежные скалы.

Был ли это сон, была ли это действительность, было ли это откровение неведомого божества, но только Ктезипп чувствовал, что еще одна минута — и грань жизни будет перейдена, и душа его растворится в этом океане беспредельного, бесформенного ужаса, как дождевая капля в волне седого океана в темную и бурную ночь. Но в эту минуту он услышал вдруг голоса, показавшиеся ему знакомыми, и глаза его различили при свете зарницы человеческие формы.

IV

Человек сидел на одном из каменных выступов в позе глубокого отчаяния и с плащом, накинутым на низко опущенную голову. Другой тихими шагами приближался к нему, поднимаясь с осторожностью и исследуя каждую пядь дороги. Сидевший открыл лицо и воскликнул:

— Тебя ли я видел сейчас, добрый Сократ? Ты ли идешь мимо меня в этом безрадостном месте, где я сижу уже много часов, не зная смены дня и ночи, напрасно дожидаясь рассвета?

— Да, это я, друг! А в тебе не узнаю ли я Елпидия, умершего за три дня передо мной?

— Да, я — Елпидий, богатейший из афинских кожевников, а ныне несчастнейший из всех рабов. Теперь только понимаю я справедливость слов, сказанных поэтом: лучше быть последним рабом на земле, чем властителем во мраке аида.

— Друг! Но если так тяжело тебе в этом месте, почему не идешь ты в другое?

— О Сократ! я удивляюсь тебе: как можешь ты идти в этом безрадостном мраке? Я же... в глубокой тоске сижу здесь и оплакиваю радости слишком скоро промелькнувшей жизни.

— Друг Елпидий, я, как и ты, очутился в этой тьме, когда в глазах моих угас свет земной жизни. Но внутренний голос сказал мне: «Сократ, иди в новый путь, не теряя времени»,— и я пошел.

— Но куда же пошел ты, сын Софрониска? Здесь нет ни дороги, ни герма, ни колеи, ни даже луча света. Только хаос камней, мрака и туманов.

— Это правда. Но, друг Елпидий, убедившись в этой печальной истине, не спросишь ли ты себя: что наиболее угнетает твою душу?

— Без сомненья, эта ужасная тьма.

— Итак, надо искать света. Должно быть, великий закон состоит в том, чтобы смертные сами искали во мраке пути к источнику света. Не думаешь ли ты, что это лучше, чем сидеть на месте? Я думаю именно так и потому иду. Прощай!

— О нет, добрый Сократ, не покидай меня. Ты довольно твердо ступаешь по этому адскому бездорожью. Дай мне полу твоего плаща...

— Если ты полагаешь, что и тебе это будет лучше, иди за мной, друг Елпидий.

И две тени пошли дальше, а душа Ктезиппа, исторгнутая сном из тленной оболочки, понеслась им вслед, жадно внимая звукам ясной Сократовой речи...

— Ты здесь, добрый Сократ,— послышался опять голос афинянина Елпидия.— Что же ты смолк? Разговор сокращает путь, и, клянусь Гераклом, никогда не случалось мне идти такою ужасною дорогой.

— Спрашивай, друг Елпидий. Вопрос любознательного человека вызывает ответы и родит собеседование.

Елпидий помолчал и потом спросил, собравшись с мыслями:

— Вот что. Расскажи мне, мой бедный Сократ, хорошо ли по крайней мере тебя похоронили?

— Признаюсь тебе, друг Елпидий, я не могу удовлетворить твое любопытство.

— Понимаю тебя, бедный Сократ,— тебе нечем похвастать. Вот я — другое дело! Ах, как меня хоронили, как превосходно хоронили меня, мой бедный товарищ! Я и теперь с великим удовольствием вспоминаю об этих лучших минутах... после моей смерти! Прежде всего меня обмыли и умаслили дорогими благовониями. Потом верная моя Ларисса надела на меня лучшие ткани. Искуснейшие плакальщицы в городе рвали на себе волосы, так как им обещали очень хорошую плату. В семейную усыпальницу со мной поставили одну амфору, одну кратеру с превосходно украшенными бронзовыми ручками, один фиал, затем...

— Постой, друг Елпидий. Я уверен, что верная Ларисса разменяла свою любовь на несколько мин... Однако...

— Ровно десять мин и четыре драхмы, не считая напитков, которые выпиты гостями. Редкий, я думаю, даже из богатейших кожевников может похвалиться перед душами предков таким вниманием со стороны живущих.

— Друг Елпидий, не думаешь ли ты, что это золото принесло бы больше пользы оставшимся в Афинах беднякам, чем тебе в настоящую минуту?

— Это ты говоришь, признайся, из зависти,— возразил Елпидий с горечью.— Мне жаль тебя, несчастный Сократ, хотя, между нами сказать, ты действительно заслужил свою участь... Не раз в кругу своей семьи я сам говаривал, что давно бы пора прекратить рассеиваемое тобою нечестие, ибо...

— Постой, друг. Кажется, ты имел в виду какое-то заключение, и я боюсь, что ты свернул с прямого пути. Скажи, добрый человек, куда клонится твоя нетвердая мысль?

— Я хотел сказать, что, по своей доброте, я все-таки тебя жалею. Месяц назад я и сам немало кричал в собрании, но поистине никто из нас, кричавших, не желал для тебя такой крупной неприятности. Теперь тем более, поверь, мне жаль тебя, несчастный философ!..

— Благодарю тебя. Однако, товарищ, скажи: в глазах твоих светло?

— О нет, передо мной такая тьма, что я спрашиваю себя: не это ли туманные области Орка?

— Значит, для тебя путь этот так же темен, как и для меня.

— Это верно.

— Если не ошибаюсь, ты даже держишься за полу моего плаща?

— И это правда.

— Но тогда мы оба в одинаковом положении... Ты видишь, предки не спешат насладиться рассказом о твоем похоронном торжестве, а боги, за которых ты на меня так сердился, думают о тебе так же мало, как и обо мне. Где же разница между нами, мой добрый товарищ?

— Но, Сократ, неужели боги помрачили твой рассудок настолько, что тебе не ясна эта разница?

— Друг, если тебе твое положение яснее, тогда дай мне руку и веди меня, ибо, клянусь собакой[1], ты предоставляешь именно мне идти вперед в этой тьме...

— Оставь шутки, Сократ! Оставь твои шутки и не равняй себя (потому что ведь ты безбожник) с человеком, умершим на своей собственной постели...

— А, кажется, я начинаю понимать тебя... Скажи мне, однако, Елпидий: надеешься ли ты, что будешь пользоваться твоею постелью еще когда-либо?

— Увы! не думаю.

— И было такое время, когда ты не спал на ней?

— Было... до того самого дня, когда я купил ее у Агезилая за половинную цену. Вот видишь ли... Этот Агезилай, хоть и порядочный мошенник...

— Оставим Агезилая Быть может, он торгует ее теперь у твоей вдовы за четверть цены. Не прав ли я, однако, когда говорю, что эта постель находилась лишь во временном твоем владении?

— Согласен.

— Но ведь и та постель, на которой я умер, тоже находилась в моем временном владении. Ее дал мне на время добрый Протис, тюремный сторож.

— А! если б я знал, к чему ты склоняешь речь, я не стал бы отвечать на твои коварные вопросы. Ну, слыхано ли, о Геракл, подобное нечестие: он равняет

---

[1] Обычная клятва Сократа.

себя со мною! Но ведь я мог бы уничтожить тебя, если на то пошло, двумя словами...

— Произноси их, Елпидий, произноси без страха. Едва ли можно уничтожить меня словами больше, чем это сделала цикута...

— Ну вот! Это-то я и хотел сказать. Несчастный, ты умер по приговору суда, от цикуты!

— Друг! Я это знал с самого дня смерти и даже значительно ранее. А ты, о счастливый Елпидий, скажи мне, отчего ты умер?

— О, я совсем другое дело! У меня, видишь ли, сделалась водянка в животе. Был позван дорогой врач из Коринфа, который взялся вылечить меня за две мины и половину получил в задаток... Боюсь, что, по неопытности в этих делах, Ларисса, пожалуй, отдаст ему и другую половину...

— Судя по тому, что я вижу, врач из Коринфа не сдержал своего обещания?

— Это правда.

— И ты умер именно от водянки?

— Ах, Сократ, поверишь ли: она принималась душить меня три раза, пока не залила, наконец, огонь моей жизни!..

— Скажи же мне: смерть от водянки доставила тебе большое наслаждение?

— О, злой Сократ, не смейся надо мной! Говорю же тебе: она принималась душить меня три раза... Я кричал, как бык под ножом мясника, и молил Парку поскорее перерезать нить, связывающую меня с жизнью...

— Это меня не удивляет. Но тогда, добрый Елпидий, откуда ты заключаешь, что водянка сделала свое дело лучше, чем цикута, которая покончила со мной в один раз?

— Вижу, что опять попался в твою западню, лукавый нечестивец! Не стану больше гневить богов, разговаривая с тобою, нарушителем священных обычаев.

И оба замолчали, и было тихо. Но, спустя немного, Елпидий заговорил первый:

— Что же ты смолк, добрый Сократ?

— Друг, не ты ли сам настойчиво просил об этом?

— Я не горд и умею относиться снисходительно к людям хуже меня. Оставим ссору!

— Я не ссорился с тобою, друг Елпидий, и, поверь, не хотел сказать тебе ничего неприятного. Я привык только познавать вещи посредством сравнения. Мне неясно мое положение. Свое ты считаешь лучшим, и я был бы рад узнать — почему. В свою очередь и тебе, быть может, нелишне было бы узнать истину, какова бы она ни была.

— Ну-ну, оставим это!.. Скажи, ты не боишься?

— Не думаю, чтобы чувство, которое я теперь испытываю, следовало назвать страхом.

— А я чувствую именно страх, хотя, сказать по правде, у меня меньше поводов к ссоре с богами, чем у тебя. Не кажется ли тебе, однако, что, оставляя нас здесь, на волю хаоса и собственных усилий, боги обманули наши ожидания?

— Это зависит от того, каковы были ожидания... Чего же ты ждал от богов, друг Елпидий?

— Чего ждал, чего ждал!.. Странные вопросы предлагаешь ты, Сократ!.. Если человек приносит в течение своей жизни жертвы, умирает в благочестии, своею смертию, если его хоронят со всеми обрядами, то можно бы, кажется, послать кого-нибудь ему навстречу.. Если уж Гермес занят чем-нибудь более важным, — то хоть какого-нибудь из незначительных богов, для указания пути... Правда, совесть указывает мне на одно обстоятельство... Видишь ли: много раз обещал я Гермесу тельцов, прося удачи в торговле кожами, и...

— Удачи тебе не было?

— Удача была, добрый Сократ, но...

— Понимаю, — не оказалось теленка.

— Ах, Сократ, ну, могло ли не быть какого-нибудь теленка у богатого кожевника?

— Теперь я понимаю: была и удача, и теленок, но ты оставлял их себе, Герму же не досталось ничего.

— Ты умный человек, я это говорил много раз... Увы, свои обеты я исполнял не более трех раз из десяти и с другими богами поступал не лучше, чем с Гермесом. Если и с тобой, как я думаю, случалось что-либо подобное, то не в этом ли причина, что мы теперь оставлены оба?.. Правда, я приказал Ларисcе принести после моей смерти целую гекатомбу...

— Но ведь это уже Ларисса, друг Елпидий, а обещание дано тобою.

— Это правда, это правда... Ну, а ты, добрый Сократ? Неужели ты, безбожник, поступал в отношении богов лучше меня, богобоязненного кожевника?

— Друг! не знаю, лучше ли я поступал, или хуже. Прежде я приносил жертвы, не давая обетов, а в последние годы я не давал ни тельцов, ни обещаний ..

— Как, несчастный, ни одного теленка?

— Да, друг, если бы Герму пришлось питаться одними моими приношениями, боюсь, он бы сильно отощал...

— Понимаю! Ты не занимался торговлей скотом и приносил ему от предметов другого промысла. Может быть, мину, другую из платы твоих учеников?

— Друг, ты знаешь, что я не брал платы с учеников, а промысла едва хватало на собственное прокормление. Если бы боги рассчитывали на остатки от моей суровой трапезы, они сильно обманулись бы в расчетах.

— О нечестивец! Перед тобой и я могу похвалиться святостью. Посмотрите, боги, на этого человека! Правда, я иногда обманывал вас, но порой все-таки делился с вами излишками удачной торговли. Дает много дающий что-нибудь в сравнении с нечестивцем, который не дает ничего! Знаешь что: ступай себе один. Боюсь, как бы общество подобного тебе безбожника не повредило мне во мнении богов

— Как хочешь, добрый Елпидий. Клянусь собакой, никто не должен насильно навязывать свое общество другим., Отпусти полу моего плаща и прощай. Я пойду один.

И Сократ пошел вперед, все так же твердо, хотя и исследуя на каждом шагу почву. Но Елпидий тотчас же закричал ему вслед:

— Погоди, погоди, мой добрый согражданин, и не оставляй афинянина одного в таком ужасном месте! Я только пошутил, прими мои слова в шутку и перестань торопиться. Я удивляюсь, как можешь ты видеть что-нибудь в такой кромешной тьме.

— Друг, я приучил свои глаза.

— Это хорошо. Однако я не могу похвалить тебя за то, что ты не приносил жертвы богам. Нет, не могу,

бедный Сократ, не могу! Наверное, почтенный Софрониск не тому учил тебя смолоду, и ты сам, я видел это, прежде участвовал в молениях.

— Да. Но я привык исследовать разные основания и принимать только те, которые, после исследования, оказывались разумными... Итак, пришел день, в который я сказал себе: Сократ, вот ты поклоняешься олимпийцам. За что же именно ты им поклоняешься?

Елпидий засмеялся.

— Вот это так! Право, вы, философы, не находите порой ответов на самые простые вопросы. А вот я, простой кожевник, никогда в жизни не занимавшийся софистикой... и, однако, я знаю, почему следует почитать олимпийцев.

— Скажи же, друг, поскорее, пусть и я узнаю от тебя — почему?

— Почему? Ха-ха-ха! Но ведь это так просто, мудрый Сократ.

— Чем проще, тем лучше. Но только не скрывай от меня твоего знания. Итак, почему следует чтить богов?

— Почему?.. Да ведь все делают это...

— Друг! ты знаешь хорошо, что не все. Не вернее ли сказать: многие?

— Ну, пусть многие...

— Но скажи мне, не большее ли количество людей делают зло, чем добро?

— Думаю, что это правда: зло встречается чаще.

— Итак, надлежит делать зло, а не добро, следуя за большинством?

— Что ты говоришь?

— Не я, ты сам говоришь это, я же думаю, что множество преклоняющихся перед олимпийцами не есть еще основание, и нам нужно поискать другого, более разумного. Быть может, ты находишь их заслуживающими уважения?

— Это вот верно.

— Хорошо. Но тогда новый вопрос: за что же именно ты уважаешь их?

— За их величие, это ясно.

— Пожалуй... И я, может быть, скоро соглашусь с тобой. Мне остается только узнать от тебя, в чем состоит величие... Ты затрудняешься? Поищем же ответа

вместе. Гомер говорит, что буйный Арей, ниспровергнутый камнем Паллады-Афины, покрыл своим телом семь десятин.

— Вот видишь, какое огромное пространство!

— Итак, в этом величие?.. Но, друг, вот опять недоумение. Не помнишь ли атлета Диофанта? Он выделялся целою головой из толпы, а Перикл был не выше тебя. Кого, однако, мы называем великим, Перикла или Диофанта?

— Я вижу, что величие действительно не в громадности.

— Да, величие — не громадность, это правда. Я рад, что мы кое в чем уже с тобой согласились. Быть может, оно в добродетели?

— Конечно!

— Я опять думаю то же. Теперь скажи, кто же перед кем должен преклониться: меньший ли перед бо́льшим или, наоборот, более великий в добродетели должен преклониться перед порочным?

— Ответ ясен.

— Думаю. Теперь пойдем дальше: скажи мне по совести, убивал ли ты стрелами чужих детей?

— Конечно, никогда! Неужели ты думаешь обо мне так дурно? Я не разбойник.

— И не соблазнял, надеюсь, чужих жен?

— Я был честный кожевник и хороший семьянин! Не забывай этого, Сократ, прошу тебя!

— Значит, ты не обращался в скота и своею похотливостью не давал верной Ларисса поводов мстить соблазненным тобою женщинам и ни в чем не повинным детям?

— Право, ты меня сердишь, Сократ.

— Но, быть может, ты отнял наследство у родного отца и заключил его в темницу?

— Никогда!.. Но к чему эти обидные вопросы?

— Погоди, друг. Может быть, мы как-нибудь и придем вместе к какому-либо заключению... Скажи, считал ли бы ты великим человека, который сделал все, что я сейчас перечислил?

— Ну, нет, нет! Я назвал бы такого человека негодяем и обвинил бы его публично перед судьями на площади.

— Ну, Елпидий, почему же ты не обвинял на площади Зевса и олимпийцев? Кронид воевал с родным отцом и распалялся скотскою похотью к смертным, а Гера мстила невинным девам, потерпевшим насилие от ее супруга... Не они ли вдвоем обратили несчастную дочь Инаха в жалкую корову? Не Аполлон ли убил стрелами всех детей Ниобеи, а Каллений не воровал ли быков?.. Итак, Елпидий, если правда, что менее добродетельный должен оказывать почтение большему в добродетели, то ведь не ты олимпийцам, а они тебе должны воздвигать алтари.

— Не богохульствуй, нечестивый Сократ, перестань! Тебе ли судить богов?

— Друг, их осудило нечто высшее. Исследуем вопрос: какой признак божества?.. Ты, кажется, сказал: величие, состоящее в добродетели. Не это ли же самое — единственная божественная искра в человеке? Но если ничтожною человеческою добродетелью мы измерили величие богов и мерило оказалось больше измеряемого, то отсюда следует, что само божественное начало осудило олимпийцев. Но тогда...

— Что тогда?

— Тогда, добрый Елпидий, они — не боги, а обманчивые призраки. Не так ли?

— Вот к чему приводит разговор с вами, босоногие философы! Я вижу теперь, что о тебе говорили правду: ты и видом, и всем другим походишь на рыбу-торпиль, которая своим взглядом околдовывает человека. Так же околдовал ты меня лишь затем, чтобы породить в душе моей, твердой в вере, недоумение и колебание. Вот уже в моем уме пошатнулось уважение к Зевесу... Ну, нет, говори же теперь один,— я не стану отвечать!

— Не сердись, Елпидий, я не желаю тебе зла. Если же ты устал следить за правильностью умозаключений, то позволь рассказать тебе притчу об одном милетском юноше. Ум отдыхает на притчах, а между тем и отдых бывает не бесплоден.

— Говори, если твой рассказ не очень длинен и имеет в виду хорошее нравоучение.

— Он имеет в виду истину, друг Елпидий, и я постараюсь его сократить:

Видишь ли. Когда-то, в древние времена, Милет подвергся нападению варваров. В числе юношей, уведенных в плен, был один отрок, сын мудрейшего и лучшего из всех граждан страны. Дорóгой ребенок впал в сильную болезнь и был брошен в беспамятстве, как негодная добыча.

Глубокою ночью пришел он опять в себя. Высоко над ним мигали звезды, кругом расстилалась пустыня, а вдали раздавались хищные крики зверей. Он был один...

Он был совершенно один, и, кроме того, боги отняли у него память всех событий его предыдущей жизни. Тщетно он напрягал свой ум,— в нем было так же темно и пусто, как в этой неприветливой пустыне. И только где-то, за далью туманных и неясных образов, стояла мечта об оставленной родине. В этой светлой стране чудился ему образ лучшего из всех людей, и тогда в сердце звучало слово: «Отец!..» Не находишь ли ты, что судьба этого юноши напоминает судьбу всего человечества?

— Как это?

— Не так же ли мы просыпаемся к жизни на этой земле со смутным воспоминанием о другой родине?.. И не мелькает ли у нас в душе великий образ неведомого?..

— Продолжай, Сократ. Это кажется поучительно. Я слушаю.

— Ободренный юноша поднялся на ноги и пошел нетвердыми шагами, избегая опасностей. После долгого пути, когда, казалось, последние силы готовы были изменить ему, он увидел в туманной дали огонь, который освещал тьму и разгонял холод. В усталую душу вступила тогда кроткая надежда. Воспоминания об отчем крове ожили, и юноша пошел на огонь с криком: «Это ты, это ты, отец мой!»

— Это и был дом отца?

— Нет, это была стоянка диких кочевников... Много лет после того он вел жалкую жизнь пленного раба, мечтая о далекой родине, об отдыхе на родной груди отца. Порой нетвердая рука его пыталась вызвать неясный образ из мертвой глины, дерева или камня. Бывали даже минуты, когда, усталый, он обнимал собственное

произведение, поклонялся ему и орошал его слезами. Однако камень оставался холодным камнем, и, вырастая, юноша разбивал свои изделия, которые казались ему уже жалким оскорблением его заветной мечты.

Наконец судьба привела скитальца к доброму варвару, который спросил его о причине его всегдашней грусти. Когда юноша доверил ему тоску и надежды своей души, варвар, человек мудрый, сказал:

— Мир был бы лучше, если бы в нем была такая страна и тот, о котором ты говоришь. Но по какому же признаку узнаешь ты отца своего?

— В моей стране,— ответил юноша,— чтили мудрость и добродетель, а отца моего все признавали учителем.

— Хорошо,— ответил варвар.— Надо думать, что и в тебе есть зерно его учения. Итак, возьми же посох и иди рано в путь. Ищи совершенной мудрости и правды и, если найдешь их, сложи свой посох,— это будет твоя родина и твой отец...

И юноша рано на заре пустился в дорогу...

— Он нашел, кого искал?

— Он ищет его до сих пор. Он узнал много стран, много городов, много людей. Он изучил земные пути, переплыл бурные моря, исследовал тропы светил, указующих пути в безбрежных пустынях. И всякий раз, когда в трудном пути, в темноте ночи, глазам его являлся приветный огонь, сердце его билось сильнее, и в душе вставала надежда. «Это приют в доме отца моего!» Когда же радушный хозяин предлагал истомленному страннику привет, благословение и отдых у своего очага, то растроганный юноша припадал к его ногам и говорил: «Благодарю тебя, отец мой! Не узнаешь ли ты своего пропавшего сына?»

И многие готовы были усыновить его, потому что в те времена похищения детей были часты... Но после первых восторгов юноша начинал замечать в воображаемом отце следы несовершенства, а иногда и пороков. Тогда он начинал исследовать и искушать, приставая к нему со своими вопросами о правде и неправде... И его скоро прогоняли из-под гостеприимного крова на труд и холод нового пути. Не один раз говорил он себе: «Останусь

у этого последнего очага, сохраню эту последнюю веру. Пусть будут они мне вместо отеческого крова...»

— Знаешь что: это, пожалуй, было бы всего благоразумнее, Сократ.

— Порой он думал, как и ты. Но привычка к исследованию и смутная мечта о родном отце не давали ему покоя. И опять отряхал он прах от своих ног, и опять брал страннический посох, и не всегда бурная ночь заставала его под кровлей... Не находишь ли ты, что судьба юноши опять напоминает судьбу человеческого рода?

— Почему?

— Не так же ли род людской заменяет детскую веру испытанием и сомнением? Не так же ли творит он сам образ неведомого из дерева, камня, из обряда и предания, из вдохновенной песни поэта и из догадок мудреца?.. И потом находит этот образ несовершенным и разбивает его, чтобы опять удалиться в пустыню сомнений... И все для того, чтобы искать лучшей веры, все выше и выше... И не суждено ли роду земному искать, все возвышаясь бесконечно, потому что неведомый есть бесконечность!..

— О, лукавый мудрец, о, рыба-торпиль! Я понимаю теперь, к чему ведет твоя притча!.. Ну, так я скажу тебе прямо: пусть только мелькнет свет в этой тьме, и ты увидишь, стану ли я искушать хозяина ненужными вопросами и сомнениями?

— Друг, свет уже мелькает,— ответил Сократ.

V

Казалось, слова философа должны были оправдаться. Где-то высоко, за дымною пеленой, скользнул далекий луч и исчез в горных пределах. За ним другой, третий... Казалось, там, за пределами тьмы, реют какие-то светлые гении, свершается великая тайна, чье-то чудится живое дыхание, готовится какое-то великое торжество.

Но это было далеко. А над землей тени сгущались, клубились дымные тучи, свиваясь и развиваясь, перегоняя друг друга без конца и перерыва...

Синий огонь упал с отдаленной вершины в глубокую пропасть, и тучи поднялись выше, покрывая небо до самого зенита.

А лучи уходили все дальше и дальше, как будто им не было дела до этой мрачной и затененной равнины.

Сократ стоял, следя за ними грустным взглядом. Елпидий со страхом смотрел на вершину.

— Посмотри, Сократ, что видишь ты там на горе?

— Друг,— ответил философ,— исследуем положение. Так как земная жизнь должна иметь пределы, то думаю, что предел этот на рубеже двух начал: в борьбе света и тьмы венец наших усилий. А так как у нас не отнята способность мышления, то думаю, что божеству, давшему жизнь нашей мысли, угодно, чтобы мы исследовали самые пределы наших стремлений. Итак, Елпидий, приготовимся достойным образом встретить зарю позади этих туч...

— О, добрый товарищ! Если такова заря, то я предпочел бы, чтобы вечно длилась прежняя безотрадная, долгая, но спокойная ночь... Не находишь ли ты, что время проходило у нас сносно в поучительной беседе? А теперь душа содрогается перед надвигающеюся грозой. Нет, что ни говори, а там, впереди, не простые тени безжизненной ночи... Вот еще одна Зевсова стрела метнулась в бездонную пропасть...

Ктезипп посмотрел на вершину, и ужас сковал его душу. Великие мрачные образы олимпийцев теснились, венчая гору, загораживая дорогу. Последний луч скользнул еще раз поверх туманных нимбов и умер, как слабое воспоминание. И ночь с надвигающеюся грозой воцарилась безраздельно, а темные образы заняли все небо... В середине, с головой, увенчанною нимбом, увидел Ктезипп могучего Кронида. Кругом толпились гневные фигуры старших богов, смятенные и в мрачном движении. Как стаи птиц, летящие в вечернюю даль, как пыль, взметаемая ураганом, как осенние листья, гонимые бореем, реяли длинною тучей бесчисленные меньшие божества народной веры, заполняя пространство...

Когда же тучи двинулись с вершины и мрачный ужас ринулся перед ними, обвеивая землю, Ктезипп упал ниц:

он признавался впоследствии, что в эту страшную минуту он забыл все выводы и все заключения, так как душа его умалилась и над ней властно пронесся страх...

Он только слушал.

Два голоса звучали там, где молчала перед бурей вся оцепеневшая природа. Один — могучий и грозный голос божества, другой — был слабый голос человека, приносимый ветром со склона горы, где Ктезипп оставил Сократа.

— Ты ли,— говорил голос из тучи,— дерзкий Сократ, надменный разумом, боровшийся с богами земли и неба? Не было бессмертных веселее и светлее нас, олимпийцев,— теперь давно уже проводим мы свои дни в сумерках от неверия и сомнений, воцарившихся на земле... Однако никогда еще эти туманы не сгущались так сильно, как с тех пор, когда среди любезных некогда Афин послышалось ненавистное слово твое, сын Софрониска. Почему не следовал ты заветам отца твоего? Добрый Софрониск позволял себе, особенно в молодые годы, небольшие кощунства, но все же не один раз запах его жертв радовал наше обоняние...

— Остановись, Кронид,— сказал Сократ,— и разреши мое недоумение: итак, малодушное лицемерие предпочитаешь ты исканию истины?

Вслед за этим вопросом скалы дрогнули от громового удара. Первое дыхание грозы промчалось и стихло в дальних ущельях, но склоны горы все еще дрожали, потому что все еще дрожал от гнева восседавший на ее вершине... А в пугливой тишине сгустившейся ночи слышались только дальние стоны. Казалось, это в самом сердце земли стонали от удара Кронида скованные титаны...

— Где ты теперь, дерзкий вопрошатель? — раздался насмешливый голос олимпийца.

— Я здесь, Кронид, здесь, на том же самом месте, и только твой ответ подвинет меня дальше. Я жду.

Гром заворчал в туче, как дикий зверь, удивленный бесстрашием ливийца-укротителя, когда он безоружный подходит к нему с ясным взглядом. И через несколько мгновений голос прошумел вновь над равниной:

— О, сын Софрониска! Не довольно ли тебе, что на земле ты расплодил столько сомнений, что даже

здесь, на Олимпе, они окружили нас темными облаками! Поистине, иные дни, когда ты беседовал на площадях, в академиях или в публичных раздевальнях,— нам казалось, что ты разрушил уже на земле все алтари и что это пыль от развалин несется к нам в горния... Тебе мало: ты и здесь, перед лицом моим, не признаешь власти бессмертных...

— Зевс, ты сердишься. Скажи, кто дал мне то гениальное, что тревожило всю жизнь мою душу, побуждая меня неустанно стремиться к истине?

В туче царствовало таинственное безмолвие.

— Не ты ли? Ты молчишь. Итак, я исследую дело. Или это божественное начало дано тобою, или другим. Если оно дано тобою, то тебе же я несу его в дар, как созревший плод моей жизни, как пламя от зароненной тобою искры. Смотри, Кронид, я сохранил твой дар; в лучшем углу моего сердца я взрастил твое семя. Вот он, огонь моей души, который горел в горькую минуту, когда я собственной рукой обрезывал нить моей жизни. Отчего же ты не примешь его, зачем ты сердишься, как плохой наставник, которому старость мешает разглядеть, что отрок-ученик чертит на послушном воске его собственные повеления?.. Кто же ты, приказывающий мне погасить священный огонь, освещавший мою жизнь с тех пор, как в нее проник первый луч святой мысли? Солнце не говорит звездам: «Угасните, чтобы мне взойти». Оно всходит, и слабое сияние звезды утопает в свете бесконечно сильнейшем. День не говорит факелу: «Погасни,— ты мне мешаешь». Он разгорается, и факел дымит, но не светит. Божество, к которому я иду,— не ты, боящийся сомнений. Он, как день, он, как солнце, светит сам, не угашая ничьего света. Тот, который скажет мне: «Странник, дай мне твой факел, он не нужен тебе больше, потому что я — источник всякого света...» Тот, кто скажет: «Сложи на моем алтаре слабый дар твоих сомнений, потому что во мне разрешение...» Вот мой бог, которого я ищу! Если это ты, то прими мои вопросы. Никто не убивает своего детища, а мои сомнения — порождение вечного духа, которому имя — истина!

Темные тучи разорвались от края и до края небесными огнями, и в криках бури опять раздался могучий голос:

— К чему вели твои сомнения, надменный мудрец, отринувший смирение, лучшее украшение земных добродетелей? Ты оставил приютный кров простодушной веры, чтобы вступить в пустыню сомнений. Ты видел его,— этот мертвый простор, оставленный живыми богами. Тебе ли одолеть его, ничтожному червю, ползающему в прахе своего жалкого отрицания? Тебе ли оживить мир, тебе ли постигнуть неведомое божество, которому ты не умеешь молиться? Ничтожный мусорщик, запачканный пылью разрушенных алтарей,— ты ли тот зодчий, которому суждено воздвигать новые храмы? На что же надеешься ты, отринувший старых богов и не знающий нового? Вечная ночь неисходных сомнений, мертвая пустыня, лишенная живого духа,— таков ваш мир, жалкие черви, истачивающие живую веру, прибежище простых сердец, вселенную обратившие в мертвый хаос... Что же?.. Где ты теперь, ничтожный и дерзкий мудрец?

Буря одна властно гремела на просторе... Потом стихли громы, ветер смежил свои крылья, и только потоки дождя лились во мгле, точно обильные, неудержимые слезы, готовые поглотить землю, покрыть ее потоком неутолимой скорби...

И Ктезиппу казалось, что они поглотили учителя, что навсегда уже смолк бесстрашный голос, привыкший к неустанным вопросам. Но через минуту он раздался снова на том же месте:

— Слова твои, Кронид, попадают лучше твоих громов. Ты бросил в смущенную душу то, что давно уже и не раз звучало в моем сердце, и каждый раз оно изнемогало под бременем невыносимой скорби. Да, я оставил приютный кров, где царила простодушная вера; да, я видел ее, пустыню, лишенную живых богов, окутанную ночью непроглядных сомнений. Но я бесстрашно вступил в нее, потому что мне светил мой гений, божественное начало всякой жизни. Исследуем вопрос: не во имя ли того, кто дает жизнь, курятся фимиамы на твоих алтарях? Ты — похититель чужого: не тебе, а ему поклоняется простодушная вера, но не его ли также ищет неусыпающее сомнение? Да, я не зодчий, я не создатель нового храма, не мне было суждено на старом месте поднять от земли к небу величавое здание грядущей веры.

Я — мусорщик, запачканный пылью разрушения. Но, Кронид, совесть говорит мне, что и работа мусорщика нужна для будущего храма. Когда на расчищенном месте стройно и величаво воздвигнется чудное здание и в нем воцарится живое божество новой веры, я, скромный мусорщик, приду к нему и скажу: «Вот я, без устали ползавший в прахе отрицания. Окруженному туманом и пылью, мне некогда было поднять глаза от земли, в моем уме лишь слабо рисовалась мечта будущего созидания... Отринешь ли ты меня, праведный, истинный и великий?..»

В туче царило удивленное молчание, а Сократ возвысил голос и продолжал:

— Солнечный луч падает на грязную лужу, и легкий пар, оставив на земле грязные части, тяжелые и бренные, тянется к светлому Гелиосу и тает, растворяясь в эфире. Ты тронул своим лучом мою грязную душу, и она устремилась к тебе, неведомый, чье имя — Тайна... Я искал тебя, потому что ты в истине, я стремился к тебе, потому что ты в справедливости, я любил тебя, потому что ты в любви, для тебя я умер, потому что ты — источник жизни... Неужели ты отринешь меня, неведомый? Мои тяжкие сомнения, мои жгучие искания, мою трудную жизнь, мою вольную смерть — прими их, как бескровную жертву, как одну молитву, как вздох о тебе, как летучую струйку бренного пара принимает безграничный океан чистого эфира. Прими их ты, которого я не знаю имени, не дай туманным призракам умершей веры заградить мой путь к твоему вечному свету... Уступите же с дороги, мглистые тени, заграждающие свет зари! Я говорю вам, боги моего народа: вы неправедны, олимпийцы, а где нет правды, там и истина — только призрак. К такому заключению пришел я, Сократ, привыкший исследовать разные основания.

Итак, расступись же, мертвый туман, я иду своею дорогой к тому, кого искал всю мою жизнь...

Я иду.

Гром загремел, но короткий, отрывистый, как будто эгид выпал из ослабевшей руки громовержца. Голоса бури, колеблясь, ринулись по уступам гор, прошумели

в теснинах и, удаляясь, замирали в ущельях. И на их месте слышались иные, неведомые, чудные звуки.

Когда Ктезипп открыл изумленные глаза, перед ним встало невиданное зрелище. Ночь уходила, тучи рассеялись. Тени богов быстро неслись по лазури, точно золотой узор на краях чьей-то ризы. Другие мелькали по дальним уступам и ущельям, и Елпидий, маленькая фигура которого виднелась над расщелиной, простирал к ним руки, как бы умоляя исчезающих о решении судьбы.

А вершина горы уже вся вышла из таинственных облаков и сияла, как факел, над синею мглой долин. И хотя не было на ней ни громовержца Кронида, ни других олимпийцев, только горная вершина, свет солнца и высокое небо, но Ктезипп ясно чувствовал, что вся природа до последней былинки проникнута биением единой таинственной жизни. Чье-то дыхание слышалось в ласкающем веянии воздуха, чей-то голос звучал чудною гармонией, чьи-то чуялись невидимые шаги в торжественном шествии сияющего дня. И еще человек стоял на освещенной вершине и простирал руки в молчаливом восторге и могучем стремлении.

Мгновение — и все исчезло, и сияние обыкновенного дня показалось проснувшейся душе Ктезиппа жалкими сумерками в сравнении с улетевшим ощущением природы, проникнутой веянием единой, неведомой жизни.

В глубоком молчании выслушали ученики погибшего философа странный рассказ Ктезиппа. Платон первый прервал молчание.

— Исследуем,— сказал он,— сон и его значение.

— Исследуем,— ответили остальные.

1889—1890

«Необходимость»

Восточная сказка

I

Однажды, когда три добрых старца — Улайя, Дарну и Пурана — сидели у порога общего жилища, к ним подошел юный Кассапа, сын раджи Личави, и сел на завалинке, не говоря ни одного слова. Щеки этого юноши были бледны, глаза потеряли блеск молодости, и в них сквозило уныние.

Старцы переглянулись между собою, и добрый Улайя сказал:

— Послушай, Кассапа, открой нам, трем старцам, желающим тебе добра, что угнетает с некоторых пор твою душу. Судьба с колыбели окружила тебя своими дарами, а ты смотришь так же уныло, как последний из рабов твоего отца, бедный Джевака, который еще вчера испытал на себе тяжесть руки вашего домоправителя...

— Бедный Джевака показывал нам рубцы на своей спине,— сказал суровый Дарну, а благодушный Пурана прибавил:

— И мы еще хотели обратить твое внимание, добрый Кассапа...

Но юноша не дал ему договорить. Он вскочил со своего места и сказал с нетерпением, какого прежде в нем не замечали:

— Замолчите, благодушные старцы, с вашими лукавыми упреками! Вы полагаете, очевидно, что я обязан

ответить вам за каждый рубец на спине раба Джеваки, нанесенный домоправителем. А я сильно сомневаюсь, обязан ли я отвечать даже за свои собственные поступки.

Старцы опять переглянулись, и Улайя сказал:

— Продолжай, сын мой, если тебе угодно.

— Угодно? — перебил юноша с горьким смехом.— В том-то и дело, что я не знаю, угодно ли мне что-нибудь, или нет. И мне ли угодно то, что я хочу, или это хочет кто-то другой за меня.

Он замолчал. Было совсем тихо, только ветер шевельнул верхушку дерева, и один листок упал к ногам Пураны. Пока Кассапа следил за ним унылым взором, от разогретой солнцем скалы оторвался камень и скатился вниз, к берегу ручья, где в это время отдыхала большая ящерица... Каждый день в этот час она выползала сюда и, приподнявшись на передние лапы, закрыв веками выпуклые глаза,— казалось, слушала мудрую беседу старцев. Можно было подумать, что в зеленом теле была заключена душа какого-нибудь мудрого брамина. На этот раз камень освободил эту душу из ее зеленой оболочки для новых превращений...

Горькая усмешка прошла по лицу Кассапы.

— Ну вот, благодушные старцы,— сказал он,— спросите у этого листка, угодно ли было ему сорваться с ветки, или у камня — по своей ли воле он отделился от скалы, или у ящерицы — угодно ли ей было очутиться под камнем? Время назрело, листок упал, ящерица не услышит больше ваших бесед. Вот все, что мы знаем, и иначе быть не могло. Или вы скажете, что это должно и могло быть иначе, чем было?

— Не могло,— ответили старцы.— Что было, то должно было быть в общей связи событий.

— Вы сказали. Ну вот и рубцы на спине Джеваки должны были быть в общей связи событий, и каждый из них начертан от века в книге необходимости. А вы хотите, чтобы я — такой же камень, такая же ящерица, такой же листок на общем стволе жизни, такая же вот ничтожная струйка в этом ручье, увлекаемом неведомою силою от истока к устью... Вы хотите, чтоб я боролся с силой потока, который несет и меня самого...

Он толкнул ногою окровавленный камень, который упал в воду, и опять опустился на завалинку, рядом с добрыми старцами. И глаза Кассапы опять стали тусклы и печальны.

Старец Дарну молчал, старец Пурана покачал головою; только веселый Улайя засмеялся и сказал:

— В книге необходимости, очевидно, начертано также, чтобы я рассказал тебе, Кассапа, что случилось некогда с двумя старцами Дарну и Пураной, которых ты видишь перед собою... И в той же книге начертано, чтобы ты выслушал эту историю.

И он рассказал о своих товарищах следующую странную историю, которую те слушали с улыбкой, ничего не подтверждая и не отрицая.

II

— В стране,— говорил он,— где цветет лотос и священная река катит свои воды, не было браминов, более мудрых, чем Дарну и Пурана. Никто не изучил шастры лучше и никто не погружался глубже в древнюю мудрость вед. Но, когда оба достигли пределов жизненного лета и вьюга близкой зимы коснулась их волос своими снежинками,— оба все еще были недовольны собою. Годы уходили, могила становилась все ближе, а истина, казалось, уходила все дальше...

Тогда оба, зная, что отдалить могилу невозможно, решили приблизить к себе истину. Дарну первый надел одежды странника, привесил к поясу тыкву с водой, взял в руки посох и отправился в путь. После двух лет трудных скитаний он пришел к подножию высокой горы и на одном из ее уступов, на высоте, где свободно ночуют облака, увидел развалины храма. Невдалеке от дороги, на лугу, пастухи сторожили стада, и Дарну обратился к ним с вопросом: что это был за храм, какие люди и какому богу приносили здесь жертвы?

Но пастухи только глядели на гору и на спрашивавшего Дарну, не зная, что ответить страннику Наконец они сказали:

— Мы, жители долин, не знаем, что ответить тебе. Но у нас есть старый пастух Ануруджа, который издав-

на пас свои стада на этих возвышенностях. Может быть, он знает.

И они позвали этого старика.

— Я тоже не могу сказать тебе,— сказал он,— какие именно люди, и в какое время, и какому богу приносили там свои жертвы. Но мой отец слышал от моего деда и передавал мне, будто прадед мой рассказывал, что по склонам этих гор жило когда-то племя мудрецов, которые все погибли с тех пор, как воздвигли этот храм. А звали этого бога — «Необходимость»...

— Необходимость? — с живостью воскликнул Дарну.— А не знаешь ли ты, добрый отец, какой вид имело это божество и не живет ли оно еще в этом храме?

— Мы люди простые,— ответил опять старик,— и нам трудно ответить на твои мудрые вопросы. В молодости,— а это было очень давно,— я пас стада на этих склонах. В то время там стоял еще идол из черного блестящего камня. Изредка, когда поблизости меня застигала гроза,— а грозы очень страшны в этих ущельях,— я загонял свое стадо под защиту старого храма. Случалось нередко, что туда же, дрожащая и испуганная, вбегала Ангапали, пастушка соседнего горного склона. Я согревал ее в своих объятиях, а старый бог глядел на нас, странно улыбаясь. Но он никогда не делал нам никакого зла, может быть, потому, что Ангапали убирала его всякий раз цветами. Говорят, однако...

И пастух остановился, глядя с сомнением на Дарну и как будто стыдясь продолжать рассказ при нем.

— Что же говорят? Доскажи, добрый человек, до конца,— попросил мудрец.

— Говорят, будто не все поклонники старого бога погибли... Иные из них разбрелись по свету... И вот иногда, правда, редко, они приходят сюда, спрашивают, как и ты, дорогу к храму и идут туда вопрошать старого бога. Таких он обращает в камень. В храме старикам случалось видеть какие-то столбы или изваяния, имевшие подобие сидящего человека, обильно повитые повиликой и другими вьющимися растениями. На некоторых птицы вили свои гнезда. Потом они постепенно превращались в прах.

Дарну глубоко задумался над рассказом. Не теперь ли, думалось ему, я близок к цели? Ибо известно,

что «кто, подобно слепому, не видит, подобно глухому, не слышит, подобно древу, бесчувствен и недвижим, о том знай, что он достиг покоя и познания».

И он обратился к пастуху:

— Друг мой, укажи мне дорогу к храму.

Пастух исполнил его просьбу, и, когда Дарну стал бодро подниматься по заросшей тропе,— он долго смотрел вслед мудрецу и сказал, наконец, обращаясь к своим молодым товарищам:

— Назовите меня не старейшим из пастухов, а самым юным из сосущих еще баранов, если старый бог не получит скоро новой жертвы. Наденьте на меня ярмо, как на быка, или навьючьте меня, как осла, разными тяжестями, если в старом храме не прибавится нового каменного болвана!..

Пастухи с почтением выслушали старца и разбрелись по пастбищам. И опять в долине мирно паслись стада, пахарь ходил за своим плугом, светило солнце, спускались ночи, и люди предавались своим заботам, не думая больше о мудром Дарну. Но через малое время — несколько дней или больше — новый странник стоял у подножия горы и опять спрашивал о храме. Когда же и он, воспользовавшись указанием пастуха, стал весело подыматься на гору, то старик покачал головой и сказал:

— Вот и другой.

Это был Пурана, который шел по следам мудрого Дарну, думая про себя:

«Пусть не скажут, что Дарну нашел истину, которой не мог отыскать Пурана».

III

Дарну поднялся на гору.

Путь был труден. Видно было, что нога человека редко ступала по заросшим тропам, но Дарну бодро преодолевал все препятствия и, наконец, подошел к полуразвалившимся воротам, над которыми виднелась древняя надпись: «Я Необходимость, владычица всех движений»... На стенах не было других изваяний или украшений, кроме обломков каких-то цифр и таинственных вычислений...

Дарну вошел в святилище. От старых стен веяло покоем разрушения и смерти. Но и самое разрушение, казалось, уже застыло, оставив в покое самые изломы стен, насчитывавших многие столетия. В одной стене была обширная ниша; несколько ступеней вели к алтарю, на котором стоял идол из черного блестящего камня и странно улыбался, глядя на картину запустения. А внизу пробивался ручей, наполнивший чуткую тишину шепотом своих струек; несколько пальм питали свои корни его влагой и тянулись к синему небу, свободно глядевшему через разрушенную крышу...

Дарну невольно поддался странному очарованию этого места и решил вопросить таинственное божество, веянием которого, казалось, был еще полон разрушенный храм. Зачерпнув воды из холодного ручья и подняв несколько плодов, которые обильно роняла с своей вершины старая смоковница, мудрец начал свои приготовления по всем правилам, начертанным в книгах созерцания.

Прежде всего он сел против идола, поджавши ноги, и долго глядел на него, стараясь запечатлеть в уме его образ. Потом, обнажив свой живот, устремил взоры на то место, где некогда его, еще не рожденного, пуповина связывала с утробой матери. Ибо известно, что между бытием и небытием вмещается все познаваемое, и отсюда должны возникать откровения созерцаний...

В таком положении застал его закат первого дня и восход второго. Потом знойный полдень еще несколько раз сменялся прохладой вечера, и тени ночи уступали свое место солнечному свету,— а Дарну все сидел в том же положении, лишь изредка протягивая тыкву за водой или бессознательно поднимая плод. Глаза мудреца потускли и остолбенели, члены отекли. Сначала он чувствовал неудобства неподвижности и боль. Потом эти ощущения ушли куда-то в глубину бессознательного, а перед застывшим взором мудреца иной мир, мир созерцания стал развертывать свои странные видения и образы. Они уже не имели никакого отношения к тому, что испытывал созерцающий мудрец. Они были бескорыстны, безотносительны, довлели только себе, и, значит, в них готовилась открыться истина...

Трудно сказать, сколько времени прошло таким образом. Вода в тыкве уже высохла, пальма тихо шевелила

листвой, рдеющие плоды срывались и падали у самых ног мудреца, но он оставлял их лежать на земле. Он уже почти освободился от жажды и голода. Его уже не грело полуденное солнце и не охлаждала свежесть ночи. Наконец он перестал отличать дневной свет от ночного мрака.

Тогда перед внутренним взором Дарну явилось давно ожидаемое откровение. Из его живота стал расти зеленый ствол бамбука и завершился узлом, как обыкновенный тростник. Из узла выросло следующее колено и так, поднимаясь кверху, ствол вырастал до пятидесятого колена, что соответствовало числу лет мудреца. На самой верхушке, вместо листа и соцветия, воссело нечто, имевшее образ идола, стоявшего в храме. И это нечто смотрело на Дарну с злою насмешкой.

— Бедный Дарну,— сказало оно наконец.— Зачем, с таким трудом, пришел ты сюда? Что тебе нужно, бедный Дарну?

— Я ищу истину,— ответил мудрец.

— Так смотри на меня, я то — что ты искал. Но я вижу, что взору твоему я неприятно и противно.

— Ты непонятно,— сказал опять Дарну.

— Слушай, Дарну. Ты видишь пятьдесят колен тростника.

— Пятьдесят колен тростника — мои годы,— сказал мудрец.

— А я восседаю на их вершине, потому что я «Необходимость», владычица всяких движений. Все творения, все дыхания, все существующее, все живущее — немощно, бессильно, безвластно; под влиянием необходимости достигает оно цели своего бытия, которое есть смерть. Это я управляла всеми пятьюдесятью коленами твоей жизни от колыбели до настоящего мгновения. Ты не сделал ничего во всю твою жизнь: ни одного доброго и ни одного злого дела... Ты не подал ни одной лепты нищему в порыве сожаления, не нанес ни одного удара в злобе своего сердца... ты не вырастил ни одной розы в монастырском саду и не срубил ни одного дерева в роще... ты не вскормил ни одного животного и не убил ни одного комара, сосущего твою кровь... Ты не сделал ни одного движения во всю твою жизнь, которое не было бы вперед рассчитано мною... Потому что я — Необходи-

мость... Ты гордился своими поступками или погружался в глубокое раскаяние о своем грехе. Твое сердце трепетало от любви или от злобы, а я — я смеялась над тобою, потому что я — Необходимость, и все было предписано мною. Когда ты выходил на площадь, чтобы учить таких же глупцов, что они должны делать и чего избегать,— я смеялась и говорила себе: вот сейчас мудрец Дарну провозгласит свою мудрость наивным глупцам и поделится своею святостию с грешниками. И это не потому, что Дарну мудр и свят, а потому, что я, Необходимость, подобна потоку, а Дарну подобен листу, который увлекается потоком. Бедный Дарну, ты думал, что тебя привело сюда искание истины... А между тем на этих стенах среди моих вычислений записан день и час, когда ты переступил этот порог. Потому что я — Необходимость... Бедный мудрец!

— Ты мне противна,— сказал мудрец с отвращением.

— Знаю. Потому что ты считал себя свободным, а я — Необходимость, владычица твоих движений.

Тогда Дарну рассердился, схватил все пятьдесят колен тростника, изломал их и отбросил далеко от себя.

— Так,— сказал он,— поступаю я со всеми пятьюдесятью коленами своей жизни, потому что все пятьдесят лет я был лишь игралищем Необходимости. Теперь я освобождаюсь, потому что я узнал ее и хочу скинуть ее ярмо.

Но Необходимость, невидимая во мраке, окружавшем тусклые взоры мудреца, засмеялась и сказала опять:

— Нет, бедный Дарну, ты все-таки мой, потому что я — Необходимость.

Тогда Дарну с трудом открыл глаза и сразу почувствовал, что ноги у него отекли и болят. Он хотел подняться, но тотчас же опять опустился. Потому что теперь смысл всех надписей в храме стал для него ясен, и стали ясны все вычисления. И как только он захотел расправить свои члены, он увидел, что его желание уже записано на стене.

И ему послышался, как бы из другого мира, голос Необходимости:

— Ну, что же, подымись, бедный Дарну, ведь у тебя отекли члены. Ты видишь: 999998 из тьмы твоих братьев делают это. Это — *необходимо*.

Дарну с досадой остался в прежнем положении, которое теперь причиняло ему еще более страдания. Но он сказал себе: я буду тем одним из тьмы, который не подчинится необходимости, потому что я — свободен.

Между тем солнце поднялось на средину неба и, заглянув в отверстие кровли, стало сильно жарить его плохо защищенное тело. Дарну протянул руку к своей тыкве.

Но тотчас же он увидел, что и это записано на стене в числе 999998, а Необходимость опять сказала:

— Бедный мудрец, тебе *необходимо* напиться.

И Дарну оставил тыкву на месте, сказав:

— Не стану пить, потому что я свободен.

Кто-то опять засмеялся в отдаленном углу храма, а в это время один из плодов на смоковнице отяжелел и упал у самой руки мудреца. И тотчас же на стене изменилась одна цифра... Дарну понял, что это — новое покушение Необходимости на его внутреннюю свободу.

— Не стану есть,— сказал он,— потому что я свободен.

И опять кто-то засмеялся в глубине храма, а в журчании ручья ему послышалось:

— Бедный Дарну!

Мудрец окончательно рассердился. Он оставался недвижим, не глядя на плоды, от времени до времени срывавшиеся с веток, не слушая соблазнительного журчания воды, и все только твердил про себя одно слово: я свободен, свободен, свободен! И чтобы плод как-нибудь, вопреки его свободе, не попал ему в рот, он сжал его и крепко стиснул зубы.

Так он сидел долго, освободившись от голода и жажды и стараясь распространить на все четыре страны света уверенность в своей внутренней свободе. Он исхудал, он высох, он одеревенел, он потерял меру времени и пространства, он не различал дня и ночи и все твердил про себя, что он свободен По истечении некоторого времени птицы, свыкшиеся с его неподвижностью, прилетали и садились на него, а потом пара диких горлиц устрои-

ли себе гнездо на голове свободного мудреца и беззаботно вывели детей в складках его тюрбана.

«О, глупые птицы! — думал мудрый Дарну, когда сначала воркование супругов, а потом писк птенцов достигали до его сознания...— Все это они делают потому, что не свободны и подчиняются законам необходимости». И даже, когда плечи его стали покрываться налетом птичьего помета,— он опять говорил себе:

— Глупые! И это тоже они делают потому, что не свободны.

Себя же он почитал свободным в высочайшей степени и даже близким к богам.

Снизу, из почвы, потянулись тонкие стебельки ползучих растений и стали обвивать его неподвижные члены...

IV

Раз только мудрый Дарну был отчасти выведен из полной бессознательности и даже ощутил где-то в отдаленном уголке души чувство легкого изумления.

Это было вызвано появлением мудреца Пураны.

Мудрец Пурана, точь-в-точь как и Дарну, подошел к храму, прочитал надпись над входом и, войдя внутрь, стал рассматривать начертание на стенах. Мудрец Пурана мало походил на своего сурового товарища. Он был благодушен и круглолиц. Средина его туловища представляла округленности, приятные для взгляда, глаза светились, а губы улыбались. В своей мудрости он никогда не был строптив, как Дарну, и искал скорее блаженного покоя, чем свободы.

Обойдя храм, он подошел к нише, поклонился божеству и, увидев ручей и смоковницу, сказал:

— Вот божество с приятной улыбкой, а вот ручей сладкой воды и смоковница. Что еще нужно человеку для приятного созерцания? А вот и Дарну. Он уже блажен до такой степени, что птицы вьют на нем свои гнезда...

Вид мудрого товарища был не особенно радостен, но Пурана, с благоговением поглядев на него, сказал себе:

— Без сомнения, он блажен; но он всегда прибегал к слишком суровым способам созерцания. Я же воздер-

жусь от высших степеней блаженства и надеюсь рассказать землякам то, что увижу на ступенях низших.

И затем, обильно насладившись питьем и самыми сочными плодами, он уселся поудобнее, невдалеке от Дарну, и тоже приступил к приемам созерцания, согласно правилам: то есть обнажив живот и устремив взгляд на то же место, как и первый мудрец.

Так проходило время, медленнее, чем у Дарну, потому что благодушный Пурана нередко прерывал созерцание, чтобы освежиться водой и сочными плодами Но, наконец, из чрева второго мудреца тоже поднялся ствол бамбука и тоже завершился пятьюдесятью коленами, соответствовавшими годам его жизни. На вершине опять воссела «Необходимость», но ему, в тумане полубытия, казалось, что она приятно улыбается, и он отвечал ей не менее приятными улыбками.

— Кто ты, о приятное божество? — спросил он.

— Я — Необходимость, управлявшая всеми пятьюдесятью коленами твоей жизни... Все, что ты делал, делал не ты, а я, ибо ты не более, как листок, уносимый потоком, а я владычица всех движений.

— Будь же благословенна,— сказал Пурана,— я вижу, что недаром пришел к тебе. Продолжай и на будущее время исполнять свое дело за себя и за меня, а я в приятном созерцании буду наблюдать за тобою.

И он погрузился в дремоту, с блаженною улыбкою на устах. Так продолжал он свое приятное созерцание, от времени до времени протягивая тыкву к воде или подымая плод, упадавший к ногам. Но каждый раз он делал это с меньшим удовольствием, так как созерцательная дремота одолевала его все сильнее, а ближайшие плоды были уже съедены, и чтобы достать их с дерева, нужно было сделать усилия.

Наконец, однажды, он сказал себе:

— Я суетный человек, слишком удалившийся от истины, и потому предаюсь суетным заботам. Не оттого ли доброе божество не торопится со своими откровениями? Вот передо мною на дереве зрелый плод, а мой желудок пуст... Но разве закон необходимости не гласит: где есть голодный желудок и где есть плод,— последний необходимо влечется к желудку... Итак, о, добрая Необ-

ходимость, я отдаюсь твоей власти... Не в этом ли высшее блаженство?

И вот он погрузился уже в полное созерцание, как и Дарну, и стал ждать, пока необходимость осуществит себя сама. А чтобы несколько облегчить ей задачу, он раскрыл свой рот по направлению к смоковнице ..

Он ждал день, другой и третий... Постепенно улыбка застывала на его лице, тело исхудало, исчезла приятная округлость стана, жир под его кожей истощился и из-под нее выступили сухожилия. Когда, наконец, время плода приспело и он упал, ударив Пурану по носу,— то мудрец уже не слышал падения и не ощутил удара... Другая пара горлиц свила гнездо в складках его тюрбана, в гнезде скоро защебетали птенцы, и плечи Пураны обильно покрылись птичьим пометом. Когда же буйная поросль перекинулась также на него, то вскоре нельзя уже было отличить Пурану от его товарища — строптивого мудреца, боровшегося с Необходимостью, от мудреца благодушного, который ей всецело покорился.

И в храме водворилась полная тишина, среди которой блестящий идол смотрел на обоих мудрецов со своей загадочной и странной улыбкой.

Срывались и падали плоды с деревьев, журчал ручей, белые облака проносились по синему небу, заглядывая во внутренность храма, а мудрецы все сидели без признаков жизни — один в блаженстве отрицания, другой в блаженстве подчинения Необходимости...

V

Вечная ночь уже распростерла над обоими свои черные крылья, и никто из живущих никогда не узнал бы, какая истина являлась двум мудрецам на вершине пятидесяти колен тростника... Но прежде чем угас последний луч, светившийся в сумерках сознания мудрого Дарну, ему все-таки опять послышался прежний голос: Необходимость смеялась в наступающем мраке, и этот хохот, молчаливый и беззвучный, пронизал Дарну предчувствием смерти...

— Бедный Дарну,— говорило неумолимое божество,— жалкий мудрец! Ты думал уйти от меня, ты наде-

ялся скинуть мое ярмо и, превратившись в неподвижный чурбан, купить этим сознание внутренней свободы...

— Да, я свободен,— мысленно ответил упрямый мудрец.— Я один из тьмы твоих слуг не исполняю заветов необходимости...

— Смотри же сюда, бедный Дарну...

И внезапно перед внутренним взором его открылся опять смысл всех надписей и всех вычислений на стенах храма. Цифры тихо изменялись, росли или убывали сами собою, и одна из них особенно привлекла его взоры. Это была цифра 999998... И пока он смотрел на нее, внезапно еще две единицы пали на стену, и длинный итог стал тихо превращаться. Дарну внутренне содрогнулся, а Необходимость опять засмеялась.

— Понял ли ты, бедный мудрец? На сто тысяч слепых моих слуг всегда приходятся один упрямец, как ты, и один ленивец, как Пурана... И вы пришли сюда оба... Привет вам, мудрецы, завершающие мои вычисления...

Тогда из потускневших глаз мудреца выкатились две слезинки, тихо покатились по иссохшим щекам и упали на землю, как два зрелых плода с древа его долголетней мудрости.

А за стенами храма все шло по-старому. Светило солнце, веяли ветры, люди в долине предавались заботам, в небе набирались тучи... Проходя над горами, они отяжелели и обессилели. В горах разразилась гроза...

И опять, как это бывало в старые времена,— глупый пастух соседнего склона пригнал свое стадо, а с другой стороны пригнала свое стадо юная и глупая пастушка. Они встретились у ручья и ниши, из которой на них глядело божество с странной улыбкой, и, пока шумела гроза, они обнимались и ворковали совершенно так, как это делали 999999 пар в таком же положении. И если бы мудрый Дарну мог их видеть и слышать, он, наверное, сказал бы в высокомерии своей мудрости:

— Глупые,— они делают это не для себя, а в угоду Необходимости.

Между тем гроза прошла, солнечный свет опять заиграл в зелени, еще покрытой блестящими каплями дождя, и осветил потемневшую было внутренность храма.

— Посмотри,— сказала пастушка,— вот два новых изваяния, которых здесь прежде не было.

— Молчи,— ответил пастух.— Старики говорят, что это поклонники древнего божества. Впрочем, они не могут сделать вреда... Останься с ними, а я пойду, отыщу твоих пропавших овец.

И он ушел, а она осталась с идолом и двумя мудрецами. А так как ей было немного страшно и, кроме того, она была еще полна молодой любви и восторга, то она не могла оставаться на месте, а ходила по храму и громко пела песни любви и радости. Когда же гроза совсем прошла и края темной тучи скрылись за дальними вершинами горной цепи, она нарвала еще влажных цветов и убрала ими идола. А чтобы скрыть его неприятную улыбку, она воткнула ему в рот плод горного ореха с веткой и листьями.

После этого она взглянула на него и громко засмеялась.

Но и этого ей было мало. Она захотела убрать цветами также и старцев. Но так как на добром Пуране было еще гнездо с птенцами, то она обратила внимание на сурового Дарну, гнездо которого уже опустело. Она сняла пустое гнездо, очистила тюрбан, волосы и плечи старца от птичьего помета, потом обмыла его лицо ключевой водой. Она думала, что этим она платит богам за их покровительство ее счастью. А так как и этого ей показалось мало, то, все еще переполненная своей радостью, она наклонилась, и вдруг блаженный Дарну, стоявший на самом пороге Нирваны, ощутил на своих сухих губах крепкий поцелуй глупой женщины...

Вскоре после этого вернулся пастух с найденной овечкой, и оба ушли, распевая веселую песню.

VI

Между тем искра, едва не угасшая в сознании мудрого Дарну, затлелась опять и стала разгораться все сильнее. Прежде всего в нем, как в доме, где все спят, проснулась мысль и стала беспокойно метаться в темноте. Мудрый Дарну думал целый час и надумал одну только фразу:

— Они подчинялись Необходимости...

Еще через час:

— Но, в конце концов, и я тоже ей подчинился...

Третий час принес новую посылку:

— Срывая плод — я исполнял закон необходимости.

Четвертый:

— Но и отказываясь — я исполняю ее расчеты.

Пятый:

— Они, глупые, живут и любят, а мы с мудрым Пураной умираем.

Шестой:

— В этом есть, может быть, необходимость, но очень мало смысла.

После этого проснувшаяся мысль окончательно поднялась и стала будить другие спавшие способности:

— Если мы с Пураной умрем,— сказал себе мудрец Дарну,— это будет неизбежно, но глупо. Если мне удастся спасти себя и товарища,— это будет тоже необходимо, но умно. Итак, будем спасаться. Для этого нужна воля и усилие.

Он отыскал в себе маленькую искорку воли, которая еще не угасла. Он заставил ее поднять свои отяжелевшие веки.

Дневной свет ворвался в его сознание, как врывается он в помещение по открытии ставень. И прежде всего ему представилась безжизненная фигура товарища, с застывшим лицом и с предсмертной слезой на щеке. Тогда в сердце Дарну шевельнулась такая жалость к злополучному спутнику его мудрости, что воля забегала в нем еще шибче. Она кинулась в его руки, и они стали двигаться, потом уже руки помогли ногам.. На все это понадобилось времени гораздо больше, чем ушло его на размышления. Однако уже следующее утро застало тыкву Дарну, полную свежей воды, у самых уст Пураны, а кусок сочного плода попал, наконец, в раскрытый рот благодушного мудреца.

Тогда челюсти Пураны пришли сами собой в движение, и он подумал: «О, благодетельная Необходимость. Я вижу, ты уже начинаешь исполнять свое обещание». Но затем, убедясь, что около него хлопочет не божество, а его товарищ Дарну, он несколько обиделся и сказал·

— Восемь горных хребтов и семь морей, солнце и святых богов, тебя, меня, вселенную — всех движет Не-

обходимость... Зачем ты разбудил меня, Дарну? Я стоял уже на пороге блаженного покоя.

— Но ты был подобен мертвецу, друг Пурана.

— Кто, подобно слепому, не видит, подобно глухому, не слышит, подобно древу, бесчувствен и недвижим,— о том знай, что он достиг покоя... Дай мне еще напиться, друг Дарну...

— Пей, Пурана. Я вижу еще слезу на твоей щеке. Не блаженство ли покоя выжало ее из твоих глаз?

После этого мудрые старцы еще три недели приучали свои уста к питью и пище, а члены к движению, и в течение трех недель спали в храме, согреваясь взаимно теплотой своих тел, пока к ним вернулись силы.

В начале четвертой недели они стояли у порога разрушенного храма. Внизу, у их ног, зеленели склоны гор, сбегавшие уступами в долину... Далеко в долине виднелись изгибы реки, белели домики деревень и городов, где люди жили обычной жизнию, предаваясь заботам, страстям, любви, гневу и ненависти, где радость сменяется горем, и горе залечивается новой радостию, и где среди гремящего потока жизни люди подымают глаза к небу, отыскивая там путеводные звезды... Мудрецы стояли и глядели на картину жизни с порога старого храма.

— Куда нам идти, друг Дарну? — спросил ослепленный Пурана.— Нет ли указаний на стенах храма?

— Оставь в покое и храм, и его божество,— ответил Дарну.— Пойдем ли мы направо, это будет согласно с Необходимостию. Пойдем ли мы налево, это тоже с нею согласно. Разве ты не понял, друг Пурана, что это божество признает своими законами все то, что решит наш выбор. Необходимость — не хозяин, а только бездушный счетчик наших движений. Счетчик отмечает лишь то, что было. А то, что еще должно быть — будет только через нашу волю...

— Значит...

— Значит,— предоставим Необходимости заботиться о своих расчетах, как она знает. А сами выберем путь, который ведет нас туда, где живут наши братья.

И оба мудреца веселыми ногами стали спускаться с горных высей в долину, туда, где жизнь людей проте-

кает среди забот, любви и горя, где раздается смех и льются слезы...

— ...И где ваш домоправитель, о, Кассапа, покрывает рубцами спину раба Дживаки,— прибавил мудрый Дарну с улыбкой укоризны.

Вот что рассказал веселый старец Улайя юному сыну раджи Личави, впавшему в бездействие уныния... Дарну и Пурана улыбались, не отрицая и не подтверждая, а Кассапа выслушал рассказ и удалился в раздумии по направлению к дому отца своего, могучего раджи Личави.

1898

Мгновение

Очерк

1

— Будет буря, товарищ.

— Да, капрал, будет сильная буря. Я хорошо знаю этот восточный ветер. Ночь на море будет очень беспокойная.

— Святой Иосиф пусть хранит наших моряков. Рыбаки успели все убраться...

— Однако посмотрите: вон там, кажется, я видел парус.

— Нет, это мелькнуло крыло птицы. От ветра можешь скрыться за зубцами стены... Прощай. Смена через два часа...

Капрал ушел, часовой остался на стенке небольшого форта, со всех сторон окруженного колыхающимися валами.

Действительно, близилась буря. Солнце садилось, ветер все крепчал, закат разгорался пурпуром, и по мере того как пламя разливалось по небу,— синева моря становилась все глубже и холоднее. Кое-где темную поверхность его уже прорезали белые гребни валов, и тогда казалось, что это таинственная глубь океана пытается выглянуть наружу, зловещая и бледная от долго сдержанного гнева.

На небе тоже водворялась торопливая тревога. Облака, вытянувшись длинными полосами, летели от вос-

тока к западу и там загорались одно за другим, как будто ураган кидал их в жерло огромной раскаленной печи.

Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном.

Над темной зыбью, точно крыло испуганной птицы, мелькал парус: запоздалый рыбак, убегая перед бурей, видимо, не надеялся уже достигнуть отдаленного берега и направил свою лодку к форту.

Дальний берег давно утонул в тумане, брызгах и сумерках приближавшегося вечера. Море ревело глубоко и протяжно, и вал за валом катился вдаль к озаренному еще горизонту. Парус мелькал, то исчезая, то появляясь. Лодка лавировала, трудно побеждая волны и медленно приближаясь к острову. Часовому, который глядел на нее со стены форта, казалось, что сумерки и море с грозной сознательностью торопятся покрыть это единственное суденышко мглою, гибелью, плеском своих пустынных валов.

В стенке форта вспыхнул огонек, другой, третий. Лодки уже не было видно, но рыбак мог видеть огни — несколько трепетных искр над беспредельным взволнованным океаном.

II

— Стой! Кто идет?

Часовой со стены окликает лодку и берет ее на прицел.

Но море страшнее этой угрозы. Рыбаку нельзя оставить руль, потому что волны мгновенно бросят лодку на камни... К тому же старые испанские ружья не очень метки. Лодка осторожно, словно плавающая птица, выжидает прибоя, поворачивается на самом гребне волны и вдруг опускает парус... Прибоем ее кинуло вперед, и киль скользнул по щебню в маленькой бухте.

— Кто идет? — опять громко кричит часовой, с участием следивший за опасными эволюциями лодки.

— Брат! — отвечает рыбак,— отворите ворота ради святого Иосифа. Видишь, какая буря!

— Погоди, сейчас придет капрал.

На стене задвигались тени, потом открылась тяжелая дверь, мелькнул фонарь, послышались разговоры

Испанцы приняли рыбака. За стеной, в солдатской казарме, он найдет приют и тепло на всю ночь. Хорошо будет вспоминать на покое о сердитом грохоте океана и о грозной темноте над бездной, где еще так недавно качалась его лодка.

Дверь захлопнулась, как будто форт заперся от моря, по которому, таинственно поблескивая вспышками фосфорической пены, набегал уже первый шквал широкою, во все море, грядою.

А в окне угловой башни неуверенно светил огонек, и лодка, введенная в бухту, мерно качалась и тихо взвизгивала под ударами отраженной и разбитой, но все еще крепкой волны.

III

В угловой башне была келья испанской военной тюрьмы. На одно мгновение красный огонек, светивший из ее окна, затмился, и за решеткой силуэтом обрисовалась фигура человека. Кто-то посмотрел оттуда на темное море и отошел. Огонек опять заколебался красными отражениями на верхушках валов.

Это был Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль-Диац, инсургент и флибустьер. В прошлое восстание испанцы взяли его в плен и приговорили к смерти, но затем, по прихоти чьего-то милосердия, он был помилован. Ему подарили жизнь, то есть привезли на этот остров и посадили в башню Здесь с него сняли оковы. Они были не нужны: стены были из камня, в окне — толстая железная решетка, за окном — море. Его жизнь состояла в том, что он мог смотреть в окно на далекий берег... И вспоминать... И, может быть, еще — надеяться.

Первое время, в светлые дни, когда солнце сверкало на верхушках синих волн и выдвигало далекий берег, он подолгу смотрел туда, вглядываясь в очертания родных гор, в выступавшие неясными извилинами ущелья, в чуть заметные пятнышки далеких деревень... Угадывал бухты, дороги, горные тропинки, по которым, казалось ему, бродят легкие тени и среди них одна, когда-то близкая ему.. Он ждал, что в горах опять засверкают огоньки выстрелов с клубками дыма, что по волнам оттуда, с дальнего берега, понесутся паруса с

родным флагом возмущенья и свободы. Он готовился к этому и терпеливо, осторожно, настойчиво долбил камень около ржавой решетки.

Но годы шли. На берегу все было спокойно, в ущельях лежала синяя мгла, от берега отделялся лишь небольшой испанский сторожевой катер, да мирные рыбачьи суда сновали по морю, как морские чайки за добычей...

Понемногу все прошлое становилось для него, как сон. Как во сне, дремал в золотистом тумане усмирившийся берег, и во сне же бродили по нем призрачные тени давно прошедшего... А когда от берега отделялся дымок и, разрезая волны, бежал военный катер,— он знал: это везут на остров новую смену тюремщиков и стражи...

И еще годы прошли в этой летаргии. Хуан-Мария-Мигуэль-Хозе-Диац успокоился и стал забывать даже свои сны. Даже на дальний берег он смотрел уже с тупым равнодушием и давно уже перестал долбить решетку... К чему?..

Только когда поднимался восточный ветер, особенно сильный в этих местах, и волны начинали шевелить камнями на откосе маленького острова,— в глубине его души, как эти камни на дне моря, начинала глухо шевелиться тоска, неясная и тупая. От затянутого мглою берега, казалось ему, опять отделяются какие-то тени и несутся над морскими валами, и кричат о чем-то громко, торопливо, жалобно, тревожно... Он знал, что это кричит только море, но не мог не прислушиваться невольно к этим крикам... И в глубине его души поднималось тяжелое, темное волнение.

В его каморке от угла к углу, по диагонали, была обозначена в каменном полу углубленная дорожка. Это он вытоптал босыми ногами камень, бегая в бурные ночи по своей клетке. Порой в такие ночи он опять царапал стену около решетки. Но в первое же утро, когда море, успокоившись, ласково лизало каменные уступы острова, он также успокаивался и забывал минуты исступления...

Он знал, что его держит здесь не решетка... Его держало это коварное, то сердитое, то ласковое море, и еще... сонное спокойствие отдаленного берега, лениво и тупо дремавшего в своих туманах...

IV

Так прошли еще годы, которые казались уже днями. Время сна не существует для сознания, а его жизнь уже вся была сном, тупым, тяжелым и бесследным.

Однако с некоторых пор в этом сне опять начинали мелькать странные видения. В очень светлые дни на берегу поднимался дым костров или пожаров. В форте происходило необычайное движение: испанцы принялись чинить старые стены; изъяны, образовавшиеся в годы безмятежной тишины, торопливо заделывались; чаще прежнего мелькали между берегом и островом паровые баркасы с военным испанским флагом. Раза два, точно грузные спины морских чудовищ, тяжело проползли мониторы с башенками над самой водой. Диац смотрел на них тусклым взглядом, в котором порой пробивалось удивление. Один раз ему показалось даже, что в ущелье и по уступам знакомой горы, в этот день ярко освещенной солнцем, встают белые дымки от выстрелов, маленькие, как булавочные головки, выплывают внезапно и ярко на темно-зеленом фоне и тихо тают в светлом воздухе. Один раз длинная черная полоса монитора продвинулась к дальнему берегу, и несколько коротких оборванных ударов толкнулось с моря в его окно. Он схватился руками за решетку и крепко затряс ее. Она звякнула и задрожала. Щебенка и мусор посыпались из гнезд, где железные полосы были вделаны в стены...

Но прошло еще несколько дней .. Берег опять затих и задремал; море было пусто, волны тихо, задумчиво накатывались одна на другую и, как будто от нечего делать, хлопали в каменный берег... И он подумал, что это опять был только сон...

Но в этот день с утра море начинало опять раздражать его. Несколько валов уже перекатилось через волнолом, отделяющий бухту, и слева было слышно, как камни лезут со дна на откосы берега... К вечеру в четырехугольнике окна то и дело мелькали сверкающие брызги пены. Прибой заводил свою глубокую песню, берег отвечал глубокими стонами и гулом.

Диац только повел плечами и решил лечь пораньше. Пусть море говорит, что хочет; пусть как хочет выбирается из беспорядочной груды валов и эта запозда-

лая лодка, которую он заметил в окно. Рабья лодка с рабского берега... Ему нет дела ни до нее, ни до голосов моря.

Он лег на свой матрац.

Когда сторож-испанец в обычный час принес фонарь и вставил его из коридора в отверстие над запертой дверью, то свет его озарил лежащую фигуру и бледное лицо с закрытыми глазами. Казалось, Диац спал спокойно; только по временам брови его сжимались и по лицу проходило выражение тупого страданья, как будто в глубине усыпленного сознания шевелилось что-то глухо и тяжко, как эти прибрежные камни в морской глубине...

Но вдруг он сразу проснулся, точно кто назвал его по имени. Это шквал, перелетев целиком через волнолом, ударил в самую стену. За окном неслись в темноте белые клочья фосфорической пены, и, даже когда грохот стих, камера была полна шипеньем и свистом. Отголоски проникли за запертую дверь и понеслись по коридорам. Казалось, что-то сознательно грозное пролетело над островом и затихает, и замирает вдали...

Диац сразу стал на ноги. Ему казалось, что он спал лишь несколько секунд, и он взглянул в окно, ожидая еще увидеть вдали белый парусок лодки. Но в окне было черно, море бесновалось в полной тьме, и были слышны смешанные крики убегавшего шквала.

Хотя такие бури бывали не часто, но все же он хорошо знал и этот грохот, и свист, и шипенье, и подземное дрожанье каменного берега. Но теперь, когда этот разнузданный гул стал убывать, под ним послышался еще какой-то новый звук, что-то тихое, ласковое и незнакомое...

Он кинулся к окну и, опять ухватившись руками за решетку, заглянул в темноту. Море было бесформенно и дико. Дальний берег весь был поглощен тяжелою мглою. Только на несколько мгновений между ним и тучей продвинулся красный, затуманенный месяц. Далекие неуверенные отблески беспорядочно заколебались на гребнях бешеных валов и погасли... Остался только шум, могучий, дико сознательный, суетливый и радостно зовущий...

Хозе-Мария-Мигуэль-Диац почувствовал, что все внутри его дрожит и волнуется, как море. Душа просы-

пается от долгого сна, проясняется сознание, оживают давно угасшие желания... И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколько дней назад... Ведь это был не сон! Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы... Это было восстание!..

Налетел еще шквал, опять пронеслись сверкающие брызги, и опять из-под шипенья и плеска послышался прежний звук, незнакомый и ласковый. Диац кинулся к решетке и, в порыве странного одушевления, сильно затряс ее. Посыпались опять известь и щебенка, разъеденные солеными брызгами, упало несколько камней, и решетка свободно вынулась из амбразуры.

А под окном, в бухте, качалась и визжала лодка...

V

На стене в это время сменился караул.

— Святой Иосиф... Святая Мария! — пробормотал новый часовой и, покрыв голову капюшоном, скрылся за выступ стены. По морю, во всю ширину, вставая и падая, поблескивая в темноте гребнями пены, летел новый шквал. Ветер, казалось, сходил с ума, остров вперед уже вздрагивал и стонал. Со дна, как бледные призраки, лезли на откосы огромные камни, целыми годами лежавшие в глубине.

Шквал налетел как раз в ту минуту, когда Диац выскочил из окна. Его сразу залило водой, оглушило и сшибло с ног... Несколько секунд он лежал без сознания, с одним ужасом в душе, озябший и несчастный, а над ним с воем неслось что-то огромное, дикое, враждебное...

Когда грохот несколько стих, он открыл глаза. По небу неслись темные тучи, без просветов, без очертаний Скорее чувствовалось, чем виделось движение этих громад, которые все так же неудержимо неслись на запад. А вдалеке опять вставало что-то невидимое, но грозное, и гудело угрюмо, зловеще, непрерывно.

Только каменные стены форта оставались неподвижными и спокойными среди общего движения. В темноте можно было различить жерла пушек, выступившие из амбразур... Из дальней казармы в промежуток срав-

нительного затишья донеслись звуки вечерней молитвы, барабан пробил последнюю зорю... Там за стенами, казалось, замкнулось спокойствие. Огонек в его башне светился ровным, немигающим светом.

Диац поднялся и, точно прибитая собака, пошел к этому огоньку... Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдет в свою тихую келью, наложит решетку, ляжет в своем углу на свой матрац и заснет тяжелым, но безопасным сном неволи.

Надо будет только тщательно заделать решетку, чтобы не заметил патруль... Могут еще подумать, что он хотел убежать в эту бурную ночь... Нет, он не хочет бежать На море гибель...

Он схватился руками за карниз, поднялся к окну и остановился ..

В камере было пусто и сравнительно тихо. Ровный желтоватый свет фонаря падал на стены, на вытоптанный пол, на матрац, лежавший в углу... Над изголовьем, вырезанная глубоко в камне, виднелась надпись:

«Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль-Диац, инсургент. Да здравствует свобода!»

И всюду по стенам, крупные и мелкие, глубокие и едва намеченные, мелькали те же надписи:

«Хуан-Мигуэль-Диац... Мигуэль-Диац...» И — цифры... Сначала он отмечал время днями, неделями, потом месяцами... «Матерь божия, уже два года»... «Три года... Господь, сохрани мой разум... Диац... Диац...»

Десятый год отмечен просто цифрой, без восклицаний Далее счет прекращался... Только имя продолжало мелькать, вырезанное слабеющей и ленивой рукой... И на все это бесстрастно и ровно падал желтоватый свет фонаря...

И вдруг Диацу представилось, что на его постели лежит человек и спит тяжелым сном. Грудь подымается тихо, с тупым спокойствием... Это он? Тот Диац, который вошел сюда полным сил и любви к жизни и свободе?..

Новый шквал с воем и грохотом налетал на остров... Диац отпустил руки и опять спрыгнул на берег. Шквал пронесся и стал затихать... Ровный огонек опять светил из окна в темноту.

VI

Часовой на стене, повернувшись спиной к ветру и охватив руками ружье, чтоб его не вырвало ураганом, читал про себя молитвы, прислушиваясь к адскому грохоту моря и неистовому свисту ветра. Небо еще потемнело; казалось, весь мир поглотила уже эта бесформенная тьма, охватившая одинаково и тучи, и воздух, и море. Лишь по временам среди шума, грохота, плеска с пугающей внезапностью обозначались белые гребни, и волна кидалась на остров, далеко отбрасывая брызги через низкие стены.

Прочитав все, какие знал, молитвы, часовой повернулся к морю и замер в удивлении. Вдоль бухты, среди сравнительного затишья, чуть заметная в темноте, двигалась лодка, приближаясь к тому месту, где, уже не защищенное от ветра, море кипело и металось во мраке. Внезапно белый парус взвился и надулся ветром. Лодка качнулась, поднялась и исчезла...

В это мгновение Диац взглянул назад, и ему показалось, что темный островок колыхнулся и упал в бездну, вместе с ровным огоньком, который до этого мгновения следил за ним своим мертвым светом. Впереди были только хаос и буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу. Он крепче сжал руль, натянул парус и громко крикнул... Это был крик неудержимой радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни... Сзади раздался заглушенный ружейный выстрел, потом гул пушечного выстрела понесся вдаль, разорванный и разметанный ураганом. Сбоку набегал шквал, подхватывая лодку... Она поднималась, поднималась... казалось, целую вечность... Хозе-Мария-Мигуэль-Диац с сжатыми бровями, твердым взглядом глядел только вперед, и тот же восторг переполнял его грудь... Он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни... А он... Он хочет только свободы.

Лодка встала на самой вершине вала, дрогнула, колыхнулась и начала опускаться... Со стены ее видели в последний раз... Но еще долго маленький форт посылал с промежутками выстрел за выстрелом бушующему морю...

VII

А наутро солнце опять взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись еще по небу; море стихало, колыхаясь и как будто стыдясь своего ночного разгула... Синие, тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими, веселыми брызгами.

Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.

Небольшой пароход крейсировал вдоль берега, расстилая по волнам длинный хвост бурого дыма. Кучка испанцев следила за ним со стены форта.

— Наверное, погиб,— сказал один...— Это было чистое безумие. Как вы думаете, дон Фернандо?

Молодой офицер повернул к говорившему задумчивое лицо.

— Да, вероятно, погиб,— сказал он.— А может быть, смотрит на свою тюрьму с этих гор. Во всяком случае море дало ему несколько мгновений свободы. А кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябанья!..

— Однако что это там? Посмотрите...— И офицер указал на южную оконечность гористого берега. На одном из крайних мысов, занятых лагерем инсургентов, в синеющей полосе замелькали кучками белые вспышки дыма. Звука не было слышно, только суетливые дымки появлялись и гасли, странно оживляя пустынные ущелья. С моря в ответ отрывисто грянул пушечный выстрел, и, когда дым весь лег на сверкающие искрами волны,— все опять стихло. И берег, и море молчали...

Офицеры переглянулись... Что значило это непонятное оживление на позициях восставших туземцев?.. Ответ ли это на вопрос об участи беглеца?.. Или просто случайная перестрелка внезапной тревоги?..

Ответа не было...

Сверкающие волны загадочно смеялись, набегая на берег и звонко разбиваясь о камни...

1900

В Крыму

I

ЕМЕЛЬЯН

В начале девяностых годов я прожил месяца два в Крыму.

Поселился я в маленьком имении Карабахе. Небольшой домик стоит невысоко на мысу, омываемом морем. На востоке плавной излучиной берег уходит к туманным скалам Судака. На запад — вид Ялты закрыт Аю-дагом, с его крутыми обрывами, на которых, по преданию, стоял храм, где была жрицей Ифигения. Отсюда некогда предусмотрительные аборигены кидали в море пришельцев, загнанных к ним бурей или иными случайностями, и еще теперь временами после сильной зыби волны выкидывают на берег куски мраморных колонн. Одна такая глыба, древняя капитель, сильно сглаженная прибоями и почти потерявшая форму, лежит на крылечке скромного карабахского дома...

Кругом усадьбы, по уступам гор зеленеют сады и виноградники. Снизу, даже в тихую погоду, доносится протяжный плеск и вздохи моря...

На склоне ясного дня чудесной крымской осени я бродил с одним из молодых хозяев по тропам, от сада к саду и от виноградника к винограднику. Было тихо и пусто, гроздья винограда рдели под ласковыми косыми лучами, и отовсюду была видна синяя громада моря, по

которому, без ветра, тихо вставали и падали белые гребни.

Мы говорили о впечатлении, которое Крым производит на меня, приезжего человека... Основным его фоном было ощущение какой-то загадочной тоски, которая, как назойливая муха, преследовала меня среди всей этой захватывающей, ласкающей и манящей красоты и все жужжала мне в ухо что-то навязчивое и непонятное.

Мне казалось, что это было ощущение безлюдья. Даже в Ялте и даже в разгаре сезона вы чувствуете именно отсутствие человека. Народу, правда, много, но все это народ чужой этой стране и этой природе, не связанный с ними ничем органическим. Просмотрите картины русских художников, посвященные Крыму: волна, песок, мглистое, затуманенное или сверкающее море, Аю-даг, утопающий в золотисто-лиловых отсветах, Ай-Петри, угрюмо выступающий над туманами... А если к этому прибавлены где-нибудь человеческие фигуры,— то это только дамское платье и зонтик над грядами волн, или пара туалетов — мужской и дамский, подобранные в гармонии с основными тонами моря.

А местная жизнь? Татары?.. Их мы не видим и не понимаем. Кроме того, это было в разгар эпидемии татарского выселения из Крыма. В то самое время, когда мы вели этот разговор, в легкой мгле виднелся на море далекий парус. Какое-то судно держалось уже несколько часов в виду берега, и мой спутник высказывал предположение, что это турецкая фелюга из Анатолии. Быть может, в эту самую минуту на дальний парус из горных ущелий смотрели жадными глазами группы крымских татар, недовольных своей чудной родиной и готовых пуститься на опасные поиски новой родины и нового счастья... Безлунною ночью фелюга пристанет к условленному месту, где-нибудь под прикрытием скал, а рассвет встретит ее далеко в обманчивом море... Говорили, что хищные анатолийские шкипера вывозили таким образом целые партии людей, грабили их в открытом море и кидали за борт. А потом возвращались за новыми искателями счастья...

Незадолго перед тем большой веселой компанией мы отправились в экскурсию на вершину Чатыр-дага. Вер-

шина эта, красивым маленьким шатром рисующаяся снизу, в действительности представляет настоящую каменную область, с дикими оскалинами, с лесами, хаосами камней и горными пастбищами. В ней есть две пещеры, уходящие на сотни сажен в глубину горы. Одна из них носит название «Бим-баш-коба», что значит: «Пещера тысячи голов». Наклонясь под очень низким сводом, с пучками свеч в руках,— мы пробрались в ее глубину. Свечи плохо разгоняли густой, почти осязаемый мрак этого подземелья. Вверху он висел непроницаемый и тяжелый, а внизу на каменном полу светилась перед нами фосфорической белизной груда человеческих черепов, в которых зияли черные впадины глаз. Говорят, в последние годы их осталось уже немного: человеческое любопытство не останавливается ни перед чем, и скоро беспечные туристы окончательно растащат эту печальную достопримечательность Чатыр-дага. Но в это время их было еще поразительно много... После яркого дня, после сверкающих переливов безграничного моря, после беспечных разговоров и смеха,— это обилие молчаливой смерти в темном подземелье захватывало мрачным трагизмом тайны... Сколько их было и какой предсмертный ужас пережили эти люди, загнанные сюда неведомой грозой неведомой, темной старины?..

— Татар это! — с угрюмой уверенностью сказал кто-то за нами. Повернувшись в сторону говорившего, мы увидели загорелого, почти обугленного солнцем татарина пастуха. Он пас овец по соседству с пещерой и пробрался за нами.

— Нет, так это он... болтает,— сдержанно сказал один из проводников, но пастух посмотрел на него черными глазами, в которых сквозило что-то вроде спокойного презрения, и повторил:

— Татар это, татар... Урус пещера гонял... Ашай нету, вода нету... Все кончал...

— И давно это было? — спросил один из нашей компании, в надежде услышать народное предание, связанное с этой неведомой трагедией...

В глубоких глазах татарина, казалось, мелькнуло что-то, как смутная тень. Он постоял молча, уставившись на груду костей... Но затем лицо его вдруг сделалось апатичным.

— Э! — сказал он коротко, махнув с пренебрежением рукой, и отвернулся. Через несколько секунд высокая фигура в бараньем тулупе утонула в густом сумраке пещеры...

В этом коротком восклицании и в пренебрежительно-печальном жесте было что-то особенное, смутно выразительное, запавшее мне в память... Какая-то скрытая горечь непоправимой обиды, беспредметная и беспомощная жалоба нам, потомкам тех урусов, на жестокость наших предков, а может быть и пренебрежение фаталиста и к нам, и к самой судьбе, которая сумела так ужасно распорядиться с этими безвестно погибшими людьми.

Когда мы вышли из пещеры и проезжали горной лужайкой, на которой овцы щипали сухую серую траву,— этот пастух сидел на камне, сшивая куски овчины, и пел горловым голосом какую-то дикую, мало внятную песню... Наверное это была песня о «тысяче голов», а в мотиве мне слышалась опять презрительная, безнадежная и унылая покорность...

Впоследствии, когда я спросил об этой коллекции пещерных черепов у знатока Крыма, профессора Головинского, он засмеялся и ответил:

— Если бы вы спросили у генуэзца сто лет спустя после татарского нашествия, то он, вероятно, сказал бы вам, что это черепа генуэзцев, которые спасались от татар. А еще ранее греки могли бы пожаловаться на генуэзцев или митридатовы понтийцы на греков...

Не из этой ли пещеры, думалось мне, увязалась за мной та особенная крымская тоска, которая преследовала меня среди этих чудесных ущелий и виноградников, жужжа о чем-то загадочно печальном и непонятном... Чудесный южный берег, находящийся ныне в счастливом обладании курсовиков, проводников, дачевладельцев и туристов,— представлялся мне чем-то вроде отмели, через которую, на расстоянии столетий, как волны перекатываются чередой людские поколения — тавры, скифы, греки, генуэзцы, татары, русские — в поисках счастья...

Здесь, под этим солнцем, вблизи этого моря, оно как будто ближе, чем где бы то ни было... Ласкает, обещает, манит... И волны перекатываются одна за другой, одна прогоняя другую...

А счастье?..

Среди этого разговора о крымских впечатлениях и о пещере «тысячи голов» — мы шли узкой дорожкой меж двух виноградников.

— А вот, постойте,— сказал мне мой спутник,— я вам покажу кстати одного местного жителя... Эй, дед Емельян!

Никто не отозвался. Он открыл деревянную калитку, вделанную в ограду из дикого камня, и мы вошли в виноградник.

Навстречу нам раздался хриплый лай собаки... Собака, видимо, была очень старая. Она даже не лаяла, а както взвизгивала и хрипела, поднимая голову кверху и затрудняясь встать на ноги. Лежала она у плохонького сарая, кое-как сооруженного из камней, старых кривых бревен и ветвей и прикрытого сухими лозами. Дверь сарая была открыта, и в нее зияла густая прохладная тьма, какая бывает в знойные дни в помещениях с толстыми стенами и без окон... Кругом рядами расстилался виноградник с созревающими гроздями...

По-видимому, кроме собаки, здесь никого не было, по крайней мере никто не отозвался на оклик моего спутника. Однако, когда мы подошли к широким дверям или, вернее, к входному отверстию сарая, то заметили, что там было живое существо: в темном углу робко притаилась молодая татарка.

Около нее стоял горшок, завязанный белым платком, несколько баклажан и несколько кочней кукурузы. По-видимому, девушка принесла деду ужин. В сарае было неприветливо и пусто. Пахло сыростью и дымом от холодного очага, сложенного из диких камней. На двух досках, служивших, очевидно, лежанкой, был кинут пучок соломы и какое-то тряпье в изголовье.

— А, это ты, Биби! — приветливо сказал мой спутник, разглядев в полутьме свою соседку из Биюк-Ламбата.— А где же дед?

— По воду пошла,— ответила девушка, все еще недоверчиво сверкая глазами в мою сторону. И потом, как будто успокоившись, прибавила, смеясь:

— Долго ходит: один час ходит, один ведро несет...

Собака опять залаяла как-то особенно, с перерывами и хрипом, повернув голову к тропинке, горбом спускавшейся книзу. Над ее обрезом показалась голова и плечи

старого человека, который тихо поднимался в гору. Голова у него была красивая, круглая, густые кудрявые волосы были не седые, а какие-то серые, и завитки кудрей были точно присыпаны пылью. Тот же оттенок какой-то тусклости лежал на сильно загорелом лице, на толстых бровях, даже на зрачках глаз, глядевших прямо, ровно и безучастно. Плечи были широкие, сложение очень крепкое. Но во всех движениях сквозило что-то особенное. Не усталость, не болезненное старческое одряхление, а какая-то равнодушная медлительность. Казалось, этому человеку было совершенно безразлично, какое именно место в природе занимать в данное время. И теперь, поднявшись на ровную дорожку, он поставил ведро и совершенно равнодушно смотрел перед собой: на нас, на сарай, на виноградник, на белую тучу, тихо клубившуюся над обрезом горы, на свою собаку... Старый пес тявкнул ему навстречу с жалобным выражением, как будто спрашивая: видишь? Старик посмотрел в его сторону, как бы отвечая: «Вижу... ну, что ж из этого». И вновь поднял ведро.

Казалось опять — ему не было тяжело: ни старческого вздоха, ни кряхтения, ни напряженного усилия. Движения были свободны, только очень медленны. Мне вспомнились часы, завод которых кончается, но колеса все еще отбивают обычные секунды... Он вошел в сарай, поставив ведро у входа, и, подойдя к Биби, взял принесенные ею припасы.

— Здравствуй, дед Емельян,— сказал мой спутник. Мне показалось, что в тоне его чувствуется какая-то неловкость. Как будто подошедший сейчас человек, обративший на нас так мало внимания,— имеет право за что-то сердиться или, по крайней мере, может чувствовать за собой такое право, хотя его основания присутствующим неизвестны.

— Здравствуйте и вы,— ответил дед после некоторого молчания.

— Можно напиться? — спросил молодой человек.

— Вода,— вот.

Мы напились холодной воды, и наступило опять неловкое молчание, которое почувствовала, по-видимому, даже Биби. Она стала собирать принесенную ранее посуду и как будто собиралась уходить. Но что-то ее все-

таки удерживало. Она стояла в темном месте сарая, но несколько ярких лучей света, прорываясь в щели, испещрили светлыми пятнами ее фигуру, а одна полоса скользнула вкось по ее лицу. Мне было видно в этом лице выражение почти детского любопытства, яркого и непосредственного. Ей было лет семнадцать. Движения ее были эластичны и упруги, в каждом движении чувствовалась сдержанная юная сила, которая может вдруг неожиданно развернуться, как крепкая пружина... Она искоса кидала на деда и на нас пытливые взгляды, и мне казалось, что я понимаю их выражение: она органически не могла понять этого тусклого старческого равнодушия, и то обстоятельство, что дед «один час ходит» за неполным ведром воды, интересовало ее, как явление природы, которое она, быть может, видела много раз, но теперь хотела знать, что думаем об этом мы...

И она следила за каждым шагом старика глазами любопытного молодого зверька, готового юркнуть в свою норку...

Дед по-прежнему не обращал внимания ни на нее, ни на нас. Он сел против входа, на обрубке, в пространстве, освещенном солнцем, и, расставив ноги, повесил голову. Казалось, он будет сидеть так до ночи... Биби опять отметила это быстрым взглядом в направлении моего спутника.

— Что, дед, неможется тебе? — спросил тот.

— Э!

Дед махнул рукой, как будто признавая, что предмет, о котором заговорили, совершенно не стоит внимания... И в его коротком восклицании мне послышалась какая-то знакомая нота...

— Что там!.. Неможется...— прибавил он после короткого молчания...— Э!.. Ничего... Старость пришла, вот и неможется...

— А вам, должно быть, много лет? — спросил я, тоже чувствуя какую-то непонятную неловкость и в то же время стараясь поддержать разговор, готовый утихнуть.

Опять тот же отмахивающийся жест и то же пренебрежительное восклицание...

— Э! Много лет!.. Конечно, много лет. Старого графа хорошо помню... Конечно, лет много...

— Вы не здешний?

— Э-э! Не здешний? Конечно, не здешний. Черниговський.

— Значит, с Украйны.

— Не помню я ничего... Тут вырос.

— А сюда зачем попали?

— Э! Зачем?..

Он как будто усмехнулся. Одеревеневшие черты тронулись странной гримасой, точно от горечи.

— Зачем попал... Э! Когда взяли маленького от отца-матери и отправили у Крым... То и попал.

Он опять замолчал, опустив круглую голову с завитками седых кудрей... Но через некоторое время, точно какие-то колеса опять задвигались в старом механизме, начал говорить все тем же тоном горького полунасмешливого пренебрежения.

— Набирали тогда... малых деток. Для климату... Потому что видите: лихорадка... Такая лихорадка была... крымськая. Дюже народ валила... Карла Людвигович был, управляющий... И говорит грахву: надо малы́х брать... Малые попривыкают, то и не будет валить...

— Так вы, значит, и попали сюда?

— А как же? Так и попал... Когда малого взяли и повезли... То и попал... Э!.. Возьмут и повезут, то и попадешь...

Подобие улыбки прошло опять по застывшему лицу,— улыбки над моим непониманием простого закона, что если повезут, то и попадешь, или над самым фактом, что его взяли от отца и матери «для климату»...

— Малый был хлопчик... от такой...

Он показал рукой аршина полтора над землей, и улыбка проступила на лице деда яснее. Казалось, ему самому было странно вспомнить, что и он когда-то был маленьким хлопчиком «вот этакого роста». Еще более странным показалось это юной Биби, которая при этом удивительном сообщении вся как-то даже подалась вперед...

— Люди говорили: все плакал я... К матери просился, у Черниговщину... Там, у Черниговщине, место ровное, хорошее... А тут куда ни глянь,— гора та море... Да, плакал все. Не с привычки... Э!

Старая голова опять наклонилась, и лучи солнца заиграли на седых кудрях; серебряные нити засветились точно из-под серой золы...

— А потом?— спросил я, видя, что старик совсем замолк.

Дед как будто удивился моему настойчивому любопытству, но все же ответил:

— Э! Потом!.. Что ж потом... Известно,— вырос. До дела приставили.

— И стал дед лучшим садовником у графа,— прибавил мой спутник, видимо желая подбодрить ленивого рассказчика лестью. Но дед все так же отмахнулся пренебрежительным жестом и сказал вяло:

— Э!.. Конечно, научился... таки и хорошо научился. Правда. Нарядчик приставит на виноградник... скажет: так и так делайте все. А я сделаю по-своему... Придет Карла Людвигович... Кто так сделал? Это, говорят, Незамутывода Омелько так сделал... самовольно... Хорошо, говорит, пускай же так и мы будем делать по Омелькиному. Э!..

— Это вас так звали: Незамутывода?..

— Э! Звали и Незамутывода... А потом стали звать Гайдамакою...

— Это почему?

— Э!

На этот раз его восклицание было особенно выразительно. Дед как будто начинал сердиться на что-то, нестоящее внимания, но назойливо встающее в памяти, под влиянием наших приставаний...

— Назовут, как захочут... Один назовет, а люди за ним... Так и пойдет... То был Незамутывода сроду... Род наш так прозывался в Черниговщине. А потом Карла Людвигович говорит: какой он Незамутывода, когда он разбойство делает... Его у Сибирь надо загнать. Э!.. Загоняй, куда хочешь...

— А все-таки не загнали?..

— Э!.. Хочь бы и загнали... Все одно... Все одно ..— повторил он, опуская голову, и пробормотал совсем тихо, начиная дремать: — Все одно... Чи так, чи сяк... все одно...

— Дед не любит рассказывать об этом,— тихо сказал мой спутник,— а кажется, была какая-то история, чуть ли не несчастный роман... Сверстники его перемерли. Осталось только смутное воспоминание. Говорят,— если бы граф не дорожил отличным садовником,— быть бы Емельяну в Сибири... Ничего,— прибавил он на мой вопросительный взгляд,— дед глуховат, не все слышит.

Но дед услышал слово «Сибирь». Он опять поднял свои красивые серые глаза и сказал с признаками раздражения в голосе:

— Э! У Сибирь!.. А что такое у Сибирь? Не все одно?..

— От такая была,— неожиданно прибавил он, кивнув в сторону Биби, которая при этом как-то испуганно сжалась.— «Умру, говорит, зарежуся, а то со скели кинуся у море».. Э!.. Что там! Не утопилася, пошла себе за другого... Отдали, то и пошла... Когда насильно отдадут,— всякая пойдет... И хорошо сделала. Детей вывела, унуки пошли... Один у Орианде в садовниках, другой пошту з Алушты гоняет... А мне в то время Карла Людвигович и говорит: что ты это, Емельян, здурился или как? Разве можно на вас тутошних невест напасти. Тутошние девки потому што очень дорогие... тут от татар такой обычай узялся,— калым за девок платить... А мы для вас, для молодых, своих девок повыписуем с Черниговщины. Этые будут дешевше, потому что свои, крепачки. Только за провоз... От выпишем, говорит, и тебе дружыну, потерпи...

Дед поднялся со своего обрубка и стал у дверей. Спокойный закат осветил его бронзовое лицо и серые кудри. Золотое огромное солнце, точно сверля туманную мглу, опускалось к морю. Зыбь томно шевелилась по всему морскому простору, точно основа гигантского станка со снующими золотыми нитями... Тончайшая золотистая пыль перекрыла ялтинские горы и уступы далекого Ай-Тодора.

Казалось, природа, довольная собственной красотой, светилась мягкою лаской и примиряющим покоем. Но глаза Емельяна были равнодушны и тусклы, как будто он не видел чарующей прелести заката или видел за этой золотистою мглой что-то другое: давно угасшие жизни,

важного графа, управляющего Карла Людвиговича, его неисполненное обещание. Помолчав несколько секунд, он повернул ко мне свои выцветшие глаза и сказал с удивительным выражением, переходя к чистому малорусскому языку...

— Э!.. Так и доси выпысуе. Царство небесне. Вже сорок лит у могыли лежыть...

И опять пренебрежительно махнул рукой...

Я чувствую, что черными значками на белой бумаге нет возможности передать всю выразительность и силу этого короткого восклицания и этого жеста, освещенных ослепительно-прекрасным священнодействием природы. Этот человек как будто знал что-то об этой обольстительной картине... Что-то такое, что, собственно, не стоило ни горячего негодования, ни ненависти, ни злобы, о чем не стоит, пожалуй, и разговаривать... Да, все это блестит, ласкает, обещает и манит. А он все-таки знает свое... И он знает также, что все это *могло бы* быть именно тем, чем кажется. И для этого нужно только еще что-то, не очень многое и не трудное. Стоило вовремя сказать какое-то слово, сделать какое-то движение... Вовремя выписать невесту, что ли... И стало бы светло, и ярко, и радостно, и правдиво, и значительно. Все было бы полно спокойствием и счастьем... Но это что-то не сказано, не сделано, не написано в свое время. И *никогда* это не делается, не говорится, не пишется вовремя. И графы, и Карлы Людвиговичи умирают раньше, невесты остаются не выписанными. И не может быть, чтобы когда-нибудь выписывались вовремя... хотя и возможно, и не трудно, и разумно...

Э!.. Он это знает решительно и бесповоротно...

Э!.. Тут не о чем и толковать, и он удивляется, что́ нам нужно от него в этот обманчиво красивый вечер и что нам за охота расспрашивать и толковать о том, что было, что должно было быть по-иному, но иначе быть все-таки не могло... Он отмахнулся и ушел в свою темную, сыроватую конуру и лег, заложив руки за голову, на низкий топчан, прикрытый соломой и негодною рухлядью. Он закрыл глаза и лежал не то усталый, не то просто равнодушный к нам, и к закату, и к режущим полосам света, все еще пробиравшимся в щели сарая... Не чувствовалось, чтобы он горевал или сердился, но он

явно не видел оснований для продолжения разговора. Все уже было сказано этим пренебрежительным восклицанием и жестом, все — об этом вечере, и об остальных вечерах, и обо всей природе, и о нас, быть может еще ожидающих своих невест, и о Биби, которая напоминает такую же девушку, жившую полстолетия назад, и обо всех, кто интересуется всем этим, что должно быть иначе, но иначе не будет... Не будет, несмотря на то, что лишь какая-то тоненькая перегородка отделяет этот мир, заслуживающий только пренебрежения, от другого, яркого, и сверкающего, и действительно прекрасного, и исполняющего свои обещания. Но никогда и никто не пробьет эту ничтожную перегородку. И толковать нечего, и незачем его дальше расспрашивать, потому что он все сказал, и больше ему сказать нечего... И если мы будем все-таки еще чем-то интересоваться и продолжать свои допросы, то он все равно не ответит и, может быть, вдобавок, если ему будет не лень, — нас обругает...

Хотя, конечно, и это не стоит...

— Э!..

В сарае уже не видно светлых полос... Сыровато и прохладно. Скоро ночь

Так мы оба поняли и короткое восклицание, и пренебрежительный жест старого деда и переглянулись с недоумевающим и отчасти растерянным видом. По-видимому, так же поняла его и семнадцатилетняя татарка с глазами, которые еще так недавно бессознательно светились солнцем и красотой этой природы. Теперь она их потупила и стала быстро завязывать платком посуду. Сделав это, она надвинула на лицо чадру и тихо, как кошка, прошмыгнула в дверь. Стройная фигурка, вся полная жизни и ее обещаний, замелькала меж рядами виноградных лоз, скрылась в калитке, зарисовалась на короткое время на высокой горной тропинке и исчезла за поворотом.

Мы тоже пошли из виноградника, не тревожа деда прощанием. Мой молодой спутник чувствовал себя, по-видимому, как-то раздраженно и неспокойно. Подняв с дорожки кусок шиферного сланца, он швырнул его так сильно, что камень черною точкой долго летел над уходящими вниз уступами.

— Черт знает...— сказал он раздраженно, когда камень, еще не успев упасть, исчез в золотистых сумерках.— Черт знает, что за глупая история... «Выпысуе и дóси»... Шопенгауэр какой-то...

— Однако,— прибавил он, быстро пройдя некоторое расстояние и опять сердито останавливаясь.— Ведь пришла же потом воля... Мог бы, кажется, устроить жизнь по-своему.

— А сколько ему лет? — спросил я.

— Много что-то. Говорят, около девяноста.

— А воля в шестьдесят первом. Когда она пришла... жизни, пожалуй, уже не было...

Поздно вечером после ужина я вышел к морю.

Спать не хотелось. Какие-то смутные, но неотвязные мысли лезли в голову, незаконченные, неразрешимые, скучные. Месяца не было. Закат давно угас, звезды поглотила слепая, широкая мгла. Море стало невидимо и плескалось о берег неприветливо и сердито. Чудились в этом плеске какие-то невнятные речи, мелькали фантастические паруса, уплывающие в безвестную даль с искателями новой родины, слышался ропот, напоминания, требования, жалобы, домогательства, гнев и печаль... И потом все на время смолкало, и только короткий, отрывистый, апатичный доносился усталый вздох прибоя, странно напоминавший мне пренебрежительное восклицание Емельяна.

Это становилось невыносимо, и я пошел от моря. Горы высились передо мной сплошною бесформенною массой, в которой глаз не различал уже ни уступов, ни виноградников, ни деревьев. В одном только месте на неопределенной высоте горел огонек, как будто повисший над темною пропастью. Порой он угасал и опять разгорался. Я угадывал, что это в шалаше у старика Емельяна...

Меня потянуло туда. Болтливый голос прибоя все еще лез в уши, приставая со своими невнятными и бессмысленными, хотя все-таки живыми речами, а там у этого огня я как будто оставил что-то неразрешенное и недосказанное, что нужно и легко было додумать и досказать. И тогда назойливая тоска этого вечера разрешится для нас обоих: для меня и для Емельяна...

Хриплая собака опять затянула свой жалобный прерывистый вой. Емельян не спал. Он медленно поднялся с лежанки, взял ружье и, неторопливо подойдя к выходу, вгляделся в темноту.

— Кто тут? Какой человек ходит? — спросил он своим ровным, старчески-бесстрастным голосом...

То, что мне нужно было сказать и что, казалось, так легко было найти,— не приходило. Чтобы выиграть время, я сказал, что запоздал в горах и пошел на его огонек.

Емельян не удивился. Он повесил ружье на гвоздь, вбитый в столб у лежанки, сел и подбросил несколько веток с сухими листьями.

— Так вы тут и живете? — спросил я, оглядываясь на задымленные стены, осветившиеся недолгим светом.

— Э! Так и живу,— ответил Емельян благодушно.— Как же-ж иначе? Всякий человек живет, как ему бог дасть... Спасибо хочь татарину Алию: живи, каже, у меня, с собакою. Собака старая и дид старый, а все-таки выходит калавур. Добрый, дарма́ что татарин... Ну, и то еще сказать: лестно ему... Первый графский садовник у него за виноградником доглядуеть...

В голосе старика пробилась заметная нотка юмора, но тотчас он прибавил с обычным выражением:

— Э!..

То, что я хотел сказать, не приходило, но я все-таки начал говорить, чувствуя сразу, что ни слова, ни тон моего голоса неспособны пробить ту тонкую пленку, за которой скрывалось наше взаимное человеческое понимание...

— Слушайте, Емельян,— сказал я.— Вот я человек приезжий. Через неделю уеду, и больше мы не увидимся...

— Ну? — сказал Емельян бесстрастно, и тон этого вопроса подчеркнул для меня неудачность и ненужность того, что я собирался сказать.

— Ну, одним словом... все равно,— продолжал я с досадой на себя,— я хотел спросить у вас: может вам что-нибудь нужно или чего-нибудь хочется...

— Э!..

— И если бы я мог что-нибудь сделать для вас, то был бы рад сделать...

— Э!

Он равнодушно лег на лавку и заложил руки за голову.

— Чего мне хочется?— заговорил он бесстрастно.— Ничего не хочется. Живу, слава богу, хочь у татарина... Чего хочется? Заснул бы, так и сна что-то нема. Э!..

Сухие листья и тонкие ветки догорели. Тлели только кривые корни виноградных чубуков, плохо освещая темноту шалаша... И в этой тьме меня охватило странное, беспокойное ощущение. Я не мог вспомнить лица Емельяна, и мне показалось, что вместо него лежит на лежанке кто-то другой, мало знакомый, но памятный. Да, верно: это мне вспомнился вдруг татарин чабан у пещеры «тысячи голов»... Тот же характерный жест, и то же восклицание, и тот же тон: бесполезной и беспомощной, давно погребенной жалобы и покорного пренебрежения. И мне казалось, что надо мной сомкнулись темные своды подземной пещеры и вспышка огня должна осветить фосфорическую груду белых костей...

Ощущение было так сильно, что я даже удивился, когда опять раздался ровный голос Емельяна, как будто вспоминавшего что-то совершенно стороннее:

— Холодно... Оттого, верно, и сна нема. Кожух развалился, а нового Алий не справит. Бо-таки не за что! Ночи холодные другой раз. То оно и того... Оно бы, может, другой раз и заснул, а не заснешь... Вот и палю старые чубуки... Алий ничего не говорит, а оно-таки того... оно-таки татарину убыток...

Он замолчал, может быть даже задремал... Я больше не спрашивал. Это все-таки было похоже на желание, и с этим открытием я осторожно вышел из сарая. Было тихо, даже собака не сочла нужным тявкнуть при моем проходе.

Через неделю я уехал из Карабаха. Когда пароход вечером огибал гору Биюк-Ламбата, я взглянул кверху, отыскивая место Алиева шалаша. Огня там не было.

Емельяну, кажется, к тому времени уже справили кожух, и чубуки татарина Алия оставались в сохранности.

II

РЫБАЛКА НЕЧИПОР

Перед заходом солнца наш пароход прошел через пролив и издали огибал керченские горы.

Керчь расположена у подножия высокого мыса, над которым господствует полукруглая большая гора. На самой ее верхушке виднеется еще холм, рисующийся в небе своеобразным, как будто искусственным силуэтом. Самое положение этого кургана порождает невольную идею о ком-то, стоящем на его вершине и обозревающем с наиболее возвышенного пункта плоский простор Азовского моря, пролив, перешеек и за ним — Кубанские степи и бесконечную даль Черноморья.

— Видите вы этот курган? — сказал мне один из спутников по пароходу.— Существует предание, будто на нем стоял когда-то золотой трон Митридата, царя понтийского, который обозревал отсюда свои владения...

— Нет, не трон,— вмешался другой.— Тут стояла золотая статуя самого Митридата...

— Верно,— подтвердил еще кто-то из пассажиров попроще.— Теперь эту самую статую ищут в горе. Всю гору изрыли эти... как их: археологи, что ли.

Так простодушная молва объясняла в то время, а может, объясняет еще и теперь знаменитые керченские раскопки.

Солнце сильно склонилось уже к Митридатовой горе, когда пароход, обогнув мол, подошел к пристани. Синие тени сползали с горы, укутывая бывшую столицу понтийского царства, и в этом освещении еще усиливалось странное, не вполне современное впечатление от этого скифско-греко-татарско-русского города.

Мне предстояло здесь ночевать, и, наскоро наняв плохонький номер в каком-то двухэтажном доме из серого камня с плоскою крышей, я поспешил окунуться в эту своеобразную атмосферу, насыщенную запахом моря, известковою пылью и смутными историческими воспоминаниями.

Улицы местами круто всползали на бока Митридатовой горы, так что порой подошва одного дома стояла

в уровень с крышей другого. В перспективе одной из таких улиц, прямо передо мной, виднелась широкая лестница, раздваивающимися плавными уступами подымавшаяся на гору. Это было нечто в стиле афинских пропилеев, и я поспешил к бронзовой доске с надписью, водруженной в стене, ожидая встретить указание на какую-нибудь реставрированную понтийскую древность. Но меня ждало разочарование. На доске было написано, что сия лестница сооружена в 187... году, «иждивением купеческого брата такого-то». Во всяком случае, лестница была очень удобна, а за ней, в полугоре меня манило какое-то здание в строго античном греческом стиле, с портиком и колоннадой. На темной крыше еще горел в одном углу последний луч уходящего за гору солнца. Прохладная синяя тень скрывала издали жалкую облупленность потрескавшихся старых стен.

Впоследствии я узнал, что и сие сооружение тоже новейшего происхождения, воздвигнутое в память севастопольской кампании иждивением российской казны, чем и объясняется, вероятно, его сравнительно быстрое разрушение. Но в час наступавших южных сумерек и особенно в том моем настроении эта новейшая древность имела, казалось, вид почтенной мечтательной старины, и я с жадностью праздного туриста поднялся по ее покосившимся каменным ступеням...

Вид отсюда еще расширился. Смягченный расстоянием, гул пристанской жизни долетал снизу как будто приглушенный, мечтательный, смутный. Нижние улицы задернулись тенью и пылью, современный город как будто уходил куда-то, уступая место сумеречным фантазиям. Мое «историческое» настроение охватывало меня все полнее, вызывая смутные тени прошлого. Не отдавая себе полного отчета в своих намерениях, я задумчиво отвернулся от города и пошел вдоль восточной стены храма, прислушиваясь к гулким отголоскам собственных шагов по камню...

Но через минуту мне пришлось остановиться. Обогнув еще один угол, я очутился позади храма, в пространстве, довольно тесно ограниченном уступами горы, и здесь иллюзия одиночества была разрушена самым неожиданным образом,— северный портик оказался населенным.

Прежде всего мне бросилась в глаза фигура старика, сидевшего под одной из колонн в пространстве, несколько лучше освещенном, и занятого делом: сняв рубаху, он что-то искал в ней с сосредоточенным видом... Несколько далее, под стеной группа грязно одетых людей расположилась, очевидно, на ночлег. Двое или трое уже спали, как будто торопясь выспаться до наступления ночи, другие лежали на каменном полу... Еще дальше несколько человек играли в карты. Тут были люди в фесках и люди в широкополых шляпах и в каких-то грязных повязках, напоминавших чалмы...

Мое появление, по-видимому, удивило их так же, как удивился я, так неожиданно выведенный из своего иллюзорного одиночества. Старик без рубахи прекратил свое занятие и уставился в меня наивными круглыми глазами... В группе спавших двое или трое приподнялись на локти. Один из играющих занес руку с картой, которая должна была энергично прихлопнуть карту партнера,— и остановился, слегка разинув рот от удивления. Другой вскочил на ноги и смотрел то на меня, то на угол, из-за которого я появился, как будто не веря, что я забрел сюда один, и ожидая появления более многочисленной компании...

Я тотчас, разумеется, сообразил все выгоды этого предположения для меня, одинокого фланера, так беспечно забредшего сюда с биноклем в руках и дорожной сумкой через плечо, в которой, вдобавок, были деньги. Поэтому, не прибавляя шагу, с видом заинтересованного, отчасти даже делового человека поглядывая на колонны, потолок и стены,— я прошел вдоль колоннады, свернул за угол и опять вышел на северный портал. Спустившись с несколько жутким ощущением по гулким каменным ступеням и отойдя на некоторое расстояние, я оглянулся назад... Старый храм стоял в прежнем почтенном безмолвии, ничем не обнаруживая присутствия своих обитателей или их дальнейших намерений по отношению к моей особе. Только впереди, над первой площадкой лестницы, сооруженной иждивением купеческого брата,— стояла одинокая фигура. Какой-то человек, по-видимому, только что поднявшийся снизу, стоял в недоумелой позе и оглядывался, как будто разыскивая кого-то среди этих пустырей и обрывов...

Вид у незнакомца был несколько как бы потускневший, но совершенно приличный и далеко не напоминавший живописных лохмотьев только что покинутой мною почтенной компании. На нем был стеганный на груди кафтан, изрядно выцветший на плечах, но совершенно целый. На ногах виднелись грубые сапоги, какие бывают у рыбаков, слегка потрескавшиеся от морской воды или известковой пыли, широкие штаны в голенища и порыжелый суконный картуз. Судя по всему, и эта одежда, и ее хозяин видели когда-то, быть может еще недавно, лучшие дни... Когда я, сойдя с лестницы храма, подходил к нему по мягкой пыльной тропинке,— он стоял ко мне спиной и все продолжал разыскивать кого-то глазами. Заслышав мои шаги совсем близко, он вздрогнул и повернулся.

Лицо у него было еще не старое, загорелое и обветренное. Белокурые небольшие усы выделялись на этом загаре, точно присыпанные светлою пылью. В серых глазах на мгновение мелькнуло что-то вроде беспокойного испуга и тотчас же исчезло.

— А, это вы,— сказал он, с каким-то ленивым любопытством оглядывая мою фигуру.— А я уж думаю себе: куда девался?..

— Да вы разве меня видели раньше? — спросил я, удивленный догадкой, что, по-видимому, незнакомец именно меня искал глазами.

— Видел,— ответил он, кивая головой по направлению лестницы.— Идет человек у гору. Думаю: наверно, до Мытрыдата... До его? — спросил он, помолчав.

— Нет... Так, просто пошел на гору. Я приезжий...

— А сейчас где были?

— Вон там... Церковь это, что ли?..

— Кто его знает... Церква, верно, была. Теперь так стоит... пустка... А вы что же... и кругом ходили?

— Ходил и кругом...

Он быстро взглянул на меня, но тотчас опять отвел глаза...

— Что же там... никого не было?

— Нет, были какие-то люди... Что за народ?..

— Так... народ усякий... Которые по прыстаням... Ну больше тут шукают усё... на горе.

— Чего?..

— Э!

Он махнул рукой и ответил, немного помолчав и както неохотно:

— Вчерашнего дня шукают... известно... До Мытрыдата пойдете?.. Или назад, у город?..

Я вышел из гостиницы без определенного плана, но теперь перспектива подняться на вершину и взглянуть на широкие понтийские дали с того самого кургана, с которого, быть может, обозревал их давно умерший владыка давно исчезнувшего царства, показалась мне довольно заманчивой. Правда, становилось поздно. Тень от горы, укутавшая город, ползла все дальше по морю. Но вдали, за ее пределами море еще сверкало, и на его синеве светились три-четыре паруса. До вершины казалось недалеко. К тому же судьба, по-видимому, посылала мне спутника.

Я опять взглянул на незнакомца. Он показался мне человеком довольно приятным. Я люблю вообще задумчивые лица, а на грубоватом лице этого человека лежал отпечаток какой-то глубоко засевшей, затаенной заботы, мысли, быть может, даже мечты. Серые глаза глядели тускловато, точно из-под завесы... Или будто вглядывались во что-то дальше того предмета, на который были направлены... К тому же по манере, с какой он оглядывал гору и спрашивал меня,— мне показалось, что он как будто имеет к этим местам какое-то деловое отношение. Быть может, сторож?.. Или надсмотрщик над раскапываемыми могильниками,— подумал я и сказал:

Пожалуй, я бы пошел. А разве вам туда же?

— Не то, что туда... А так...— ответил он с своим печально ленивым спокойствием...— Отчего не пойтить. Пойтить можно...

— Не поздно? — усомнился я еще, оглядываясь на море, все дальше захватываемое тенью. Некоторые из стайки парусов, еще недавно сверкавшие над волнами, теперь погасли, слившись с холодными тонами воды, и только один еще убегал от тени на север, к дальней полоске земли... К югу, из пролива выбегал пароход.

— Рыбаки это, на Тузлу,— сказал незнакомец, следивший взглядом за парусом, и потом, как бы вспомнив о моем вопросе, он сказал: — Не... чего поздно?.. Не поздно. А то, как себе хочете...

Мой пароход должен был уйти завтра на рассвете, и я приказал уже в гостинице разбудить меня в четыре часа. Значит, утром я не успею побывать на Митридатовом кургане... Поэтому я решительно двинулся по тропе кверху... Незнакомец еще постоял, глядя на море, и затем последовал за мною своей неторопливой, развалистой и нерешительной походкой...

Тропинка вилась на гору, то пролегая по большим горизонтальным площадкам, то круто взбираясь на уступы или спускаясь в широкие углубления. В одном месте нам пришлось пройти через раскрытый и раскопанный могильник. По-видимому, он был расхищен уже давно: размытые дождями стены обвалились, но кое-где были свежие выемки... Местами виднелись темные круглые отверстия, точно стрижиные гнезда, очевидно, проделанные щупами. Все указывало на продолжающиеся деятельные поиски в недрах исторической горы.

Выйдя из этого могильника, я остановился. Здесь опять было видно море, далеко сливавшееся с небом, на котором тихо клубились мглистые облака... Направо, точно на плане, виднелся анапский перешеек, а севернее тянулась еще полоска земли, неподвижная на зыблющемся морском просторе... Пароход, недавно выбежавший из-за перешейка, торопливо поворачивал, оставляя за собой широкий круг и расстилая длинный хвост дыма...

Моего спутника рядом со мной не было, но, взглянув вниз, я увидел его под своими ногами в могильнике. Он стоял у одного из круглых отверстий, проделанных щупом в стене, и, засунув руку, шарил там медлительно и лениво, как человек, который не знает, умно или глупо то, что он делает, следует ли ему продолжать или бросить. Обшарив одно отверстие, он подошел к другому, к третьему, потом пропустил два или три, потом опять вернулся к ним, постоял, подумал и опять засунул руку...

Заметив, что я стою над ним на краю обрыва, он оборвал свое занятие, как будто стыдясь его, и стал неторопливо подниматься ко мне.

— Что вы там делали? — спросил я, заинтересованный его таинственными манипуляциями.

— Э! Так... ничего, — ответил он неохотно, — глупости усё... — И затем, видимо с целью переменить разго-

вор, кивнул головой в направлении к морю.— Это вон самая Тузла синеет... Народу там много... рыбалки усё копошатся, рыбу ловлять. Лето и зиму, одным словом круглый год.

— Хорошо зарабатывают?

— Кто? Рыбалки?.. Черта лысого... Греки хорошо зарабатывают, конечно, и из наших которые хозяева. Имеет, напримерно, свою снасть, то и зарабатывает... А рыбалки... Э! .

Однако безучастно пренебрежительное выражение на мгновение сбежало с его лица...

— Бывает другому счастье, если которого человека рыба полюбит. Ну когда уже один такой попадется,— уся артель разбогатеет... Что ни закинь, — идет и идет... А другой, который бессчастный, на том же месте закинет — нет ему ничего...

Он говорил на том своеобразном наречии, в котором русский говор смешивается с малорусским в своеобразную новороссийскую смесь... Русские окончания он часто смягчал на украинский лад, и, казалось, тон его речи становился от этого еще мягче и печальнее...

— Вы родом не из Украйны?..— спросил я.

— Из Полтавщины... может, знаете?..

— Знаю. Хорошая сторона.

— Хорошая,— повторил он.— Лучше этой стороны нет на свете... Во сне приснится,— день не свой ходишь... На свет здешний не глядел бы: гора да море, только и всего.

— Что же? Собираетесь домой?

Он опять посмотрел на меня тем же тусклым взглядом и сказал грубовато:

— На какого черта я пойду?.. Ни земли, ничего.. Пашпорта не брал годов, может, десять... Вернешься,— за все десять годов недоимку подавай...

— За что же? Если вы землей не пользовались!..

— Ну, не пользовался... То все-таки она моя?.. Или как?.. Если землю не отдадуть,— чего я там не видел?.. А землю дадуть,— чем за ее взяться. Э!..

Он опять посмотрел куда-то дальше Тузлы и дальше туманного горизонта,— и потом сказал:

— Хлопцем я был, подростком... Батько взял с собою у Крым,—счастья шукать... Нашел счастье: под

Тузлою, у сыним мори... Я остался годов восемнадцати. Было б мне домой идти, так не захотел: думал,— батько не нашел долю, а я-таки найду, со дна моря достану проклятую... Вернусь до дому с деньгами, хату новую построю, волов куплю, тогда буду жениться... Э!.. Ну, пойдем до Мытрыдата, а то поздно делается,— оборвал он вдруг каким-то новым, резким тоном.

До вершины оказалось дальше, чем я думал. Мы опять поднимались на крутизну, опять переходили через разрытые могильники, и опять мой спутник порой отставал и совал руки в круглые отверстия... Наконец мы взошли на гору и стояли у кургана, который мне показывали снизу. Только здесь, вблизи, трудно было охватить взглядом его очертания: он был разрезан и разметан. Кругом сохранились неровные следы глубокой канавы, и в центре — круглое возвышение, служившее, быть может, основанием башни...

Если легенда о Митридате не пустая сказка, то нужно признать, что древний царь обладал вкусом. Вид был широкий, необозримый и прекрасный. Внизу сквозь фиолетовую мглу прорезались кое-где огоньки города... Они мерцали также на мачтах судов, стоявших в бухте. Жизнь пристаней уже почти затихла. Порой еще громыхнет где-то якорная цепь и изнеможенно прошипит в вечерней мгле и пыли тяжелый домкрат, заканчивающий дневную работу. Пароход, описывая большой круг и оставляя фосфорический след, огибал мол, направляясь к пристани... Свисток его, смягченный расстоянием, звучал, как рожок или флейта... А дальше за гладью моря скорее угадывался, чем виднелся, простор засыпающих черноморских степей...

Солнце уже совсем село, но на вершине горы было светлее. Под нами, несколько в сторону, виднелась крыша старого храма, и мне показалось, что под портиком я вижу кучку снующих маленьких людских теней. Быть может, им тоже была видна моя фигура на вечернем небе, и они следили за странным туристом, раз уже нарушившим их вечерний покой.

Мой спутник опять отстал, и я увидел его во рву, окружавшем курган. Он шарил по-прежнему рукой в норе так ожесточенно, что, казалось, вывернет плечо. Через несколько минут он поднялся из темноватой ямы на свет

и подошел ко мне. В руках у него был какой-то продолговатый, темный предмет. Он скоблил его коротким ножом, и на его лице виднелось выражение странной заинтересованности и любопытства.

— Это никуда негодный шлак,— сказал я, приглядевшись к его находке.— Смело можете бросить. Да что вы это тут ищете?

— Э! — ответил он, продолжая всматриваться в темный предмет. Потом, подумав и пытливо взглянув на меня, бросил его вниз, но глаза его следили за падением шлака с выражением нерешительности и сомнения.

— Глупости, верно... А только так люди болтают, что будто тут, у горе где-то...

Он понизил голос, оглянулся и закончил:

— Будто золотой Мытрыдат лежыть закопанный. Правда?

— Пустяки! — ответил я, невольно улыбаясь.

— Пустяки? — переспросил он с оттенком неудовольствия.— Э!.. Да я ж и сам думаю так, что глупости. Ну, когда же опять ученые люди копают. Зачем? Неужели же дурно? Сколько, может, тысяч извели, усю как есть гору ископали.

— Ну, вот и судите сами. все же не нашли никакого Митридата.

— Ну, не нашли. Правда.

— А то, что им нужно,— находят.

Он поднял на меня тяжеловатый взгляд и сказал опять с признаками раздражения:

— Так... Вот вы говорите: что им нужно... Это значит плошечки да мисочки и тому подобное?.. Никогда не поверю! Глаза отводят... Ну, только опять и Мытрыдата им не найтить. Ни-икогда! Не дастся он им в руки..

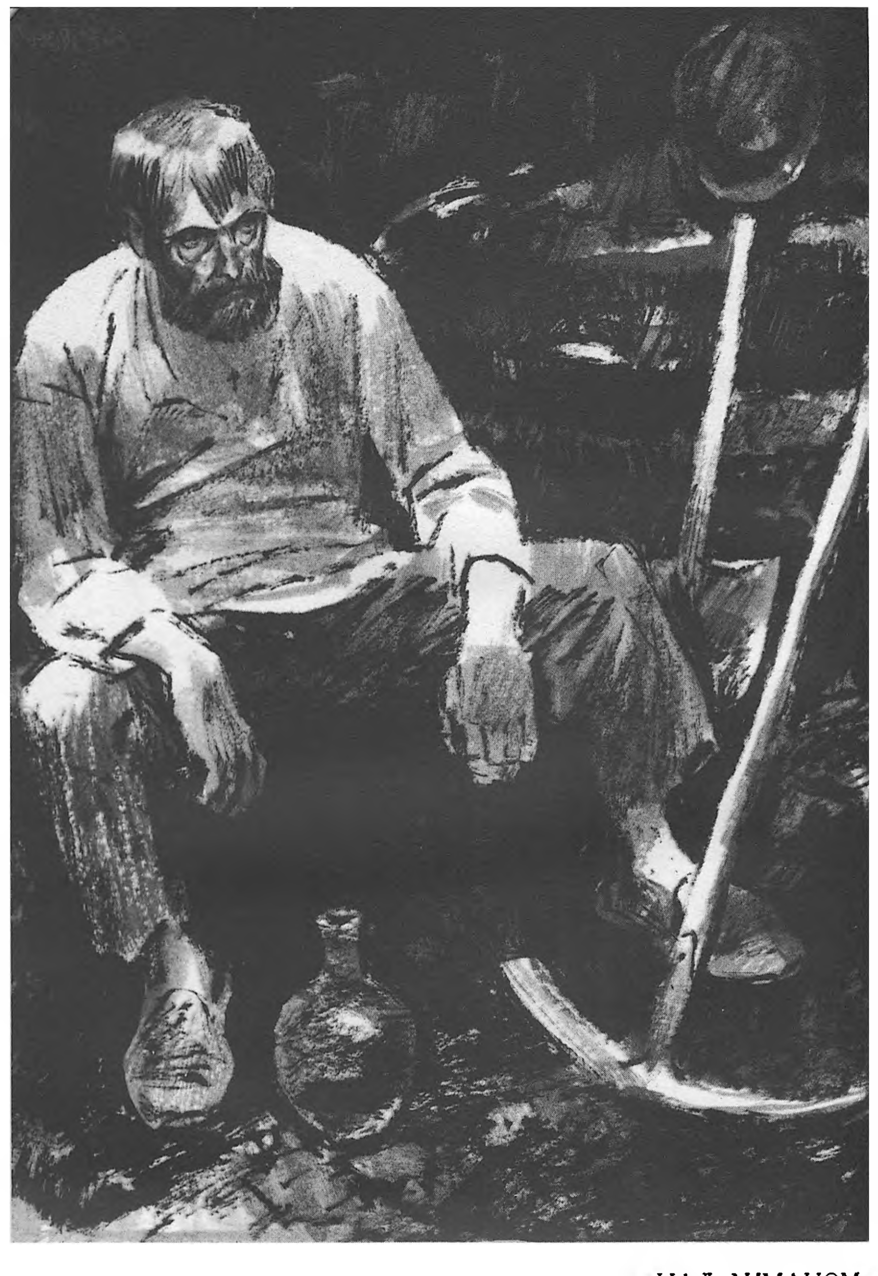
— То есть, постойте, кто же это не дастся?

— *Он!* Говорю же я вам, Мытрыдат самый. Значит, сколько сот лет у горе этой лежит... все своего человека дожидается. Ученые, может, коло него сколько разов проходили... может, и руками трогали: земля и земля, или вот такой камень... А придет такой себе простой человек, что никакой и науки не учился. И может его узять голыми руками.

— Постойте,— остановил я,— ведь вы же говорите,— он, Митридат этот, золотой. Значит все равно, что



«В КРЫМУ»



«НАД ЛИМАНОМ»

чурбан, бревно, камень... Как же он может хотеть, не хотеть, даваться, не даваться?

— Золотой, верно... Ну, однако, все-таки, когда-то царь был...

Мне показалось, что лицо его побледнело, а серые глаза, пытливо всматривавшиеся в меня, стали темнее и глубже. Видя, что я опять улыбнулся, он махнул рукой и сказал, переходя к своему обычному тону задумчивой апатии и сомнения:

— Э!.. Вы вот, конечно, смеетесь. Не верите. Отец мой, царство небесное, тоже не верил. Никак. Бывало на Тузле, на острове с рыбалками у огня лежим, на гору эту смотрим... А как солнце сядет, то гору эту через море дуже хорошо видать. Небо светлое, а гора темная... Вот, бывало, рыбалка какой-нибудь и скажет: «Э! работаем, работаем, море холодное вымочит, ветер холодный обсушит, а толку ничего нет. Только одну хворобу наживешь... Было бы другое счастье, пошел бы золотого Мытрыдата шукать .. Навек можно от одного разу счастливым сделаться». То, бывало, батько ругается: «Дурные вы, дурные, чему верите!.. Это ж, говорит, грех. Усякий человек знай свое дело, кидай снасть у море, там себе лучшего Мытрыдата зловишь...» Черта зловил лысого! Бурею снасть раскидало. А снасть своя была: жалко. Поехал в ветер снасть у моря отнимать, оно его и самого зловило!.. Э!.. видно — чи так, чи сяк, усё одно: кому нету счастья, тот и будет несчастливый... Значит — такая его доля... Этые вон, что там у церквы ночуют, тоже самое,— шукают усё...

В голосе его зазвучало враждебное пренебрежение.

— Бездельный народ, мошенники, лантрыги... Такой хош Мытрыдата бы нашел, что ему: неделю пьянствовать, больше ничего... Такому и доли не надо... А мой же-ж отец,— продолжал он с внезапной вспышкой горького озлобления,— человек был... Какой человек! Настоящий!.. Работник. Всех раньше встанет, всех позже спать ляжет. Все доглядит,— не то что за себя — и за других... А не имел себе счастья... И сыну, видно, свою долю покинул... От уже и я...

Он остановился... Слова у него вырывались глухо, с видимым усилием...

— От уже... вторую неделю с ними же, с лантрыгами этими, у церквы ночую... Э!..

Он замолчал и отвернулся. Какое-то невольное, почти жгучее участие к этому чужому, случайному для меня человеку проникло мне в душу... Хотелось сказать что-то нужное, но... вместо этого у меня только вырвался вопрос:

— А рыбалить вы бросили? Почему?

— Э! Рыбалить... Я уже после рыбалки на какой работе не был...

И, повернув ко мне еще более побледневшее лицо, с расширившимися глазами, он сказал каким-то новым голосом, жестким и злым:

— Я ж вам, кажется, объяснял... по-русски: нету счастья... Вы этого не понимаете?

Он остановился. Несколько времени мы оба молчали, и вдруг я почувствовал, что его глаза впились в меня с каким-то особенным, как будто недоумевающим вниманием. Тяжелый взгляд незнакомца как будто прилип к моей фигуре, к моему приличному костюму, к моей дорожной сумке. Так прошло два-три жутких мгновения, в течение которых на старой Митридатовой горе между двумя равнодушными друг к другу случайно встретившимися людьми, казалось, зарождается что-то новое, неожиданное, не совсем понятное для обоих... Быть может, под влиянием моего пристального, удивленного взгляда, незнакомец отвернулся и махнул рукой.

— Э! — послышалось его восклицание, сразу напомнившее мне что-то знакомое, и его большая, тяжелая фигура стала удаляться, опускаясь в новую рытвину... Глинистый обрыв чуть-чуть светился, как будто из красной глины лучился еще не совсем ушедший дневной свет, и темные круглые норы выделялись с назойливой гипнотизирующей ясностью. Он опять стал совать в них руки, но, казалось мне, — он делает это как-то рассеянно, захваченный другими мыслями. Через минуту мне не стало его видно.

Я стоял на месте, охваченный странными ощущениями. Да, несомненно,— этот жест и это восклицание мне уже знакомы. В первый раз я встретил их у пещеры тысячи голов на Чатыр-даге, у старого татарина пастуха. Это была беспредметная жалоба и безнадежно покорное

пренебрежение к судьбе. Но еще яснее вспоминался мне виноградник Алия и Емельян Незамутывода, он же Гайдамака, которому управляющий Карл Людвигович забыл выписать из Черниговской губернии его человеческую долю... Теперь этот третий... Тот же жест, то же восклицание, то же изумительное выражение безнадежного пренебрежения к жизни, ее смыслу, к цели и значению всяких исканий. Только здесь, на Митридатовом пустыре, я еще яснее почувствовал, что «он», этот собирательный образ встречного несчастливца, кроме жалобы на урусов, на Карла Людвиговича, на свою долю,— готов предъявить какие-то претензии и ко мне лично. Как будто и я должен им ответить за что-то, заложенное давно, таинственно и глубоко еще этим мифическим Митридатом, притаившимся в пустых обрывах, чтобы напрасно манить людей и никому никогда не даваться... И я опять почувствовал, что мне нужно что-то сказать, можно и должно сказать что-то, что легко разрушило бы какую-то тонкую роковую перегородку... Но настоящие слова таились где-то далеко, забросанные, загороженные, заглушенные, точно скрытый смысл назойливого и невнятного морского прибоя.

Кругом меня было пусто. Я стоял на Митридатовом кургане один среди сильно сгустившихся сумерек. Только где-то поблизости шуршала и падала земля...

Все это было похоже на какой-то странный фантастический сон... Однако я понимал все-таки, что при данных обстоятельствах пробуждение может быть очень неприятно. Кругом пустырь, не видный из города, могильники, ямы, буераки... Рядом озлобленный человек с не совсем понятным настроением. Что, если этому странному искателю невозможной фантастической доли придет вдруг в голову, что я-то и есть тот самый золотой Митридат, которого он так жадно ищет в горе и который носит его долю вот в этой дорожной сумке... А там, недалеко внизу, между мною и городом дремлет молчаливая старая постройка, где десяток таких же искателей, быть может, приглядываются снизу к моей фигуре на верхушке кургана. Мне показалось даже, при взгляде вниз, что по склону горы, в направлении от храма, точно вереница муравьев, ползут темные пятнышки... Тихо, лениво, раздумчиво,— как будто сомневаясь: стоит или не

стоит... И кто-нибудь тоже говорит такое же «э!» — и отмахивается рукой. Никто в городе не видел, куда я ушел, и никто не догадывается, что я теперь стою здесь, на горе, окруженный густыми сумерками и странными людьми, которые ищут не совсем обычными путями несбыточной доли... К несколько жуткому ощущению от этого сознания присоединилась небольшая доля довольно печального юмора: я невольно вспомнил о Митридате... Сколько веков протекло с тех пор, как он, быть может, стоял на том же месте, где стою теперь я, ничтожная единица миллионов людских поколений, и мой незнакомый спутник, тоже, вероятно, думающий что-нибудь о нашем положении, в нескольких шагах от меня... И какой в сущности пустяк — кто из нас двух сойдет с этой горы более довольным этой случайною встречей...

Но, конечно, это только в масштабе веков и с философской точки зрения... В обстоятельствах данной минуты я решил, что мне пора уходить и притом лучше одному, чем вдвоем. Не окликая поэтому моего незнакомца, я стал спускаться по неудобной тропинке, едва видневшейся на другом склоне кургана. Несколько минут я шел еще довольно нерешительными шагами, но затем пошел скорее, внутренно смеясь над своим странным приключением и, может быть, ненужным и беспричинным побегом. Тропинка сначала обошла винтом у подножия широкого кургана, потом привела меня к краю раскопки, в которую — только значительно ниже — спустился с другой стороны мой незнакомец, потом она свела меня на нижележащую террасу. Здесь было уже темно, и мне приходилось внимательно вглядываться под ноги, чтобы не сорваться с какого-нибудь обрыва. Вверху небо было светлее, и, оглянувшись, я увидел силуэт моего спутника. Он выбрался из карьера и опять, как в первую минуту нашей встречи, оглядывался кругом, разыскивая меня глазами. Мое серое платье совершенно сливалось с серыми обрывами, и, не видимый ему в своей затененной лощине, я с интересом следил за его поисками. Он обошел небольшой выступ, потом появился опять, постоял немного в одном месте и негромко окликнул:

— Господин, а господин... Где же вы заховались?..

И затем, прислушавшись к молчанию пустыря, он махнул рукой...

— Э! — послышалось мне пренебрежительное восклицание, и он тихо двинулся в противоположную сторону.

Мне вдруг стало так стыдно моего побега, что я уже хотел откликнуться и попрощаться хоть издали со своим случайным спутником. Но в эту минуту на том месте, где он стоял только что,— показалась новая фигура. Другая, третья... Очевидно, я не ошибался: вереница темных мурашей, которые, как мне казалось, тянулись к нам на гору от старой церкви, теперь достигла вершины. Они так же лениво сновали у подножья кургана, останавливаясь и вглядываясь в темноту, как будто без всякой определенной цели, с единственным намерением посмотреть, что из этого может выйти. Один из них остановился на краю могильника, и я услышал несколько хриплый, но довольно приятный басок:

— Нечипор... Рыбалка! Где ты тут?

— Ну, тут я,— отозвался глухо мой незнакомец.

— А той где?..— Речь очевидно шла обо мне...

— Черт его знает... Был, и нету. Как скрозь землю провалился.

— Ну?

— Вот тебе и ну...

— А что за птица такая?

— Кто ж его знает... Может, тоже шукать приехал... Сумка у него и трубка...

— Дурень ты, Нечипор,— насмешливо сказал басок.— Ходит вот такое по горе, вечером. А ты и не догадался. Может, самый Мытрыдат скинулся.

На эту остроту ответил смех нескольких человек. Нечипор не отозвался.

— А видно, тут уже и ночевать,— сказал басок, благодушно зевая.— Поздно...

Вечер был ласковый и теплый. Юго-восточный ветер, слабо огибая склоны мыса,— только слегка навевал прохладу. Очевидно, беспечная компания не много теряла, сменив ночлег на жестких камнях старого портика мягкими рытвинами горы...

Во всяком случае, ее появление прогнало остатки моей щепетильности, и я тихо двинулся вниз, пользуясь тем, что моя серая одежда совершенно сливалась с темными склонами. Под моими ногами кое-где срывалась

земля, в одном месте я очутился над отвесной каменной стеной, покрытой диким виноградом. Но зато прямо под ней белела известковая лента мощеной улицы, на которую невдалеке светился огонек духана...

На пороге духана сидела старая женщина, с характерным античным лицом, точно последний пережиток митридатовых времен. Она предложила зайти к ней, выпить меду. В горле у меня пересохло, и потому я принял предложение. Старуха подала кружку и с удивлением смотрела на странного посетителя в запыленной одежде, неожиданно появившегося с горного пустыря и чему-то улыбавшегося за своей кружкой...

Ночью в своем маленьком номере я долго не мог заснуть и сидел у открытого окна. В одну сторону мне было видно море с спящими судами, в другую — темные массивы горы. Море, как и тот раз, в Карабахе, плескалось протяжно и шумно, набегая на камни со своею невнятною, но живою немолчною речью. Казалось, стоит понять что-то одно, одну только фразу этой неугомонной речи,— и все остальное станет доступно и понятно. Но ключа все не находилось...

А отвернувшись от моря, я видел массивы горы, из-за которой разливалось лунное сияние, отчетливо, точно резцом выделяя гребни. Все остальное сливалось в смутном сумраке... Склоны, лестница, сооруженная иждивением купеческого брата, старая церковь, обрывы, подъемы — все закуталось глубокой непроницаемой мглой, и только в нескольких местах, на неопределенной вышине мерцали живые огоньки...

Один из них, может быть, развел там, у вершины, кто-то мне хорошо знакомый... Кто? Пастух-татарин, пасущий овец у пещеры Бим-баш-коба, или садовник Емельян, или рыбалка Нечипор... Впечатления и воспоминания путались, покрывая одно другое. Порой я совсем забывался, и мне чудились в дремоте то темные своды пещеры, то тропинки виноградников, то трон золотого Митридата, то неведомая черниговская невеста... И кто-то над всем этим безнадежно махал рукой и говорил:

— Э!.. Неужели вы не поймете?.. Никогда, никогда не поймете того, что море своим языком говорит вам о

людях, которым нет счастья... А вы все не слышите... А, впрочем... Э!.. все судьба...

Когда я очнулся,— надо мной стоял номерной и трогал за плечо. В окно несся протяжный и резкий свисток парохода, как будто охрипший от предутренней сырости и морских брызгов.

Через час или полтора мы опять были в море. На востоке, за серой морской гладью и кубанскими степями поднималось солнце. Тузла тянулась недалеко темной полоской земли, и рыбачьи паруса уже сновали около нее, как ранние чайки.

Митридатову гору всю затянуло белыми облаками...

1907

Над лиманом

Из записной книжки путешественника

I

«НЕКРАСОВСКИЙ КОРЕНЬ» [1]

Наша лодка тихо скользит по лиману...

Весла мерно опускаются в синюю, как будто загустевшую от зноя воду и так же мерно подымаются, сбрасывая с себя серебристые капли. Впереди за легкою дымкой, едва смягчающей переливы красок, виднеется красивая цепь невысоких гор. На одной из них темным венцом рисуются развалины старинной генуэзской крепости.

Лиман называется Reaselm (Рязельм),— но наши соотечественники некрасовцы, издавна поселившиеся здесь, на гирлах Дуная, по плавням и на равнинах Добруджи — зовут его Разиным. Они говорят, будто Стенька Разин, в один из трудных промежутков своей дикой карьеры, приходил сюда, бродил по этим берегам, мечтая устроить здесь свою вольную общину. Разумеется, это только совпадение названий.

На берегу, вдоль которого, мимо рыбных заводов,

---

[1] Атаман Игнатий Некрасов, имя которого часто упоминается в этом очерке, сподвижник атамана Булавина. После усмирения булавинского бунта Некрасов в начале XVII столетия вывел за собой с Дона казаков и поселился на низовьях Дуная, в Добрудже. В настоящее время потомки некрасовцев живут слободами под властью румын.

«скелей» и «кирганов»[1], спокойно подвигается наша лодка — раскинулось липованское село Сарыкиой. Село большое,— «больше 600 нумеров», как выражаются селяне,— все утонуло в зелени. Хаты строены из чамура (земля, смешанная с навозом, отрубями и соломой), выбелены чисто известкой, кое-где окна украшены синими разводами. По большей части на улицу глядит одно окно,— двери и остальные окна проделаны во двор, крепко обнесенный заборами. Старая, «раскольничья» привычка, от которой не было причин отступаться при турчине. Кое-где в наружных окнах видны железные решетки.

Живут сарыкиойцы «пространно» и, пожалуй, богато. Лошади у них здоровые, коровы сытые, хлеб жнут жнеями, а возят с полей на «гáрманы» такими огромными возами, что под вечер, когда я ехал сюда, мне показалось, будто по дороге на меня надвигается дом. Кроме того, у сарыкиойцев есть рыбные ловли в лимане и отличные виноградники. В ином русском селе не пьют столько квасу, сколько сарыкиойцы выпивают вина и пеленý (вино, настоенное на полыни).

В Сарыкиое две корчмы: одну арендует болгарин Дмитрий, другую Рышкан. Уже издалека слышится легкий виноградный запах, которым корчмы обвеяны так же, как наши кабаки запахом сивухи. Перед корчмой утоптанная площадка, слегка возвышающаяся над улицей. На площадке столики и скамейки, а над столами и скамейками — зеленые тенистые акации. Необыкновенно приятное место. Поглядишь налево — улица с белыми хатами и кудрявыми садами, а в ее перспективе, точно изогнутый хребет дракона, синеют вершины далекого Махмудийского горного кряжа. Поглядишь направо — глаз пробегает по такой же веселой улице и падает прямо в лиман, который затем все точно подымается и подымается кверху, захватив своей колыхающейся синевой полнеба... И кажется: вот-вот море хлынет в село... Греет теплое южное солнце, веет теплый ветер, то и дело стучат по столам кружки, и два молодых болгарина проворно шмыгают с «пол-оками» светлого, холодного вина. Есть, конечно, горькая нужда и в Сарыкиое. Но и самая

---

[1] «Скеля» — пристань-помост, ведущий от берега к «киргану», зданию для солки рыбы.

нужда какая-то чистенькая и прибранная, не лезущая в глаза рванью и растрепанными крышами...

В первый раз я был в этом селе года четыре назад, но тогда попал не совсем удачно. Приехал я с русским доктором из Тульчи, человеком необыкновенно популярным в Добрудже. Занесенный сюда тем же ветром, который гнал с незапамятных времен на Синий Дунай столько русских людей, «шукавших» кто счастья, кто воли, а кто и веры, доктор бродил в молодости по заливу с рыбацкой артелью, в качестве ее атамана, и еще к этому времени относятся его знакомство и дружба с сарыкиойцами.

Теперь его приезду очень обрадовались многочисленные приятели, а так как, вдобавок, недавно кончили сбор винограда и был праздник, то в Сарыкиое проснулось внезапно «старинное гостеприимство» — добродетель чрезвычайно свирепая и опасная. Сначала мы сидели под акациями у Рышкана, пили белое вино и горьковатый пеленок. Потом нас повели по избам. В домах подносили вино, пироги и рыбу. Хозяйки кланялись, хозяева угощали и обижались отказами. Потом хозяева присоединялись к нам, и точно лавина, вырастающая на пути, вся наша компания перекатывалась дальше. В избах стоял только нестройный веселый гул, чавканье, отрывочные и мало понятные речи. На улицах сторожили наш выход, во дворах вперед ставили самовары... От этого гостеприимства я скоро почувствовал что-то похожее на предсмертную тоску и, узнав от доктора, что эта процедура едва ли может закончиться ранее следующего утра, запросил пощады. Жизнь как-то сразу потеряла в моих глазах всю свою цену, и даже чудесная рамка Сарыкиоя, с синим лиманом и жемчужною цепью гор на другой стороне — опостылела до последней степени. Мне казалось, что на каждой горе закипает по самовару, а от лимана пахло ухой и яичницей.

Сарыкиойцы сначала немного обиделись и даже начинали слегка шуметь... Но доктор решительно стукнул кулаком по столу,— и они уступили. Было известно, что он не чтит многих священных обычаев, и ему это прощалось...

— Ну счастливо, господин,— говорили мне сарыкиойцы, гурьбой провожая нас к повозке.— Поедете в Рассею,— скажите «нашим», как мы тут живем.

— Вот наша церква... видели?

— Две церквы у нас. Белокриницкая и беспопская

— Не беспопская. Говори: беглого священства. Беспопская на турецкой магалѐ, у Тульче...

— Все одно — нет попа, так беспопская.

— Сбежал! — насмешливо заметил кто-то, но другой, пополитичнее, тотчас же прибавил, прекращая готовый возникнуть между двумя «верами» спор:

— Звон имеем. Жалко, не остались до завтра,— звона нашего не слышали.

— При турчине, и то звон имели. На Ду́нае слободно.

— Нам и турчин ничего! Жили, слава богу, и при турчине.

— Что жалиться! И раму́н тоже ничего. Подати ты ему заплатил, остальное либер... Конститунцыя!

— Точно так. Нам и турчин ничего был, и рамун ничего. Ты до ево хорош, и он до тебя хорош. Не зачипаеть...

Но теперь, когда, через четыре года, я опять посетил Добруджу и завернул в Сарыкиой, приняв все меры к тому, чтобы не подвергаться опасному общественному гостеприимству, настроение сарыкиойцев было уже не так благодушно...

Румын стал сильно «зачипать» наших соотечественников над Дунаем.

Вчера, когда я ехал по дороге к Сарыкиою, навстречу мне попалась толпа, представлявшая странное, несколько даже прискорбное зрелище. Пятнадцать румынских конных жандармов ехали верхами, держа в правой руке на весу по заряженному ружью. А в середине этого воинственного кольца шествовали около двадцати человек сарыкиойских обывателей. Солнце жгло победные русые головушки, а из-под ног подымалась густая, летучая пыль, облеплявшая потные лица и мокрые жилетки. Мой возница хохол Лука̀ш свернул в сторону каруцу и провожал зрелище своими черными задумчивыми глазами... Трудно было угадать их выражение: любопытство или усмешка? Сочувствие или злорадство?.. Встречались по дороге болгаре, молдаване, попадались татары и турки в красных фесках, все оглядывались и ехали дальше, не выражая ни вражды, ни сочувствия... Дело, за которое вели в Бабадаг сарыкиойских липован, види-

мо, не задевало ничьих интересов. Это было их собственное «липованское» дело.

— Что это такое? — спросил я у Луки.

— Воспы не хотят прищепливать. А румын судить да амендуеть (штрафует), а кому аменд платить нечем, сажаеть в тюрьму,— ответил он спокойно, опять выводя лошадей на дорогу... За нами по широкому шляху туча пыли двигалась в направлении к Бабадагу...

После этого поздно вечером мы приехали в Сарыкиой. Пришлось довольно долго стучать в ворота, пока их, наконец, открыл сам хозяин, Иван Гаврилов. Это был человек необыкновенной толщины, но бодрый и крепкий. Над необъятным туловищем и круглыми плечами сидела небольшая голова с чертами очень толстого младенца и маленькими, веселыми, лукавыми глазками... Он принял меня очень радушно и устроил постель на почетном месте, то есть в душной комнате на широкой кровати с периной и пологом. Но под этим радушием все-таки чувствовалась некоторая озабоченность и как будто дурное расположение духа.

— Что это у вас в селе, неспокойно? — спросил я.

— Нет! Чего неспокойно, все слава богу.

— А куда же повели столько народу?

— Куда повели! У Бабу́, у острог! Что ты с дураками будешь делать!.. Беспопские это. Обмерзели уже и правительству.

И, внезапно закипев, толстяк беспокойно задвигался на месте и заговорил с неожиданной горячностью:

— Воспы не прищеплюють, записываться не хотять... Судите сами,— чего им еще нужно: насчет религии румын не стесняет,—молись, как хочешь. Дитенков учи по-своему, только он желает, чтобы по-румынски тоже знали. Ну, что еще надо? А они супротивничають... Поверите вы: есть которые уже по триста и четыреста франок аменду платили. У острог по второму разу идуть...

— И много таких?

— Много. Вот у нас две церквы. Одна белокриницкая, наша. Мы, значыть, приняли архиепископа Амвросия... Называется австрийская иерархия. Номеров двести нас. Имеем священника. Он у нас все дело ведеть и метрики пишеть... Отчего не писать? Ну, скажите вы мне, пожалуйста!

— А другие?

— А те по беглому священству. Лет по десяти попов не имеють, потом сманють выпиваку какого-нибудь из Рассеи... Он приедеть, детей покрéстить, отцов с матерями повенчаеть... Опять нет никого... Етые вот и бунтуюють. Их против нас тут вдвое. Номеров ста четыре... Покою не дають...

— Да вам-то, Иван Гаврилович, что же?.. Вас ведь не трогают...

Он заскреб в голове, и его лицо еще более напомнило толстого младенца...

— Да ведь жалко,— сказал он.— Как бы то ни было,— тот же корень... Некрасовский...

Он плюнул с негодованием и пожелал мне доброй ночи...

— Так вам, значит, на утро лодью?.. У Ераклею хотите? Старую крепость смотреть?

— Да, если можно, Иван Гаврилович.

— Чего не можно! Усе можно... Спите с богом.

На другой день после раннего обеда наша лодка скользила по тихим водам лимана. Мимо нас мелькали виноградники, сбегавшие к самой воде, за ними из-за зелени приветливо выглядывали белые стены хаток. Потом «шпилек» (мыс) прогоняет нас в глубь лимана, и скоро свежая зелень высокой плавни скрыла село от наших глаз.

День был чудесный, лодка тихо покачивалась при ударах весел, лиман шевелился кругом, как живой... Вдали чувствовалось спокойное колыхание томной бирюзовой глади.

Нас в лодке было пять человек и четыре веры. В середине, на лавочке сидел Иван Гаврилов и его зять, такой же толстый, одетый в такую же косоворотку, так же подпоясанный под грудью гайтаном, из-под которого горой выступал толстый живот. На головах у них были маленькие круглые шляпенки, на ногах туфли-отопки. На первый взгляд этих липованских богатырей можно было принять за близнецов, но зять Игнат был моложе, и лицо у него было несколько другого типа, правильные черты, окладистая борода, выражение сдержанное и спокойное. Иван Гаврилов был человек сравнительно рыхлый, необъятная фигура Игната точно отлита из чугуна. Чув-

ства тестя прорывались легко и бурно. Игнат был тактичен и сдержан. Оба они — белокриницкие. Игнат состоит старостой при церкви и пользуется большим влиянием в своем приходе

На передней лавочке за веслами сидели два мужика, без шапок и босые. Мы уже садились в лодку, на скеле, когда они выступили, как-то осторожно оглядываясь, из-за деревянных зданий рыбного завода и попросились с нами «на той берег». Иван Гаврилов посмотрел на улицу, по которой только что промелькнула какая-то фигура в пиджаке, вероятно, кто-нибудь из румынской сельской администрации,— потом на смиренные фигуры просителей... В его глазах засверкал насмешливый огонек, и готова была сорваться какая-то едкая острота, когда его зять сказал спокойно:

— Садитесь... Нам что!.. Вы на «гàрман» [1] что ли?

— То-то вот. Нам бы только догàрманить... Сами знаете...

— Разумеется, знаем... Дело понятное...— опять так же спокойно сказал Игнат.— Садитесь.

Оба мужика без дальнейших разговоров сели прямо к веслам, как будто по безмолвному договору. Это были «супротивники» из беглопоповской части Сарыкиоя, вероятно, тоже подлежавшие отправке в Бабадаг. Они скрылись, чтобы докончить уборку хлеба.

Рядом со мною сидел такой же «простец», тоже без шляпы, только одетый аккуратнее и чище. Густая шапка кудрявых волос, с красивой серебристой проседью, защищала его голову от жарких лучей солнца. Он сидел неподвижно, положив руки ладонями на коленях и глядя перед собой остановившимся и странным взглядом. Маленькая бородка клином тоже сильно серебрилась, черты лица были правильны и приятны, только в выражении сжатых губ и в морщине между бровями виднелось что-то горькое. Казалось, он вглядывался своими мечтательными глазами в какую-то мысль, мучительную и неясную, и успел состариться с этой мыслью.

Это был беспоповец, приехавший в Сарыкиой по какому-то делу. Дело было свое, «беспопское», и его не расспрашивали...

---

[1] Гарман — ток для молотьбы.

Наконец, у руля на корме сидел молодой еще человек в соломенной шляпе, из-под которой на лоб падали завитками русые кудри. Светлая борода клином удлиняла его лицо с большими умными глазами, глядевшими спокойно и немного себе на уме. Это был Иван Гордеев, сын беглопоповского дьячка и начетчика, державшего в руках дела беглопоповской части Сарыкиоя, как Игнат — белокриницкой.

Молодой Гордеев представлял собою тип, довольно распространенный теперь среди «древле-православного» населения и в нашем отечестве. Воспитанный начетчиками на «старых книгах», он успел как-то познакомиться с светской литературой, и это сразу сделало его равнодушным к тонким диалектическим вопросам, поглощающим всю умственную жизнь его среды. Он читает технические книги, интересуется газетами и водит дружбу с белокриницкими, спокойное и умеренное настроение которых ему, видимо, более по душе, чем воинствующее ожидание антихриста.

Но все это ему приходится держать про себя: все существенные интересы Ивана Гордеева все-таки в прежней среде, которая и без того уже «блазнится» и смотрит косо на сына своего воротилы, чувствуя, что он уже чужой, хотя ничем этого не проявляет. Это деликатное положение требует много выдержки, и мне не в первый уже раз приходилось видеть в старообрядческой среде такой же взгляд умных глаз, задернутых как будто завесой и высматривающих из-за нее чутко и осторожно. С годами в этом взгляде накопляется что-то неприятное... Необходимое лицемерие не проходит даром.

Настроение на нашей лодке было какое-то сдержанное. Чувствовалось, по крайней мере, между «тремя верами» (если не считать меня) не мало несведенных счетов и взаимного раздражения...

Гребцы сильно ударили веслами и потом опустили их вдоль бортов. Лодка тихо вошла в узкий рукав плавни. Один из них обтер рукавом пот на лбу.

— Что, много еще кончать на га́рмане? — спросил у него Игнат.

— На неделю еще осталось... Эх, как-бы-нибудь...

И, оглянувшись растерянно кругом, он опять взял весло и прибавил, сплевывая на руку:

— Стеснение пошло, братие... Лютое стеснение. При турчине того не было...

— При ту-урчине,— насмешливо сказал толстяк Иван Гаврилов.— Ишь чего захотел: турчина ему верни.

— Ето правда,— поворачивается он ко мне, и его круглое полное лицо с вздернутым носом расплывается в такую широкую улыбку, что даже на подбородке, плохо прикрытом жиденькой бороденкой, появляется ямка, как у ребенка.— Турчина, бывало, как хотишь, так и обманешь... Сделаешь чего-нибудь — сейчас к нему, да и заплачешь. Ах, ехвендий, я бедный человек, так и так... да лиру ему у руку... Ну, и делу конец!

— Податя теперь...— сказал один из гребцов: — скотина роговая ходила вольно... Только, бывало, за свинью отдай три лева...

— Свинью дюже он не уважал.

— Ну, не скажи ты насчет роговой скотины,— спокойно вмешался Игнат.— Брал и он на косе за роговую скотину. А на твоей земле и рамун не возьмет...

— Нет, не брал...

— Брал, зачем дурно говорить?.. А не заплатишь — тоже судить бывало...

— Суд вовсе был слабый,— весело заговорил опять Иван.— Кто до него первый заскочил, да лиры хоть три бакшиш сунул, тот и прав. Один побил другого, так что даже и ноги отшиб. Той лежить, а етой бежить. Прибег до каймакана: «Ой, ехвендий. Мене такой человек побил до смерти...» — «А где он?» — «На дороге лежить!» Сейчас посылает привести этого человека.— «Ты, собака, зачем человека убил!» А на то не глядит, что убитый сам прибег, а этого на руках заптии принесли.

— У рамуна суд правильнее,— говорит опять Игнат беспристрастным тоном. Заметно, что белокриницкие относятся к «рамуну» спокойнее и доброжелательнее. Беглопоповцы — с большим раздражением...

— Тоже и турчин озоровал много...— прибавляет Игнат.— Много у его етого озорства было́...

— Особливо, как русский царь стал наступать на турецкого,— говорит Иван...— Тут вся азиятчина поднялась, как хмара... И курд, и албане́с, и черкес, всякая, словом сказать, урвань, все одно, как тая саранча. Ну, мы тогда свое село шанцем окопали, калавуры держали,

думали, и нам войну сделает. А не сделал. Есть тут, километра с четыре от нас — деревнюшка молдаванская. Тую пограбил чисто. Прибегли к нам молдавана: «помоги, кажуть, Игнат-казак! Черкес набежал». Мы, человек со сто, сели на коней, айда, как на пожар. А черкесы возы накладывают. Увидали нас, кричат: «Зачем Игнат пришел? Смотри, липован, за своя хатка!» Значит, мы вас не трогаем, и вы не у свое дело не лезьте. Ну, мы повернули да назад.

— Так и ограбили молдаван?

— Пограбили. Убить никого не убили. Болгар, правда, порезали-таки не мало. Руснаков (хохлов) тоже коегде попортили. А к нам, бывало, подъедет под шанец, вертится на коне, как той комар, и кричит: «не бойся, липован, твоя не тронем». Болгар после, как русские войска Тульчу заступали, хуже лютовал.

Лодка делает поворот, и мы выплываем на чистое место, у самого берега. Баги (виноградники) кончились, пошло жнивье, на выпуклой косе желтеют нивы, виднеется стог, около стога расчищен ток и начата молотьба. Но работа брошена недоконченной. Кругом ни души, над раскиданными для молотьбы снопами, важно озираясь, стоит огромный аист и скачут суетливые вороны и галки.

— Это чей гарман? — спрашивает Иван.— Для чего не работают?

— Родиона,— угрюмо отвечает черный гребец.— Только принялся с сыном молотить, а их и взяли.

Лодка опять уплывает в извилину плавни, гарман скрывается от глаз, но воспоминание о грустном зрелище дает новое направление мыслям.

Мне невольно вспомнилась вчерашняя картина — толпа сарыкиойских узников и равнодушные лица румынских солдат: ни злобы, ни возбуждения, присущего усмирению бунта!.. Не было ни выстрелов, ни борьбы, ни сопротивления! Скромный господин в сером костюме прочитал протокол и постановил решение за непрививку оспы... И придунайская вольница чувствует, что это решение сильнее всей турецкой урвани, которая налетала, как буря, и как буря исчезала. Современное государство смыкается кругом, неодолимое и сильное,— то самое, от которого они убегали с Игнатом Некрасовым в эти опасные и пустынные степи.

И что всего хуже,— это сила роковая, стихийная, почти пассивная. Потомки атамана Некрасова чувствуют себя, точно на острове, со всех сторон охваченном волнами все приливающего нового государственного уклада...

— Что же у вас будет дальше? — спрашиваю я, чтобы нарушить тяжелое молчание.

— А что будет,— раздраженно прорывается экспансивный Иван.— Мы, белокриницкие, подчиняемся, приняли и воспу, завели и книги.

— Ваше дело,— холодно говорит гребец.

— А вы обмерзели уже и нам, и правительству. Что вам надо, хоть и от рамуна? Чтó он вам веру стеснил, крест отнял?.. Чего вы шукаете? Вам надо, чтобы вас рамун сослал отсюдова!

— Куда он нас сошлет? Его здесь не было, а мы уже были.

— Мало ли что! Все-таки царский указ надо исполнять. У них король — все одно, что царь...

Я сижу близко от сына беглопоповского начетчика и обращаюсь к нему с вопросом об оспе. Он кинул быстрый взгляд... Вопрос ставил его в неловкое положение, но он все-таки принял вызов.

— Видите, господин,— ответил он с полной объективностью,— насчет воспы говорится...

— А у тебя прищеплена? — ядовито перебил Иван, уставившись в него своими маленькими сверкающими глазами.

— Обо мне нет речи!.. Воспа, господин, признается за печать антихриста. В сборнике Ипполита, папы римского, говорится, что антихрист будет ставить свои печати под видом как бы для болезни.

Не для болезни, неправда,— горячо возразил Иван,— а сказано, что придет скудость и будет подманивать раздачею хлеба. .

— То особо, а также и под видом болезни...

Иван Гаврилов посмотрел на говорившего долгим загоревшимся взглядом. Какое-то неосторожное полемическое словцо готово было сорваться по адресу лицемерного защитника антихриста, но тот не смутился и продолжал:

— Ну, правда, ето дело, насчет антихриста, темное. Оный же Ипполит в конце книги пишеть,— что, гово-

рить, братие мои, и сам я насчет времени антихристова пришествия весьма опасаюсь вам объяснить. Что будеть, то уж это верно: будеть!.. А как его признать, по каким предметам, то это очень трудно...

— Пришел уже,— мрачно буркнул гребец.— Не надо нам его, а станеть нудить,— опять за море ускочим.

— За море ты ускочишь,— передразнил Иван.— За морем не тое же самое? На Майнос сколько тысячей с Игнатом ушло, а теперь мужчин, говорят, осталось с шестьдесят, да баб сотни две! Да и там, сказывают, теперь турчин налоги наложил и народ у себя пишеть... Тоже за ум взялся, как и прочие короли... Образовался уже и турчин... За море вы ускочите! Тьфу! с этим народом говорить и то обмерзееть!

И он с досадой плюнул в воду залива...

В лодке водворилось молчание. Невдалеке тяжело взлетела утка и скрылась, прежде чем Игнат успел схватиться за ружье. Вершина Енисалейской горы с развалинами продвинулась над линией камышей, лодка вошла опять в широкое пространство.

— Дай ружье,— сказал Иван.

— Чего ты?

Иван встал в лодке, широко раздвинув ноги. На середине заводи беспечно проплывал большой черный баклан. Птица эта никуда не годная, но экспансивный липованин хотел дать исход накопившейся в нем досаде. Решительный тон черного беглопоповца и молчание остальных действовали на него, по-видимому, раздражающе и сильно: под ними чувствовался невысказанный укор за отступничество. Недаром и отец Ивана Гаврилова, и сам он когда-то был в «етой же вере». Не из-за нее ли ушел из России Игнат Некрасов, не перед этими ли все наступавшими признаками мирского государственного уклада отступал все дальше «игнатовский корень», снимаясь сначала из России, из Стародубщины и с тихого Дона, а потом и с благословенных дунайских равнин, переселяясь в неведомую и гибельную «Надолию»...

И вот, теперь умеренные его потомки «престали от брани» и мирятся с новым укладом. Румын не теснит ни языка, ни веры, это правда; его учреждения проникну-

ты национальной и вероисповедной терпимостью; в его школе ребенок иноверца не учится чуждой религии, он не мешает никому учить его своей. Он требует только минимальных познаний также о божием мире, знания «гражданской» грамоты и соблюдения общих мер безопасности. Но «игнатовский корень» чувствует, что этот спокойный прилив самоуверенной государственности и культуры — гораздо опаснее. Это — сама «сила вещей» и, признавая ее законность,— тем самым приходится осудить все прошлое, с его упорным противлением...

По этой причине бедный баклан должен был погибнуть. Все следили за участью птицы, беспечно продвигавшейся меж двух стен камыша. Грянул выстрел. Дробь взрыла воду кругом, но баклан, оглянувшись, снялся с места и неторопливо полетел над плавней. Стрелок посмотрел на всех, сконфуженный и как-то забавно удивленный.

— Не попал? — спросил он почти жалобно.

— Как не попал? Видели, кругом вода вскипела. И спереду, и сзаду, и с боков...

— А летить...

— Летить ровно. Не пострелен.

— Ну, значить ему жить!..

— Счастливый значить. Хоть ты в него сто раз пали, ему ничего.

Все провожают «счастливого баклана» почтительным взглядом, как существо, отмеченное перстом судьбы... По сторонам лодки тихо шелестит камыш, и вода морщится на поверхности. Из-за плавни на повороте опять внезапно показывается вершина горы с величавыми развалинами. Занятый разговорами, я как-то потерял ее из виду, и теперь, совсем близкая и выросшая высоко к синему небу, она как-то неожиданно для нас всех заглянула со своей высоты в затишный уголок, по которому скользила наша лодка.

— Ераклея,— сказал рулевой.

— Чудное дело, зачем етому народу потребовалось поставить ее тут, над лиманом?

— А вот видишь ты,— ответил Игнат.— Старики сказывали, что тут когда-то было гирло. Дунай мимо Баби́ подавался у море. Мой отец рассказывал: когда-то, в старое время, подошел из моря вон туда, к Портице,

чужестранный корабль с мореходцами. Спустили они лодку и пытають у рыбалок: где тут есть Портица? — Ета самая, говорять рыбалки.— А как нам у Бабу́-город кораблем пройтить? У нас есть старые планты, и тем плантам уже двести шестьдесят лет. Так на их тут обозначаеть Портица, и от нее ход дунайским гирлом у Бабу́ и выше в дунайские города.— Ну,— говорить рыбалка им,— теперь тут не то что корабль ваш, и наша лодочка у Бабу́ не проталапается.

— Так оно и было, верно. А теперь тут стал лиман, и плавня рыночками поросла, а к Бабе пошло озеро. Тут, значить, прежде Ду́най проходил.

Это объясняет странное присутствие развалин в глубине непроходимого лимана. Старые остовы стен как будто сторожат умершее и никому не нужное гирло... Все задумались. Весла тихо взламывали спокойную, стоячую воду... Сквозь молчание дремлющего лимана как будто раскрылась какая-то завеса, а из-за нее на одно мгновение выглянуло на нас давнее прошлое... Высится крепость... стоят на стенах неведомые воины, и давно исчезнувшие волны плещутся в берег, и давно истлевшие корабли с тяжелыми и странными парусами плывут мимо, и мореходцы обмениваются с крепостью непонятными сигналами .. Плавня с шепчущими камышами вся наполняется образами прошлого...

В лодке послышался глубокий вздох.

Это вздохнул безмолвно сидевший до сих пор курчавый старик с руками на коленях, глядевший вперед своим мечтательным взглядом. Все время, пока в лодке разговаривали и спорили, пока горячился Иван Гаврилов и черный беглопоповец кидал свои сердитые реплики, он молчал и, по-видимому, думал все об одном и том же предмете. Теперь, когда лодка была уже близка к цели и на нас надвигались близкие уступы горы с виноградником, он беспокойно задвигался на месте, выражение его лица стало еще прискорбнее, и он сказал, не глядя ни на кого в частности (видимо, однако, он возлагал какие-то надежды на меня, заезжего ученого человека):

— А что... сказывають .. есть еще где-то настоящий Некрасов?..

— Что тебе... У Майносе и есть настоящий,— ответил Иван.

— Нет... той принял амвросианских попов... будто дальше, в Надолии... Не то у Сирийском царстве... Где-то, сказывають, живеть настоящий...

— Едва ли,— отвечаю я, чувствуя, что, не глядя на меня, он мне адресует этот вопрос.

— А насчет веры .. как теперь у Рассее?

— Знаешь сам, как у Рассее. . Чего пытаешь? — буркнул Иван и опять с досадой плюнул в лиман...

Водворилось молчание. Было слышно, как вода стоячей плавни тихо булькает на носу лодки. Глаза старика все с тою же печалью глядели в пространство.

— Есть... правильный-те закон господень,— сказал он наконец своим старческим голосом.— Ударил гдей-то, как шнур. Прямо, правильно! Да мы-то вот, шукаем его да блукаем, как слепые, найти не можем.

— У землю лезем,— опять съязвил экспансивный Иван.— Вон как у Тирашполе...

Старик истово сложил двуперстие и перекрестился. По сморщенной щеке тихо скатилась слеза. Беспоповцы-гребцы угрюмо налегали на весла Развалины старой крепости глядели на нас со своей недоступной вышины и надвигались все ближе...

II
«ИСКАТЕЛИ»

Лодка внезапно вывернулась из ерика и ткнулась носом в болотистый берег. По склону берегового холма раскинулась небольшая бага́ и баштан с созревшими уже дынями. Старый молдаван, в бараньей шапке, с седыми длинными усами, лениво подошел к берегу и, как будто обдумывая трудности всякого движения, подтянул лодку.

Лодка отчаянно закачалась под ногами двух сарыкиойских богатырей; потом легко выскочили босоногие гребцы и тихо выбрался грустный старик, который тотчас же, ни с кем не попрощавшись, пошел по дороге к румынскому селу.

Из ближайшей лощинки курился дымок. Оттуда выглянула молодая красивая липованка, но тотчас же, увидев меня, скрылась.

— Иди, Параскева, иди, чего ты! — ободрил ее Иван Гаврилов.— Не видишь, и твой тут. Не съедят тебя. Э! Да вы вот где хоронитесь,— прибавил он весело, заглядывая в лощинку.

— Что нам хорониться,— ответил босой мужик, тоже вышедший из овражка и уловивший насмешливую ноту в голосе «белокриницкого» односельчанина...— Страху не имеем... А что, известно,— надо отгарманить, потом что будет...

— Да уж известно, что будеть: не отбегаешься! Не у турчина. Да у вас и бабы, и детенки тут...

— Увесь материал,— усмехнулся мужик.

Действительно, в лощине виднелся шатер. Несколько дней уже стоял большой жар, и потому шалаш, видимо, оставался без употребления. На земле, в тени густого старого орешника, на грязных подстилках лежали маленькие дети; над огоньком, в котле, закипала уха. Вода бурлила, и на ее поверхности среди пузырей и мутной пены то и дело появлялись белые бока только что изловленной в лимане рыбы.

Липованка последовала приглашению Ивана и, опустив подол подобранной юбки, обратилась к мужику, приехавшему с нами:

— Ну, чего там у вас на селе подеялося?

— А чего подеялось. Известно, побрали народ, да у Бабу́ погнали!

— А тебя выкликали?

— Ево вон выкликали, мене еще нет. А Семен сам набивался: а мене, говорить, что не берете? А с тебе, говорить, аменд возьмем. Имеешь с чего заплатить.

— Ему скольки?

— Триста франок.

— Посидишь за етые деньги, плата хорошая,— расхохотался Иван.

— Как же теперь будеть? — озабоченно спросила баба, оглядываясь на ребенка; невинная причина злоключений родителей, защищающих его от «антихристовой печати», тихо зашевелилась в тени орешника.

— А как будеть? Вот отгарманим, уберемся, сами у Бабу́ придем: так и так, до́мнуле, зачем нас кликали?

Все весело засмеялись.

— Не знаешь, зачем кликали,— сказал Иван, заливаясь своим тонким смехом.— Пеленом угостить хотять, известно...

— Ну, теперь вам, господин, вот этой тропочкой идтить, у гору,— сказал Игнат.— Тут перейдете горку, будеть низина, покопано маленько. То, сказывают, царь Траян лагорь ставил... А дальше все у гору, держитесь больше к камню. Трава на етой горе не дай бог скользкая.. А мы у Журиловку подадимся. Если не захотиться вам нас дожидать, сойдите сюда на багу́, то они вас за франчишку опять свезуть у Сарыкой. А не то, так и мы не дюже долго забавимся. Оттуда с горы вам журиловскую дорогу будеть видно, как мы по ней пойдем. А? Что тебе?

Беглецы, собравшись в кружок, о чем-то живо толковали, делая Игнату какие-то таинственные знаки. Игнат подошел к ним и скоро вернулся.

— Глупый народ,— чего толкують.

— А что?

— Да что! Будто, говорять, на горе етой огонь по ночам у крепости горить.

— Верно! — горячо подхватил один из мужиков.— Явственно не обозначаеть, чтобы, например, теплина или поломя. А так отливаеть по стенам, вроде издалека. А вы, господин, можеть по етим делам?

— По каким?

— Насчет кладо́в? Так оно, действительно, старики говорять: где огонь горить, тут, значить, деньги огнем скидываются. Очищаеть их.

Все собрались около нас.

— Ночью дитенок у меня скричал,— говорит своим певучим голосом молодая липованка, как будто стыдясь обращенного на нее внимания.— Скричал дитенок, пить запросил. Я ему кувшин подаю, глядь, а на горе чегой-то блестить. Я Марью побудила. Гляди, говорю, Марьица, блестить... С нами крестная сила!

— Верно,— блестя из-за чьей-то спины черными глазами, застенчиво подтверждает Марья.

— Ежели вы насчет «етого дела», так, может, народ нанимать будете?..— таинственно начинает мужик.

— Нет,— перебивает его Игнат.— Они етыми глупостями не займуются.

— А для чего приехал?

— Старинность посмотреть. Значить у их, у Рассее етого ничего нету.

— А здесь много... У Добрудже сколько хошь!

— Куда хошь поди. Усюду могилы да городища. А на степу ночью огни много горять.

— Воевали тут, известно

— И всё искатели копають.

— Шукають, чего не поклали.

— Чего не положил, не возьмешь. Есть-то они есть, огни недаром горять... Да, вишь, не всякому дается.

— Теперь рамун запретил и копать. Надо бумагу выправить.

— Известно. Короли поклали, король и возьметь.

Разговор исчерпывается. Иван с зятем подымаются на холм, и вскоре могучие фигуры сарыкиойских богатырей вырисовываются на его верхушке. Зрелище до такой степени внушительное, что на минуту оно приковывает общее внимание.

— Гляди, усю гору покрыли... Двое...

— И крепости не видать стало. Могутные люди.

— Некрасовский корень! Богатыри! Этакой, сказывают, и Игнат был, и Стенька Разин.

Я невольно улыбнулся. Толстые брюха липованских богатырей стали исчезать за холмом. Я тоже попрощался и стал подыматься на Енисалейскую гору. Красивая, гладкая издали, она оказалась покрытой каменными выступами и морщинами. От накалившихся за день камней еще пыхало жаром. Между ними, шурша сухой травой, беспечно извивались ящерицы, и черные скорпионы мелькали и быстро исчезали в норах. Все было мертво и неприветливо на этих склонах Вверху еще величавее рисовались в синеве неба развалины.

Через полчаса я был на вершине, среди развалин, венцом охвативших гору На юго-западной стороне сохранилась еще половина шестигранной генуэзской башни и рядом с нею остатки воротной стены, с широкими пазами, по которым когда-то ходили подъемные ворота. Прямо под ними зияла крутизна, а вдали по невысоким горам белой лентой вилась дорога. Много раз,— подума-

лось мне,— давно умершие люди с тревогой смотрели отсюда на залив и на дорогу, ожидая врагов... Теперь по дороге двигались заметными точками два грузных липованина.

Есть что-то особенное среди развалин. Какое-то специфическое ощущение прошлого, насыщающее почти до осязаемости атмосферу, прорезанную мшистыми камнями и неправильными изломами старых стен. Что-то щемящее, проникнутое грустью почти до боли душевной и вместе веющее в душу странным успокоением... Не замечаешь, как летит время. Белые облака тихо продвигаются в пролетах бойниц и окон, высоко в небе парит хищная птица, и сухая трава колышется и шепчет что-то, так доверчиво, как будто вы непременно должны ее понять, и так жалобно, потому что вы все-таки ее не понимаете! Проходят минуты, или часы, или годы... В самом деле, разве столетия, которые пронеслись над этими стенами, не кажутся теперь минутами, а в настоящие минуты не промчались в душе призраки целых столетий...

В этот раз «ощущение прошлого» говорило во мне особенно сильно, может быть потому, что у моих ног расстилалась Добруджа, романтическая и сонная степь, переживающая сны прошлого, но еще не проснувшаяся для трезвого, настоящего дня. Внизу широко и далеко расстилался лиман, окрещенный именем Стеньки Разина. Чуть заметная, тонкая мгла делала синюю поверхность почти матовой, и под нею скорее угадывалось, чем замечалось тихое переливание ряби. Вот сверкнула вдруг на воде тонкая серебряная полоска, заискрилась, постояла и угасла. Может быть, метнулась зашедшая с моря крупная рыба, или поднялась встревоженная стая диких гусей... Впрочем, вот и причина тревоги: черной полоской на лимане мелькает лодка, и над ней расплывается клубок белого дыма. Гул выстрела скрадывается расстоянием.

Далеко!.. Через минуту я уже не могу разыскать глазами эту лодку, и светлая струйка исчезла, как сон. Где-то под самой полоской туманной земли, отделившей лиман от Черного моря, мелькнул парус, осветился на повороте косыми лучами солнца и тихо угас... На косе чуть виднеется миниатюрная колоколенка. Ближе, на берегу лимана, Сарыкиой мелькает белыми стенами среди

зелени садов, за ним мреют очертания Махмудийской горы... А затем только ровная гладь воды и смутная волнистость степи...

Все проходит, все угасает, как сверкающая полоска на глади лимана. Исчезли генуэзцы, строившие эти стены, исчезло могущество османов, их возобновлявших. Заросло гирло, по которому проплывали когда-то корабли, стихли военные крики вольницы, в течение веков проносившейся по степи и исчезавшей, как пыль, подымаемая ветром... Затихла братоубийственная борьба запорожцев и некрасовцев, резавших друг друга на низовьях Дуная; ушли и турки. История перевернула свою страницу, и последние отголоски исчезающего прошлого сказываются разве в сравнительно благодушной борьбе между противниками оспы и бабадагским мировым судьей... Анархическая степная воля отступает перед государственным укладом...

Все проходит!.. Вот, почти на середине лимана, обвеянный синеватою мглою, лежит, как спина чудовища, остров Попин. Существует старая легенда: в пещере, на Енисалейской горе, жил огромный змей, который подземным ходом пробирался отсюда на остров и ложился там, глядя выпученными глазами на степь и море... Остров весь изрыт кладоискателями, находившими, вместо змеиных сокровищ,— катакомбы и подземные церкви... Над ними проходили столетия; люди, копавшие катакомбы, сами слышавшие старую легенду о змее, давно истлели в могилах. Приходили новые, искавшие воли или хотя бы только безопасного приюта на белом свете, кидали в эти волны свои сети, повторяли те же легенды, дивились на развалины Енисале и умирали. И еще новые пришельцы раскапывали следы их собственных жилищ... И так таяли поколения, как эти белые облака, плывущие по синему небу, как синие волны, ровными грядами набегающие на берег внизу, под моими ногами, в умершем дунайском русле.

И я с грустью думал о том, сколько таких волн, живых и сверкавших уже в мое время, теперь вошли в иные русла или затихли, затянувшись, как лиман, дремотными плавнями. На этом самом острове в 70-х годах мой тульчанский знакомый, русский доктор, бродил со своею рыболовной артелью, отказавшись от привилегий обра-

зования, от своей профессии, от всего своего прошлого, для мечты, одушевлявшей тогда его поколение...

Прошло и это...

Я отдавался воспоминаниям, и часы летели над моей головой. Тени старых башен ползли вниз по горному склону и уже легли на плавню.

Внезапно я вздрогнул от неопределенного беспокойства. Мне вдруг показалось, что я не один среди развалин. «Ощущение прошлого» сгустилось до иллюзии и вскоре приняло ясную звуковую форму. Кто-то будто шептался невдалеке. Кто-то хрипел.

Я приподнялся. Камень сорвался из-под моей ноги и полетел вниз, подскакивая на крутых уступах. Когда я опять вошел внутрь крепости,— все было тихо. И однако мне казалось все-таки, что кто-то есть недалеко и сторожит меня. В памяти вдруг возникли странные звуки, которые еще в то время, когда я весь отдавался своим воспоминаниям, будили мое внимание, поглощенное прошлым. Все это теперь стало до того живо и осязательно, что я решился обойти кругом крепости.

Я уже кончал свой обход, никого не встретив. Но вдруг я невольно вздрогнул и остановился: несомненно кто-то хрипел, недалеко, под моими ногами.

Тут была большая яма, сажени в три длины и в полторы ширины, правильной формы, выложенная ровно обтесанным камнем. Можно было догадаться, что это углубление служило когда-то водоемом для гарнизона крепости. После минутного раздумья я спустился туда. Мне пришлось спрыгнуть на кучу камней, которая с треском подалась под моими ногами, и я скатился вниз. Поднявшись, я очутился против большого углубления, свеже выбитого в стене бывшего водоема. В этом углублении, прислонясь к разрытой земле и закинув голову, спал неизвестный человек.

Шум разбудил его; он раскрыл глаза и уставился на меня мутными, не то сонными, не то пьяными глазами. Рядом лежали лопата, кирка и еще стеклянная посудина, с остатком вина на самом дне.

Все это было так неожиданно, что я смотрел на незнакомца молча, не зная, что сказать в этих экстренных

обстоятельствах. Он тоже смотрел на меня тупым взглядом круглых, как у птицы, голубых глаз.

— Дудик, ты?.. а где Филимон? — спросил он и затем, не меняя тона, прибавил: — вы, господин, откеда взялись?

— Из Тульчи,— ответил я машинально.

— А я из Журиловки... «Журиловка слобода, у ей хорошая вода»... Слыхали?

Он глупо засмеялся, и глаза его стали смыкаться.

— Русского доктора у Тульче знаете? — заговорил он лениво едва ворочавшимся языком.— Я с ним на мату́ле работал... У нас по двенадцать свечей горело... все рыбалки у красных рубахах... Книжки читали... А я зиму работал, весной прощался. Прощай, староста. Пойду на степь рыбалить. Ты лови, что у воде плаваеть, а я буду, что по степе ходить... Сердится бывало...

Он лукаво прищурился и сделал попытку приподняться.

— Шулика знаете? Я Шулик. Шулик называется птица-сокол... Ну, а я шулик орел. Го-го!.. Человек не простой, имею розум большой. Дед у меня стародубской был, бабушка полячка. Песни польские пела... Круля, крулеву... етое все нам известно...

Он засмеялся, пробормотал еще несколько невнятных фраз, в которых попадались польские и румынские слова и виднелись попытки рифмованной речи, и закрыл глаза. Но вдруг они опять открылись, губы странно искривились, нос заострился крючком, и вся физиономия странного Шулика приняла действительно выражение хищной птицы.

— Хотите вы одному человеку так сделать, чтоб его не было на свете?.. Моя бабушка умееть, и я умею. Сделаеть одну плачинду [1], скажеть слово: человек сам придеть, возьметь ету плачинду, скушаеть,— и готов. Вот какой человек Шулик. С Филимоном клады копаю... Слово знаю... Давай вина, Филимон! Господина угостить...

Он опять прищурился, но вдруг глаза его угасли, на этот раз окончательно: на мгновение в них мелькнуло

---

[1] По-румынски — пирог.

еще изумление, как будто вопрос, а затем, откинувшись на спину, он захрапел. Наверное и я, и весь наш разговор явились для него лишь эпизодом сна.

Я выбрался из ямы с неопределенным ощущением. Бессвязные разговоры человека-птицы, в которых было столько фантастического, служили как бы продолжением моего фантастического настроения. Стародубье и Польша, и даже история русского доктора, и все, о чем я думал под старой стеной над лиманом, казалось, носится также туманными образами над этим спящим субъектом. Однако,— кто же этот Филимон и Дудик, о которых упоминал Шулик? И где они?

С этими мыслями я спустился за крепостную стену, намереваясь заглянуть еще в змеиную пещеру и затем спуститься вниз. Спуск был извилистый и крутой. Тощий ясень, висевший над кручей, уцепившись за расщелины скал, прикрывал вход в пещеру. На его ветках качались от ветра клочки волос, какие-то ленточки и обрывки разноцветных материй. Это служило мне указанием Я знал, что на Троицын день откуда-то из лесных скитов сюда приходит старый калугер и, водворившись в пещере, лечит больных лихорадкой в гроте, освещенном восковыми свечами. . Полупомешанный калугер шепчет странные заговоры, больные ползают по сырому полу пещеры и потом, исполняя какой-то языческий обряд, вешают на ветвях ясеня ленты и волосы в жертву неведомому божеству прошлых времен.

Дойдя до входа, я остановился. . Было темно Когда глаза мои привыкли несколько к темноте, я увидел, что из глубины сталактитовой пещеры на меня смотрят две пары тоже как будто испуганных глаз.

Здесь было два человека. У одного была длинная седая борода, почти до пояса, благообразное старческое лицо, узкие плечи; небольшая сгорбленная фигура была одета в синий русский кафтан. Старик глядел на меня робко, сконфуженно и вопросительно. Из-за него выглядывало безусое, сморщенное лицо с узенькими, совершенно потонувшими в морщинах, глазами.

— Пожалуйте, господин,— первый заговорил благообразный старик. подымаясь со сталактитового выступа.— Насчет пещеры имеете любопытство? Дудик, пропусти.

Он говорил спокойно и повелительно, как настоящий хозяин этого места... Наружность старика была приятная и внушала доверие. Он имел вид почтенного начетчика или вернее — сектантского учителя. Благообразное лицо с румянцем свежей старости, благодушные серые глаза и тонкие, по временам старчески жующие губы.

По его приказу субъект, названный Дудиком, торопливо выскочил наружу и стал у входа. Это был человек неопределенной национальности, неопределенного возраста; одет он был в одежде городского покроя, совершенно неопределенного цвета и по-видимому был чрезвычайно робок. Мое появление испугало его, и теперь, стоя у стены, он держался рукой за выступ, и его колени в узких брюках заметно дрожали...

Приглядевшись, я узнал обоих. В Тульче я не раз видел Дудика в открытом широком окне портняжной мастерской. Он сидел на лавке по-турецки, подогнув колени, и целые дни шил, делая торопливые стежки.

Старика звали Филимоном, и он порой заходил к русскому доктору. Профессия его была неопределенная: он бродил по Добрудже по лесам и на старых вырубках и добывал «копанину» — древесные корни, из которых приготовлял клещи для хомутов, затейливые набалдашники для палок и тому подобные предметы. Он был немного художник. Фантастические головы на набалдашниках и трубках его работы имели все одно выражение: какого-то свирепого недоумения. Покупались его произведения охотно, и зарабатывал он достаточно для своего одинокого существования... Поработав несколько недель сначала в лесных трущобах, а потом на дому,— он превращал свою каморку в настоящую лавку причудливых палок, вешалок, трубок и хомутовых клещей, потом распродавал их на базарах и любителям, и затем запирал опять на замок убогое жилище и исчезал на целые недели, бродя среди старых городищ и роясь в курганах.

Эти экскурсии быстро поглощали его небольшие сбережения, и по временам он являлся в город, чрезвычайно озабоченный, делая торопливые займы. По-видимому в Тульче, Бабадаге и в богатых селах у него были приверженцы, слепо верившие в его судьбу и оказывавшие ему кредит.

Самым горячим из них был Дудик. Существование этого бедняги было вообще чрезвычайно жалкое. Жизнь он вел трезвую, работая от зари до зари. Только когда Филимон заканчивал распродажу своих произведений — на Дудика нападало состояние вроде запоя. Он становился беспокоен, раздражителен и в конце концов исчезал вслед за Филимоном...

При турчине кладоискателям можно было рыться где угодно. Румын и тут «сделал стеснение», требуя предварительных планов и объявок. У приятелей не хватало средств для снятия планов, и они копали тайком, «украдучись». Филимона это не смущало. Он смотрел на свои поиски лишь как на предварительные. Сначала нужно добыть хоть «малое количество», ничтожный клад «тысяч хоть в двадцать пять франок»... А затем он уже примется за настоящую работу.

С этими двумя искателями столкнула меня теперь капризная судьба на развалинах Енисале.

— Вот, извольте посмотреть,— радушно говорил мне Филимон.— Вот сюда... Это была его пещера... То есть самого ераклейского змия. Тут имел пребывание и отдыхал .. Тут лежало его туловище. Вот сюда был поднявши его хвост. А главу держал здесь... А вот тут, самое это место — видите: следы лап и когтей... Вот... где цапано по камню...

Большая, грузная капля воды сорвалась со свода пещеры и шлепнулась на руку старика, показывавшего мне, где именно «цапано».

— Да не вода ли это и выбила ямки? — усомнился я.

На Филимона это замечание не произвело никакого впечатления. Но Дудик метнулся от входа, наклонился, пощупал пальцами и посмотрел кверху. Через некоторое время новая капля шлепнулась в другую ямку на камне. . Потом долго ничего не было слышно...

— Во-во-во... да? — сказал Дудик, сильно заикаясь, и умоляюще посмотрел на Филимона.

— Все может быть,— ответил Филимон спокойно.— Только видите сами: явственно обозначаеть пять когтей.

Дудик опять наклонился, сосчитал следы, действительно поразительно напоминавшие отпечаток когтистой лапы.



«НАШИ НА ДУНАЕ»



«НАШИ НА ДУНАЕ»

— Во-во-от, — сильно заикаясь, произнес он, поднимая глаза кверху, где уже тихо набиралась новая капля.— Гляди, Филимон... опять вдарить...

Старик спокойно отвернулся от Дудика и сказал:

— Да тут, впротчем сказать, сумма положена не большая. На три локтя от входа, где обозначает левую лапу. Самое вот это место, «змеиная капища»... А только сумма небольшая действительно. Вы по этой же части? — спросил он живо. — Может имеете чертикат (разрешение)? Так мы бы с вами вместе, сопча...

— Нет, я просто интересуюсь стариной.

Старик важно погладил бороду.

— В наших местах старинности много. Это вот крепость Ераклея. Здесь ераклейский идол стоял, к коему во времена Маккавеев сгоняли на поклонение. Много здесь этого. Около Славы тоже городище старое, царица какая-то строила. Монета старинная по земле рассыпана, сказывають так, что еще Александры Македонского. Я там плитку нашел мраморную, на плитке облик и цифирь римская. У меня ее господин Стефанеску купил. Сказывали после — маре антика, значить по-русски сказать: большой антик. В музее находится. Вам что? Выйти угодно?

— Да, здесь сыровато.

— Действительно, и у меня кости что-то мозжать. Дудик, возьми кирку.

Дудик покорно захватил кирку и последовал за нами наверх. Старик проворно вскарабкался на выступ и, обойдя стену, вывел меня на площадку, с которой открывался опять вид на лиман, на Махмудийские горы и на степи Добруджи. Он присел и погладил бороду. В его лице виднелось какое-то особенное достоинство и спокойное довольство владыки, обозревающего свои владения.

— Вас как звать, господин? — спросил он не без важности.

— Владимиром. А вас, кажется, Филимоном?

— Знаете, стало быть? Это не вы ли у русского доктора в Тульче проживаете?

— Да. А вы тоже, кажется, не здешний уроженец?

— Мы давно из Рассеи выбежали, из Стародубья.. Дедушка мой, покойник, еще жив был... Давно...— прибавил он опять, помолчав.

— Из-за веры? — спросил я.

— За нее,— ответил он неохотно.— Всяк по-своему с ума-то сходить. Много я их, вер этих, видел.

— А теперь?

— Да мы молокане были... Я, признаться, теперь не хожу и к ним. Вы пресвитера ихнего, Василия Федорова не знаете?

— Знаю.

— Обличает он мене. А я говорю: посмотрите на свое обчество, особливо на молодежь! Пьянство, песни, а добрые дела-то где?

Он усмехнулся тонкой улыбкой и сказал опять:

— Ты, говорить, мосон. Это он хохлу Карпенке поверил... Карпенку знаете вы? Нет? И не связывайтесь вы с ним, пожалуйста... этот хохол на бабинской дороге, на одиннадцатой километре гору раскапываеть. Там, действительно, большая сумма заложена, да взять-то он не умееть. Народ обманываеть. Сколько на него уже работали даром! Вот у Дудика выманил последние шестьдесят франок. Подумайте: человек семейный... В землю закопал деньги!

Лицо Дудика приняло выражение глубокого отчаяния. При напоминании о шестидесяти франках глаза тусклого человека замигали, и губы повело судорожной гримасой. Но тотчас же, при дальнейших словах Филимона, черты его осветились детской благодарностью.

— Ничего. Я его утешу,— благодушно продолжал старик.— Не попомню зла, что он мне из-за Карпенки измену сделал... Молчи, Дудик, потерпи, будеть и на твоей улице праздник.

Он повернулся ко мне и сказал со спокойной уверенностью:

— Этот клад я возьму. Я рожден под тою планетой, что мне найтить большие несметные деньги. Про меня в планетнике сказано, «что будет искать себе счастья по морям и по водам, и наконец найдеть под землею». И притом вся моя физиономия описана... Уже искал я и по морям и по водам,— сказал он с легким вздохом,—

всего видел. Теперь уже мне семьдесят восемь лет. Приблизилось мое время,— найду, беспременно, под землею...

Я с удивлением взглянул на него... В словах «планетника» слышалась такая горькая и зловещая шутка! Но лицо Филимона было ясно. Дудик смотрел на него с надеждой и благоговением.

— Этот Карпенко чуеть, что я возьму, где он не можеть. «Вин, кажеть, немоляка, мосон». А что такое мосон, разве они понимают?

— А что же это такое?

— Такие были иерусалимские каменоломщики. Тайности природы проникали, внутренность земли видели. Я думаю, не иначе — по планетам? В историях пишуть, что будто весь видимый мир отпечатан в планетах, как все равно в зеркале. И есть люди астрономы, по писанию иначе называемые звездочеты. Они не то что, например, считають звезды. Это невозможно для ума человеческого. А глядять в трубы. В трубе у него планета, а в ней отражение всего мира вещественного...

Дудик подвинулся ближе и, приподнявшись на локте, жадно слушал слова Филимона.

— Теперь,— продолжал Филимон тоном ученого, раскрывающего тайны науки,— взять спиритизьму. Знаете, господин, что такое спиритизьма?

— Немного слыхал.

— К чему ее применить? Василий Федоров, молоканский пресвитер, считает за волшебство. Неправда, не волшебство, а отражение мира невидимого. Я человек мало ученый, а эту натуральность понимаю...

Он задумчиво улыбнулся и продолжал тоном величавого презрения:

— «Ты, говорить, душу свою погубил. Немоляка ты, мосон, волшебник!.. Ты бы хоть к жидовской синагоге или к турецкой мечети пристал, все лучше»... Не надо мне...

Он пожевал губами, как будто пережевывая что-то невкусное, и сказал:

— Много я этих вер видал: беспоповцы, хатники, астрицкие, филиповские, федосеевские, молоканские. Одни к других проклинають, анафеме предають... От Меркурия все это идеть... Темное меркуриево порождение!

— Как от Меркурия? — удивился я.

— А вы не знаете? Таковые вероучители больше под меркуриевой планетой рождаются. Об них сказано в планетнике: «лоб имеют низкий, ум короткий, тело тяжелое, к работе мало охотны, философы и ворбиторы, по-русски сказать — ораторы, а без веры сердечной... Полководцы и великие обманщики именем божиим»... Сколько я их видал, со всеми поругался.— «Вы,— я им говорю,— меркуриево порождение, ваша планета темная». И верно. Вы в Галаце бывали?

— Бывал.

— Видели: там извозчики, биржари,— всё скопчики. И есть там один, Федор, по-здешнему Тодор. Так тот говорить мне раз: «Я, говорит, бог!» — Хорошо, говорю, вы бог. А какое ваше занятие? — «Биржарь».— Значит дать вам франку, вы меня можете в рай доставить?

Филимон засмеялся. Дудик тоже хихикнул.

— Полиция и та его знала. Приходить гвардист:— «Унди есте Тодор?» — Какого вам Тодора надо? — «Тодор Думнезеу» (значит по-румынски «бог»). «Надо, говорить, Тодора Думнезеу у часть, к комиссару». Этот Тодор родился в 1837. Все такие: тридцать седьмого, сорок четвертого, пятьдесят первого — всё обманщики именем божиим. Много я к ним присматривался, пока не понял. Потом уже наскрозь всех разглядел. Войдет он—я его вижу вся нутренняя. Раз прибежал из Рассеи человек, зашел ко мне. Лоб маленький, глаза с мечтой. Глядить на тебя и не глядить, из себя сухой. «Вы, говорю, когда родились?»—В 1851 году, говорить.—«А пророком не бывали?» — Нет, не бывал.— «Ну так будете вы большой пророк». Так оно и вышло. Оказался такой пророк, что хлеба не стал есть; обнаружились у него и ученики таковые же, тоже не едять: молоко можно, творог, капусту, сноски... А хлеба ни крохи. И то семь ден постятся, на восьмой поедять. Вскоре стали помирать один за одним.

Дудик закинул голову, как петух, собирающийся крикнуть, и судорожно захихикал. Филимон, все так же с сожалением глядя перед собой, продолжал:

— А то есть еще констанцкой жудецы (уезда), город Мангалия, над Черным морем, к болгарской границе, во-он, туда...

Он кивнул головой в сторону Черного моря, на юго-восток.

— Около этого города есть деревня, в ней семей тридцать скопцов. У них опять таковой же человек меркуриевой звезды был. Из России перебежал... Тот сказал всем: «Сто дней буду поститься, на сотый день вознесусь на небо. Не то что как-нибудь поститься — воды не стану пить». Ну, стали к нему собираться, особливо женский пол, плачуть, в восторге бывають. Я, признаться, в то время тоже искал этого. Думаю, вот чудо объявится... Потащился и я в Мангалию...

— Что же, умер?

— Посейчас жив, как бык!.. И ведь вот удивительно. Таковому обманщику и теперь верять, он, говорять, лучше Христа. Тот сорок дней постился, а наш сто, и то живой. Этот рождения сорок четвертого году, тоже под Меркурием. Собрал себе таких же: сухие, короткоробые... Стали они радеть в хатах: кричать, вертятся, конец мира возвещають, делають неистовства. И дверей, подлецы, не закрывають. Народ мимо ходить: болгары, молдавана, турки — станугь на улице, глядять, соблазняются. Ну, тут уж другие, из ихних же, которые в другие годы рождены, особливо под Сатурном,— повскакали у хату, где они вертелись, давай их кулаками потчевать. Той вертится,— он его кулаком, другой вопиеть,— он его в ухо, третий пророчествуеть,— он его под ребро и на пол...

Филимон замолчал, все так же поглаживая бороду, и затем сказал:

— Много от веры заблуждения бываеть. И в других прочих верах, всё они же более, меркуриево племя, действують. Той из одной чашки с тобой не есть, другой ближними гнушается А я так одного жидовина всех больше любил. В двадцать восьмом годе рожден, под знаком солнца. Лик имел светлый, открытый, взгляд быстрый. Много мне этот мудрец открыл... Вол-шебство! Нет,— решительно переменяя тон, продолжал он.— По этому делу чистота требуется. «Найди ты, говорить, Филимонушка, отроковицу или отрока, чистых, у коих, говорить, душа не возмущалась еще нечистым помыслом. Положи на землю зеркало,— они через это зеркало

увидять земную утробу». Это вот верно. Самая сущая правда...

— Что же, вы пробовали?

— Пробовал,— неохотно сказал Филимон.— Мир теперь осквернился и девство уже нечисто. Сказывали мне люди,— попытай в Муругеле девицу у Ивана рыбалки... Нет, запоздал!.. Худого я про нее не скажу: девица непорочного поведения... Ну, не видит уже: «зеркало, дедушка, больше ничего». Ну, видно, милая познала нечистый огонь желания, душа-то и замутилась... В этом деле вот чистоту какую нужно! А они — волшебство!

Он вдруг перевел глаза на меня и стал пытливо всматриваться в мое лицо.

— А вы, господин,— в котором году рождены?

— В 1853,— ответил я с недоумением.

— Как вы в этот год попали? — с раздумьем произнес Филимон.— Этого рождения люди очень крепки корпусом. А год хороший,— произнес он ласково.— Верно, что вы не по «этой части» ездите?

— Верно: не по этой.

— Жаль. Я бы вас в компанию взял. Год ваш хороший. Мене доктор в Тульче знаеть... Здесь сторона такая,— только заняться умному человеку. Как ночи пойдуть темные к осени или весной, — так тут по всей степе всё огни горять. Деньги очищаются.

Он окинул мечтательным взглядом расстилавшуюся у наших ног за лиманом равнину и остановил глаза на синей Махмудийской горе.

— Вон у той горе находят много древностей... Найдена подземная древняя церковь и там дароносица... Англичанин приезжал, астроном, хотел купить это место у казны. А клады не на том месте. Клады подальше, в горе. Дудик ходил туда.

Дудик утвердительно мотнул головой.

— Семь человек их собралось и турчин с ними (опять утвердительный жест со стороны Дудика). Нашли ход между камней, отмерили тридцать локтей от дуба, и тут обнаружилась железная плита. А у турчина черная книга, по коей клады отчитывають.

Дудик насторожился и удивленно поднял брови.

— Дал он всем по свече и говорить: «Смотрите... Что бы ни увидели, что бы ни услыхали,— вы молчите! А скажете слово, беда!» Подняли плиту, спустились по лестнице, видять: в горе большая горница, выложена камнем. Турок раскрыл книгу, читаеть...

Дудик сделал беспокойное движение.

— Читал-читал, выбегаеть собачка, побегала, понюхала, ушла. Потом выбегаеть буйвол, огромная животная, престрашного вида. Стал на месте, взрыл копытами землю, как взреветь страшным голосом, так что содрогнулась земная утроба. Тут один еврей не выдержал, крикнул. Откуда ни возьмись поднялся вихорь, вынес всех из подземелья...

На лице Дудика виднелось полное изумление. Он заикнулся, хотел сказать что-то, заикнулся еще сильнее и наконец сказал:

— Д-д-дя-дя Фил... Фи... Филимон... Т-турки н-не было́... И со...со...собачки тоже не было́...

Филимон в свою очередь посмотрел на него, как человек, пробужденный от сна, и сказал:

— Не было́?.. Как не было́?.. Ах, да! Это не с тобою. Это они с Шуликом ходили. Верно, верно. Ну, однако, в той же было Махмудийской горе...

Он перевел свои добрые глаза на другие места степи, на которой тихо угасали лучи заката. И все места, на которые он смотрел, как будто оживали под его взглядом. Земная утроба, ревниво хранящая свои сокровища, разверзалась, и оттуда сверкало золото, «очищенное уже огнем» и ожидающее человека. Вон там, на юго-западе, под Кала-гарманом, привлеченный ночными огнями, турок раскопал печку, а в печке оказались... угли. Но это турчин или выдумал, чтобы скрыть золото от правительства, или действительно не догадался: в печах всегда закапываются клады, а угли если кладутся, то лишь для приметы. Под Исакчей огонь горел у старой мельницы. Мельник стал копать и выкопал корыто, а в корыте гнилое просо, труха. Мельник опять не догадался, что это только примета, просо выкинул, а яму заровнял. Повыше Махмудие есть деревня Куртбаир. На заре мимо этой деревни шел человек, и видит: горит огнем, будто хата. На этом месте после нашли могилу, вроде избы, а денег опять взять не сумели.

Филимон говорил долго и с важным спокойствием. Дудик уже забыл свои недавние недоумения и слушал его, как загипнотизированный. Я тоже слушал Филимона с истинным наслаждением: его речь была образна, в самом голосе была какая-то тайная сила внушения. Я глядел на темнеющие степи, на задумчивые холмы, над которыми косые лучи солнца уже только скользили, не освещая... И мне казалось. что я сам вижу и огни и золото, сверкающее в глубине земной утробы. Но все это были еще малые клады («тысяч по двадцать и по сту»). Такой же клад должен был находиться и в енисалейской крепости в том месте, где водоем... Но самый главный клад заложен в кургане по бабинской дороге, где хохол Карпенко раскапывает могилу, не зная тайны...

История этого клада не особенно древняя, но, быть может, чудеснее всех остальных. Я уже видел ранее самый курган, безобразно разваленный лопатами, видел однажды даже хохла Карпенко. Он стоял на свеже разрытом бугре и распоряжался работами. Он приехал нарочно из России, копал уже два года; сначала у него работало сто человек, потом это число уменьшалось, доверие к хохлу падало, и теперь он едва находил по десятку забулдыг, которых поил водкой и подбодрял чудесными рассказами. Фигура Карпенко была огромная и мрачная Широкая, желтая борода, огромная бородавка на носу, брови, как усы, и тяжелый взгляд единственного глаза,— все это придавало старому кладоискателю вид угрюмый и даже зловещий.

Что его привлекло из России, откуда он, в Херсонской губернии, узнал о небольшом кургане над дунайской плавней,— сказать трудно, несомненно только, что слава скромного кургана носилась далеко среди подвижного и предприимчивого на все фантастическое населения Добруджи. Около него рылся какой-то неизвестный солдат, потом какой-то «святогорец» бросил келью на Афоне и, в монашеском одеянии, бродил с старинными «описями», в которых значится и этот курган Потом говорили о каком-то приезжем из России офицере... Наконец, появился Карпенко и, взяв разрешение, приступил к серьезным работам. На эти работы смотрел, улыбаясь, Филимон, уверенный, что он один знает секрет клада.

И действительно, Карпенко уже «закопал в землю» собственные деньги, деньги Дудика, поплатились доверчивые тульчанские купцы из русских и даже один скупой болгарин; разрыли курган до материка, развалили землю по сторонам, но не нашли ничего. А Филимон все улыбался...

И теперь эта улыбка бродила на его лице, когда, глядя на северо-запад, он движением руки указывал мне в направлении к томно сверкавшим излучинам Дуная.

— Да может там ничего и нет? — сказал я.

— Есть,—уверенно ответил Филимон.—Я тут когда-то копанинку искал; нашел на учурку да на пару клещей, иду назад по шакчинской дороге. Гляжу: сидить человек, сделал себе тенку от солнца. Здравствуйте, говорю. — «Здравствуйте». — Разговорились. — «А здесь, кажеть, деньги есть, да еще не очищенные. Русский генерал Краснов поклал...»

— Зачем?

— А это, видите, было после войны, двадцать восьмого году. Русские, значить, стояли у Адрианополе, а турки призвали из Надолии, с теплой стороны, всякую урвань. А в теплой стороне в тую пору была чумная боль, умирали дюже шибко... Вот турки стали перевозить таких умерших и пускали в ручьи и реки. И пустили заразу. Тогда, значить, русские войска снялись и пошли назад, а турчин кинулся им наперерез, от Калафату. Да видишь и сам не поспел ускочить: как попал на это место, так и пошло его косить — все так и луснули, а русской уже подался к Шакче (Исакче)... Поставили высокие шесты, запалили смоляные канаты, сделали ночь, как день, снялись русские войски, всё идуть и идуть. Потом прошли и стало место, где были лагори, пусто... А она, боль, притаилася. Вот на заре, на самой, скачеть на почтовой тройке кульер к главнокомандующему, и на нем сумка с казной. Как доскакали до того места, так тут все и погибли: пали лошади, помер ямщик, и сам кульер отбежал недалеко, тоже помер. И случилось на ту пору, булгар проезжал из лесу. Видить: все мертвые, и сумка лежить с казной. Взял он слегу большую, зацепил тую сумку, волокеть к себе. Когда посмотрить, а из сумки выскочил вроде клубок дыму, да по

слеге к нему ползеть... Он кинул и шест и сумку, давай бог ноги. Прибежал к генералам: так и так. Тогда значить поняли, что она, боль эта, больше всего угрызается в металл. Вот царь Миколай и приказал генералу Краснову всю войсковую казну закопать в землю. На семнадцати тройках привезли и закопали в самый этот курган...

— Отчего же до сих пор не выкопали?

— Боялись, что не очистились еще. Приходили два солдата из Рассеи. Царь Александра Миколаевич бумагу им давал: ежели, говорить, что-нибудь станет Карла румынской прекословить, скажите: мои это деньги. А Карла, видишь, не дозволил: вы на мое королевство боль пустите... Ну, теперь уже я верно знаю, что все очистилось... Только бы как-нибудь Карпенку с этого места содвинуть, я этот клад весь возьму. Плант сделать нужно, требуется пятьдесят франок... Я говорил землемеру, сделай мне плант, а я тебе после полбочонка золота отсыплю... Не хочеть... дурной человек, под Венерой имеет рождение...

— Эй, Филимон!

Мы все трое вздрогнули от неожиданного окрика. Он раздался сзади из развалин, и эхо старой башни придавало ему странный отголосок.

— Филимон, старый черт! Куда схоронился?

Филимон весь съежился и стал приподыматься с земли, упираясь старческой рукой в камень. В пролете башни, всклокоченный, с заспанными глазами появился человек-птица, которого я видел в старом водоеме. Лицо его запухло, борода свалялась, он был, видимо, сердит и недоволен. Подойдя к нам и не обращая внимания на кого-нибудь в отдельности, он сел на камень и дрожащими руками стал свертывать папиросу, поставив предварительно на землю пустую бутыль.

— Пустая! — сказал он, указывая на посуду. И потом, вытаскивая из кармана коробку спичек, прибавил лаконически: — ну, давай франку! Побегу за вином в Енисалу, а то к багаджию.

Старые глаза Филимона заморгали еще сильнее. Передо мной, вместо недавнего владыки гераклейских,

махмудийских и вообще всех добруджанских сокровищ, был жалкий сконфуженный старик, глядевший на человека-птицу виноватым взглядом.

— Послушай, что я тебе скажу, Шулик...

— Я тебе не Шулик,— отрезал тот.

— Ну, Макарушка, послушай ты меня. Давай без вина копать. Скоро откопаем малый клад...

Шулик строго посмотрел на старика и сказал гордо, сквозь зубы, в которых торчала еще незажженная папироска:

— Что еще будешь мне говорить?.. Ты меня, Макара Шулика, не знаешь?..

Филимон заискивающе и подобострастно засмеялся.

— Бедовый ты, Макарушка, право бедовый. Ну, что делать. Я сколько тебе обещал от этого клада? Двадцатую долю? Бери десятую часть! Ну, ну, пятую... Пять тысяч франок?

— Вина мне давай!

— Нету, Макарушка...

— Так пущай же тебе черти копают...

— Ах, Макарушка, в нашем деле нехорошо такие слова говорить. Ну, что делать! Мы с Дудиком как-нибудь без тебя уж... А то... ты и сам не копаешь, и нам не даешь ходу.

— Бе-ез мене? — спросил Шулик с злобной усмешкой...— А бумага у тебе есть? — спросил он вдруг совершенно начальственным тоном...— Покажи чертикат, покажи планты...

Он чиркнул спичкой, закурил и, важно усевшись на камне, сказал:

— Я здешний человек, Журиловский... Мене мэр знаеть... а вы кто такие собрались? Сейчас у Енисалу до нотаря дойду, он вас усех тут шатающих...

Но тут глаза его остановились на мне. В них мелькнуло какое-то воспоминание, и он прибавил смягченным тоном:

— Я не про вас, господин. Вы можете понимать Шулика... А они кто? Тьфу!

Он сплюнул и презрительно засмеялся.

— Пять тысяч сулить... Дурак! Давай ты мне пять франок, да сейчас! Слышишь! Чего тут шукаешь, гойова!..

Вид у Филимона был совершенно уничиженный. Он забормотал что-то о железной плите, о какой-то комнате под водоемом, куда липоване опускали на веревке шалыгу, и как эта шалыга стучала в чугунную дверь, о том, как на горе бывают огни... Но Шулик, скептический и наглый, только смеялся.

— Огонь! Где ты видел огонь на горе? Огонь бывает на степе...

— Ну, вот, Макарушка, и на степе тоже.

Шулик многозначительно подмигнул мне и сказал:

— Нар-род! Дураки, так они дураки и есть. Правда, господин? Он думаеть, как огонь горит, то сейчас ему и клад. А того не понимаеть, отчего он, огонь, только под пасху горить?

— А отчего?

— Я знаю отчего! — сказал он самодовольно.— Вы у меня спросите: тут прежде запорожцы были. Знаете запорожцев? Войну усё делали, вбивали их на войне много, да у могилах закапывали. Вон там усюду, по степе: где увидите могилу, называется курган, то под каждым запорожец лежить... Такой у них закон был: кого на войне убьють, то они бывало миром мирують. Так ето теперь под пасху миро над могилами горыть... А они думають,— клады. Ха-ха-ха!

Шулик хрипло засмеялся и, довольный своим объяснением, опять подмигнул мне, как человеку, который может его понимать.

— Усякая вещь имеет свою натуральность,— прибавил он докторальным тоном. Очевидно, он считал себя материалистом.

Филимон тихо дернул меня за рукав и отвел в сторону, за угол башни. Войдя на время под старые ворота, он порылся в темном уголке и вышел оттуда с посохом, набалдашник которого изображал фантастическое чудовище. Палка была, видно, недавно начата и даже не отделана.

— Хотите палочку, на память? — сказал он, не глядя мне в глаза.— Дадите отделать, палочка хорошая...

— Хорошо,— сказал я.— Но ведь вы бы ее продали. Скажите, сколько это стоит?

— Четыре франочки не покажется дорого?

— Хорошо, возьмите пять.

— Нет, четыре будет... Дурной человек этот Шулик, напрасно я с ним и связался. А теперь уж нельзя. Малость и докопать-то осталось, а он вот как поступаеть...

Я отдал пять франков. Старик густо покраснел, принимая деньги, и сказал застенчиво:

— Можеть и не стоить пять франок. Ну, хорошо, господин, найду клад, и вы счастливы будете. Фунт золота отдам...

III

Новый крик донесся, заглушенный расстоянием, снизу. Это подымались на гору и звали меня мои знакомые липоване, уже возвращавшиеся из Журиловки. Филимон забеспокоился, встревоженный Дудик выбежал из-за угла.

— Сойдите к ним, господин, поскорее,— попросил меня Филимон.— Нехорошо, когда застанут нас...

— О-го-го-го! — раздался тонкий голос богатыря Ивана Гаврилова совсем близко. Шулик, не торопясь, тоже присоединился к нам. Филимон сунул ему в руку монету. Человек-птица посмотрел ее, усмехнулся и исчез за выступом скалы в стороне, противоположной той, откуда приближались липоване. Пока я следил за ним,— Филимон и Дудик тоже исчезли. Я оглянулся кругом: все было тихо, развалины стояли темные и молчаливые, как в первую минуту, когда я поднялся сюда. Можно было подумать, что моя встреча с «искателями» была сном, если бы над старым водоемом не показалось вдруг испуганное лицо Дудика.

— Кирку, кирку давайте,— прошипел он, указывая на железную кирку, лежавшую на траве, на самом видном месте.

Я подал кирку, голова опять скрылась. В эту самую минуту в разломе стены показалось могучее брюхо Ивана.

— Ну что, сняли планты? — спросил он, отдуваясь и озираясь по сторонам.— Вот она, Ераклея! Поверите: сорок пять лет уже здесь не бывал. Мальчонком бегал... Ишь тишина какая!

И на выразительном лице некрасовца легкой тенью промелькнуло особенное выражение. Очевидно, и на него веяло от этих стен «ощущением прошлого».

Внизу сарыкиойские беглецы угостили нас ухой, и через час наша лодка опять качалась на водах лимана. Из-за стены камыша опять глядела на нас сверху «Ераклея», величавая, потемневшая. Месяц подымался тонким, почти не светящим серпом, глубокое небо искрилось, точно в его глубине ползали мириады живых светляков... Земля и вода, и линии горизонта утонули в сплошном сумраке. Только вверху изломы Енисалейской крепости рисовались на небе причудливо и странно.

— Гляди, гляди, братцы,— сказал вдруг, среди общего молчания, гребец...— На Ераклее опять огонь...

Действительно, на самых верхушках крепостных стен слегка мерцали красноватые отблески. Должно быть, «искатели» варили ужин в водоеме.

— Стало быть, правда? — задумчиво сказал Игнат.

— Очищается...— прибавил гребец, и наша лодка двигалась дальше среди молчания, проникнутого ощущением близкой и глубокой тайны.

Через два дня, на заре, я подъезжал к Тульче. Под самым городом, на росистой дороге, мы обогнали двух пешеходов. Филимон шел спокойно, как всегда. Дудик плелся за ним, подавленный и угнетенный.

1897

Наши на Дунае

I

ХОДОКИ ИЗ «РУССКОЙ СЛАВЫ»

Солнце недавно поднялось, и тульчанская гора кидала еще синюю тень, холодную и сырую, из которой светлой иглой вынырнул только минарет турецкой мечети. Легкий запах росы и пыли ютился еще в кривом узком переулке, где у ворот «русского доктора» начала собираться толпа. Это были все русские люди, в кумачовых и ситцевых рубахах, подпоясанные кожаными ремнями или цветными гайтанами. Бородатые лица, сильно загорелые, наивные, грубые. На головах шляпенки, мягкие и измятые, или жесткие котелки, очень не идущие к скуластым круглым физиономиям. На ногах грубые сапоги, страшно отдающие запахом ворвани и пота, который в Добрудже считается характерной принадлежностью «липован» [1]. У некоторых из-за голенищ торчали кнуты. Лошадей и телеги они оставили на базаре.

— Доктор спить еще? — спрашивает один из них у выбежавшей из калитки служанки.— Что больно долго?.. Гляди, солнце давно взойшло...

---

[1] Липованами в Добрудже называют старообрядцев, старинных выходцев из России.

— Буди, смотряй. А то сами разбудим.

Через некоторое время, нагибаясь в калитке, появляется огромная фигура доктора. На нем старенькая беззаботно примятая шляпенка и летний костюм неопределенного цвета, очевидно много раз мытый. У него седые усы, седина в волосах, черты лица выразительные, крупные, отмеченные грубоватым юмором. Он останавливается, жмурится от света и некоторое время молча, сверху вниз, смотрит на липован. В его глазах светится что-то насмешливое и вместе добродушное. Липоване переминаются под этим взглядом и тоже молчат. Иные улыбаются...

— Ну! — говорит доктор.— Чего вас столько привалило? Какая хвороба принесла?

— К твоей милости, Ликсандра Петрович,— говорит передний липован, с бронзовым лицом, отороченным белокурой растительностью. Черты у него несколько интеллигентнее, и одет он опрятнее других.— Беда у нас.

— Где?

— Да где же еще? У «Русской Славе».

— Что ты говоришь?

— Да вот у нас тут человек. Человека мы тут найшли. Он объяснить. Дыды́кало! Иде Дыды́кало?

— Дыды́кало, выходи! — заговорили липоване, оглядываясь.— Иде ты, черт, хоронишься?

— Дыды́кало! Дыды́кало!

— У кырчму опять улез! Такой человек: голова! Ну, до солнца уже пьяной.

Двое липован выводят из соседней ресторации не то седого, не то только очень светловолосого старика, с длинной бородой и нависшими густыми бровями. Скулы у него пухлые и лицо розовое, как у ребенка, нос красен, как вишня, рот впалый и в нем почти нет зубов. Идет он, при поддержке двух липован, мелкими торопливыми шажками, но вдруг сильно закатывается в сторону и чуть не падает на каменную мостовую.

— Стой ты, черт! Ишь спозаранку готов.

— Налимонился уже!

— А вы чего смотрели. Сказано вам было: не давай.

— Ништо за ним углядишь. И выпил пустяки!

— С воздуху пьяной.

Доктор, огромный и неподвижный, смотрит на приближающегося старца повеселевшим взглядом. Потом берет рукой за подбородок и поднимает его голову.

— Мы-ый! — издает он употребительное румынское междометие, которому умеет придать особую выразительность.— Где вы такого красавчика выкопали? Надыдыкался уже? Милашечка!

Липоване хохочут. Дыды́кало с поднятым кверху лицом жмурится от светлого неба и беспокойно трясет головой.

— Доктор... Домну докторе,— с трудом говорит он...— Ликсандра Петрович...

— Чего мотаешь головой,— негодующе говорят липоване.— Объясняй дело! Об деле тебе пытають. Для чего тебе привели.

Старец оглядывается, вдруг сдвигает брови, топает ногами и кричит жидким пьяным голосом:

— Вон пошли. Все. Не надобны вы! Домну докторе... Ты мине знаешь... Дыды́кало... Напишу, так уж будеть крепко. Рамун зубом не выгрызеть...

— Ну, уберите его,— решительно говорит доктор.— Ступай, милашечка, ступай, проспись где-нибудь...

— Вон все! Ненадобны! — отбивается Дыды́кало.— Домну докторе! Гони их. На что оны годятся... Шкуру драть, больше ничего.

— Поговори! С тебе здерем.

— И верно, когда дела не изделаешь.

— Веди его... Ну-ка, заходи справа... Вот так Наддай теперича..

— С богом.

Старца уводят куда-то вдоль переулка, а доктор, обращаясь к мужикам, говорит:

— Ну, кто у вас тут не совсем очумелый? Говорите, в чем дело. А то уйду.

Мужики сдвинулись и загалдели разом.

— Мы-ы-ый. Стой. Не все вдруг. Говори кто-нибудь один.

— Говори, Хвадей. Или ты, Сидор, говорите...

— Пущай Сидор...

— Нет, Хвадей пущай...

— Ну, Сидор, что ли,— говори,— решает доктор.— Что у вас там?

— Да что, Ликсандра Петрович,— напасть.

— Ну?

— Перчептор[1] одолеваить...

— Из-за чего?

— Да за чего ж? За податей.

— Вот, вот, это самое,— одобрительно поощряет толпа.

— Ну?

— Ну, видишь ты, какое дело... Сам знаешь: при рамуне не как при турчине: за все ему подай. За скотину, значит, за выпас десять левов[2] с головы...

— Это вот верно: обклал кажную голову. Свиненка не упустить: подай ему и за свиненка.

— За пашню по ектарам... Кто сколько ектаров сеял, пиши у декларацию. Потом плати. Так я говорю?.. Ай, может, не так что-нибудь?

— Верно. Ето што говорить, — правильно.

— Вот, значить, самая причина у етом... Видишь ты...

Сидор как-то нерешительно оглянулся на товарищей и крепко заскреб в голове. Как бы по сочувствию заскреблось в затылках еще несколько рук.

— Ну! Рассказывай,— поощряет доктор.— Чего церемонишься. Вы, верно, не сделали декларации.

— Нет. Зачем не сделали? Сделали. Как можно!

— На то у нас нота́рь (писарь) есть. Прима́рь тоже. Как можно.

— Так что же?

— Декларацию-то, видишь, сделали. Порядок знаем.

---

[1] Perceptor — сборщик податей.

[2] Leu — монета, равная одному франку.

Скольки годов у доменей[1] землю рендуем... С самой с туречины. Ну, никогда такого дела не было. Подашь декларацию, деньги у кассу-доменей отвез. Готово.

— А теперь что же?

— А теперь, видишь ты: перчептор землемера привез... Давай мерять...

— И, конечно, вы, милашки, запахали больше, а в декларации наврали...

В головах заскреблись еще сильнее.

— Оно самое,— сказал Сидор.— У каждого ектар, ектар жуматати лишку ангасы́ть[2].

Доктор плюнул и, качая укоризненно головой, сказал:

— Мы-ы-ый... Умные вы головы!.. Что ж вы ко мне притащились? Что я вам: такое лекарство пропишу, чтобы с вас денег не брали? Убирайтесь вы к чертовой матери!

— Постой, домну докторе. Чего рассердился?

— Что дюже горячий стал! Нечистого поминаешь!.. Ты слушай нас. Не всё вить еще...

— Что же еще?.. Говори толком...

— Видишь ты. Вымерял, потом кажеть: «Давай деньги по декларации». Мы обрадовались: думаем, пронесло. Отдали деньги по декларации, честь честью.

— Расписки взяли?

— Взяли. Как без расписок.

— Ну, так что же?

— А то: теперь взыскиваеть у трое... Значит: у двое аменд[3] А за что еще третий? Когда по декларации уже плачено. Правильно ето?

— Какой ето закон,— вдруг возбужденно прорвалось в толпе.— При турчине никогда етого не было́...

— И рамун скольки годов землю не мерял!

— Теперь на тебе: давай мерять...

— Стойте вы, чего глотки дерете! — закричал доктор.— Сказано: говори один.

---

[1] Управление государственными имуществами.
[2] Гектар, гектар с половиной нашел лишних.
[3] Штраф.

— Хвадей, говори... Ты, Сидор, говорите...

— Да мы разве не говорим. Не чуете, али как? Уши позакладало?.. Говорим: теперь у трое требуеть.

— Кто требует?

— Да кто? Рамун. Перчептор. С епистатами[1] приехал.

— Тот самый, что выдал расписки?

— Он.

— Нет, не той, другой...

— Кто их там до лиха разбереть... Рамун, функционар.

— Все одним миром мазаны...

— А вы расписки показывали?

— А то нет, под самый нос совали: подивись, до́мнуле...

Липоване опять заволновались. Пошел беспорядочный возбужденный говор.

— Ну стой! — остановил опять доктор.— Будет. Поезжайте по домам. Я вам завтра человека пришлю.

— На етом вот спасибо. Дыды́кало, положим, у нас. Вторую неделю поим.

— Дыды́калу гоните в шею...

— Чуете, доктор своего пришлеть.

— Подождем, когда так.

— Доктор, можеть — к самому префекту схо́дить?— закинул Сидор, глядя на доктора вопросительно исподлобья.

— К кому и идтить, как не к префекту...

— А ты ему, докторе, хочь и префекту, тоже не очень верь... Ты нас слухай, что мы говорим.

— Ну, ну! учите меня,— сказал доктор презрительно.— Я хуже вас знаю, куда идти и кому верить. Ступай, ребята, ступай, проваливайте!

И он своей сильной рукой стал поворачивать липован и поталкивать их в спины... Толпа расходилась. Остался еще Сидор. Он подошел к доктору ближе, оглянулся на уходящих и сказал:

[1] Epistat — полицейский, вроде наших жандармов.

— Сделай милость, Ликсандра Петрович,— похлопочи уж. А то у нас такой калабалы́к пойдеть — не да̄й бог.

Его умные глаза печальны. В грубом лице виднеется скорбь «мирского человека», озабоченного серьезным положением дела.

— Сам знаешь, какой у нас народ. Все еще которые турчина вспоминаютъ. Есть горяченькие. Плохой марафет выйдеть.

— Ну, ну,— сказал доктор.— Не знаю сам, что ли! Сказал: постараюсь.

— А ты кого пришлешь?

— Катриана...

Сидор почесался.

— Такое дело... Хочь и Катриана. А тольки, чтобы того...

— Что такое?

— Насчет бога, чтобы... Знаешь наш народ...

— Ну, ну! Что вы его молебен, что ли, служить зовете? Знает, зачем едет...

— То-то вот... А то мы ничего. Так уж ты, докторе, того... похлопочи.

Они расстались. Сидор торопливо пошел на базар, доктор подошел к кофейной турка Османа, где его ожидала уже маленькая фарфоровая чашка и томпаковый кувшинчик с дымящимся турецким кофе. Солнце освещало уже весь переулок. С Дуная несся продолжительный гудок морского парохода. По улицам к пристани гремели колеса... С базара начинали расползаться возы царан. Ехали и липоване, хмельные, с обнаженными на солнце головами: котелки и шляпы попрятали в сено. Пьяному легко потерять.

II

ДОМНУ КАТРИАН, СОЦИАЛИСТ

После обеда, когда солнце далеко перешло за зенит, доктор вышел из дому и направился вдоль переулка к

Strada Elisabetha doamna, главной улице Тульчи. Высокий и прямой, он шел по узкому переулку, чуть не задевая головой за низкие черепичатые крыши и то и дело отвечая на поклоны. Порой он останавливался, громко приветствуя какого-нибудь заезжего знакомого, с кем-нибудь здороваясь за руку или бесцеремонно ероша волосы какого-нибудь пробегавшего молодого человека. И шел дальше, оставляя за собой повеселевшие осклабленные лица.

Так он вышел на Strada Elisabetha и повернул к Дунаю. По пути на левой стороне был бойкий ресторан. Из его открытых окон неслось лихое пение цыган-лаутаров, а в тени стен, прямо на камнях широкой панели стояли столики, занятые публикой. В Румынии жизнь проходит значительной частью на улице.

Поравнявшись с этим рестораном и обменявшись многими поклонами, доктор увидел за одним из столиков серьезного нестарого господина, погрузившегося в чтение газеты.

— А! Домну су-префект,— сказал доктор громко и направился к нему, лавируя между столиками и стульями с таким видом, как если бы башню пустили между фигурок кегельбана. Румын отложил газету и вежливо приподнялся навстречу.

Это был су-префект тульчанского округа (нечто вроде нашего вице-губернатора). Либерал, европеец не только по внешности, он, как большинство состоятельных румын, получил высшее образование в Париже. В молодости, тоже как все румыны, писал стихи, был немного публицистом, немного критиком и отдал свою дань увлечению социализмом. Теперь, призванный к власти с переменой политического курса, он привез в Добруджу вместе с необыкновенно свежими воротничками и жилетами также свежий либерализм и свежее благожелательство новоиспеченного министерства. Человек тонкий, серьезный и приличный, он стоял за скорейшее введение в Добрудже конституционного представительства и полного равноправия. За отъездом префекта он те-

перь исполнял его должность, слышал уже о начинающихся в «Русской Славе» волнениях и был в свою очередь рад поговорить об этом с русским доктором, старожилом, популярным в Добрудже.

Его взгляд на дело был определенный и ясный. Началось это еще при прежнем министерстве. Ведомство доменей скоро обратится к администрации за содействием по взысканию податей и штрафов за землю. Он не вправе рассуждать о неправильностях обложения. На это есть гражданский суд. Кто-нибудь один должен предъявить иск. Выигрыш одного дела будет прецедентом для других однородных. Тогда экзекуция будет приостановлена. Нашего единого сельского «мира» закон не знает и иметь с ним дело не может.

Этот серьезный разговор происходил среди рокочущего говора ресторанной публики. Порой его прерывало какое-нибудь необыкновенное furioso * цыганского хора или шумный хохот соседней компании щеголеватых румын и кокетливых румынок. Собеседников толкали ресторанные мальчишки, торопливо проносившие приборы, певица красивым движением протягивала к ним свой тамбурин, прося на ноты. Солнце заливало мостовую, черепичатые крыши домов, стены из серого камня, выхватывая из тени то белую панаму, то яркий дамский зонтик, то светлые костюмы какой-нибудь уходящей компании. В перспективе улицы Елизаветы виднелась стальная полоса изнывающего от жары Дуная, покачивались мачты рыбачьих лодок, просовывалась турецкая кочерма и порой, как тучи, проносились клубы густого черного дыма. Приставший утром морской пароход дал уже свой гудок, но от него и к нему еще гремели ломовые возы. Разгружали и увозили железо. На мостовой подымался лязг и гром. Собеседники смолкли, но затем румынский администратор и русский эмигрант продолжали обсуждать положение затерявшейся в глухом ущелье русской деревни.

---

* Furioso *(итал.)* — бурно (музыкальный термин).

Доктор поднялся, подозвал проезжавшего извозчика и куда-то послал его. Минут через десять коляска вернулась, и из нее живо выскочил молодой человек. Он был одет во все черное: черная шляпа, черный долгополый сюртук, черные ботинки и даже толстая черная палка была у него под мышкой. Он поискал в толпе своими живыми серыми глазами, и на его желтоватом, не особенно здоровом лице появилась улыбка. Он быстро прошел между столами, держа под мышкой сучковатую палку, что заставило молодого румына с вздернутыми кверху черными усиками посторониться с деланным комическим испугом, а его дама захохотала.

— Чи май фаче, докторе [1],— сказал новоприбывший веселым резким голосом, подавая доктору руку, не особенно белую и в мозолях.— Как здоров?

Затем он приподнял шляпу по направлению су-префекта. Румын корректно ответил на поклон.

— Домну Катриан,— сказал доктор.

— Денис Катриан, социалист,— подчеркнул пришедший и протянул руку. Изящный румын протянул в свою очередь холеную руку, и его тонкое лицо на мгновение невольно исказилось от слишком крепкого пожатия социалиста. Но тотчас же оно опять приняло выражение серьезной учтивости.

— Имел удовольствие слышать вашу фамилию, domnu Catrianu,— сказал он.

Улыбка пробежала по желтоватому лицу социалиста, а у глаз собрались веселые морщинки.

— Proletarii din toata lumea uniti-va! [2] — сказал он задорно.— Наш лозунг, господин су-префект, лозунг растущего рабочего класса! Недавно еще правительство нас преследовало. Господа либералы нас терпят, пока не увидят опасности.

---

[1] Обычное румынское приветствие.

[2] Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Он громко засмеялся и, вынув портсигар, принялся свертывать папиросу желтыми, сильно обкуренными пальцами. Лицо румынского чиновника оставалось прежним: серьезные глаза, старательно взлохмаченные кончики усов, вежливое внимание и замкнутость.

— Ну. постой, слушай меня,— сказал по-русски доктор, прекращая дальнейшие самодовольные излияния Катриана.— Можешь ты завтра съездить в «Русскую Славу»?

— А для чево мине ехать у «Русская Слава»? — переспросил Катриан, закуривая папиросу. По-русски он говорил с сильным болгарским акцентом. Отец его был румын, мать болгарка.

Доктор принялся объяснять, в чем дело. Лицо Катриана стало внимательно и серьезно. Вникнув в сущность столкновения наших земляков с перчептором, он опять весело мотнул головой и сказал, обращаясь к супрефекту.

— Штиу (понимаю). Вы не хотите на первых же порах столкновений. Хотя не наша роль смягчать классовые противоречия, но... тут дело другое.. Правовое сознание нужно развивать,— закончил он догматическим тоном.— Я поеду.

Румын одобрительно кивнул головой, вынул из кармана изящную записную книжку и, достав визитную карточку, написал на ней несколько слов.

— Это на случай,— сказал он, передавая карточку Катриану.— Покажите, в случае надобности, примару...

Он позвонил, заплатил за свой кофе и вежливо попрощался. Видимо, он был доволен. Помимо всего прочего, начинать новое управление громким столкновением в Добрудже было бы плохой услугой новому министерству. Гораздо лучше разбить дело наших беспокойных соотечественников на отдельные иски в суде, чем встретиться с упорным сопротивлением странного и непонятного русского «мира». Вопрос о Добрудже и об ее правах встает от времени до времени на румынском полити-

ческом горизонте, и почти каждое министерство начинает с обещания окончательно приобщить Добруджу к общерумынской конституции. Но дело не двигается дальше обещаний. Как известно, Добруджа присоединена к Румынии по берлинскому трактату, взамен части Бессарабии с Измаилом и Килией. Это отторжение северного гирла Дуная с коренным румынским населением является до сих пор незаживающей раной румынского национального самолюбия. Румыны далеко не считают себя вознагражденными присоединением плодородной Добруджи, населенной почти поровну русскими выходцами, болгарами и только на остальную треть — румынами. На этот край они смотрят, как на подкидыша, стоившего жизни родного ребенка, и не торопятся с окончательным усыновлением. К тому же и само население, по-видимому, не выражает особенного нетерпения получить права представительства в парламенте. Степь живет своею стихийною жизнью, вздыхает «о турчине», с его диким, но в сущности довольно добродушным режимом и в свою очередь косится «на мачеху», посылающую сюда новые армии функционаров с каждой переменой министерства. Только в этих переменах местного служебного персонала степь чувствует биенье конституционного пульса...

В то время, о котором идет речь, добруджанский вопрос опять ожил: образовалось общество процветания Добруджи («Propasirea Dobrogei»), и на открытие величественного Констанцкого моста ожидались депутации из-за границы...

При таких-то обстоятельствах у ворот скромной квартиры русского доктора и за столиком ресторана на Strada Elisabetha встретились интересы темного русского села, забившегося в ущелье балканских предгорий, с дипломатическими соображениями обновленной добруджанской администрации.

Теперь я должен несколько ближе познакомить читателя с домну Катрианом, тульчанским социал-демократом.

III

УДАЧИ И НЕУДАЧИ ДОМНУ КАТРИАНА

По профессии он — сапожник. Родился в Добрудже, но с детства попал в Бухарест, где учился ремеслу в одной из сапожных мастерских столицы. Тут судьба свела его с кружком социалистической молодежи и рабочих, а затем, не знаю уж почему, он опять переселился в Добруджу убежденным социал-демократом. Здесь, в скромной квартирке на предместии, он повесил вывеску, гласившую, что сапожник из Бухареста готов оказывать гражданам и гражданкам Тульчи всякого рода услуги по части обуви с ручательством за изящество и прочность. Сапожник он был порядочный, но настоящим его призванием была политическая агитация, которой он и отдал свои досуги.

Добруджа не имеет представительства, но на нее распространены общеконституционные свободы: свобода совести, печати, союзов и слова. Правда, Добруджа не торопилась пользоваться и этими гарантиями, но все же соответствующие параграфы стояли «в хартиях», ожидая своего времени. Катриан, вероятно, по внушению еще из Бухареста, решил открыть в Тульче первый рабочий клуб (clubul muncitorilor).

Впоследствии клуб был закрыт, но я еще имел случай присутствовать на одном из его собраний.

Это было в воскресенье. Я проходил по базарной площади, наблюдая своеобразные картины разноплеменного торга и прислушиваясь к разноязычному говору. Тут были липованские возы, румынские дилижаны и каруцы. Между горами огромных арбузов сидели торговки-болгарки; румыны-пастухи, не скидающие в жару бараньих безрукавок, молчаливо оглядывались иссиня-черными наивными глазами; недавние владыки — турки в красных фесках продавали всякую мелочь с лотков; липоване из Сарыкоя и Рязина и потомки запорожцев равнодушно сидели на возах, налитых до краев золотой душистой пшеницей... Шныряли арнауты и мало-

азиатские курды с лимонадом в грязных стеклянных кувшинах или с сапожными щетками, пробегал газетчик с листками карикатур, на которых Фердинанд болгарский изображался с слоновым хоботом вместо носа, а порой и regele Carol * румынский являлся в более или менее непочтительном виде. В общем — преобладала деревня, с хлебом, кукурузой или ранним виноградом, разноязычная, характерная, живописная, с рослыми дюжими мужчинами и застенчивыми черноглазыми женщинами.

Я уже собирался уходить, как вдруг на углу площади и одного из переулков, над «чайником» (ceanicu) болгарина Николая, на балконе появился молодой человек в черной паре и, помахав над волнующимся внизу базаром черной шляпой, закричал резким, молодым голосом, раскатившимся над толпой:

— Domnilor! Граждане и гражданки... Сейчас открывается конференция рабочего клуба с участием друзей студентов (prieteni studenti). О труде и капитале... Проблема богатства и бедности... Борьба классов и будущее пролетариата. Poftim... Пожалуйте, вход бесплатный...

Вслед за этим возгласом он отступил, и двое рабочих свесили с балкона огромное малиново-красное знамя, на котором белыми буквами было вышито:

Proletarii din toata lumea uniti-va.

Базар продолжал медлительно кишеть разноплеменной толпой и рокотать разноплеменным говором, между тем как ветер шевелил складки знамени с белой струящейся надписью. К дверям подходили от времени до времени то осторожно-любопытный болгарин, то широколицый бородатый липован, с лукавой усмешкой, то высокий турок в красной феске и широких штанах... Больше всего было, конечно, городских ремесленников, в пиджаках и даже порой крахмальных сорочках. Они входили уверенно и поощряли деревенских обывателей, робко подымавшихся по широкой лестнице и оглядывавшихся в зале

---

* Король Карл (*рум.*).

с видимым сомнением: для них ли, полно, приготовлены эти стулья?

Я вошел тоже, и вскоре конференция началась. Первым говорил Катриан,— говорил быстро, так что мне трудно было уследить за его румынской речью, в которой, однако, бойко мелькали знакомые термины: прибавочная стоимость... борьба классов. Затем выступили prieteni studenti,— изящно одетые, чистенькие, молодые люди, приехавшие сюда попробовать свои ораторские силы. Они говорили о земле и земельном законе, жестикулировали и повышали голос, с пафосом громя «буржуазное» правительство... Румын полицейский, фигура почти партикулярного вида, сохранял безмолвие и неподвижность статуи. Молодые ремесленники с магалы (предместия) аплодировали и кричали «браво». Деревенские слушали в загадочно-суровом молчании... По окончании конференции они так же молча разошлись по базару, а потом разъехались по шля̀хам, унося «новое слово» в такие же молчаливые поля, охваченные горизонтом, на котором нигде не видно было ни высоких фабричных труб, ни многоэтажных корпусов с рядами окон. Поля, поля... села с домами из дикого камня, крытые очеретом, виноградники, га̀рманы со следами молотьбы... И степной ветер, который старательно гонит в неведомую даль сухое перекати-поле...

А еще недавно у катриановского клуба была пора расцвета и головокружительного успеха.

Тульча — бойкая дунайская пристань, в которую заходят даже большие морские суда. Капитаны этих судов обращались для разгрузки и нагрузки к ватафам, посредникам, которые поставляли им нужное количество грузчиков за изумительно низкую плату. Ватаф брал себе львиную долю; хамалы, темные и живописные разноплеменные люди, сгибаясь под тяжестью, таскали огромные кули, смиренно получали ничтожную плату, пропивали ее в дешевых шинках и корчмах, а потом сидели или лежали на береговых откосах, ожидая новой работы.

Так просто и колоритно сложились на румынском берегу Дуная взаимные отношения «иностранного капитала и местного труда», пока на них не обратились зоркие молодые глаза домну Катриана и его товарищей. Вскоре в газетах появились бойкие статьи о «судовом промысле», и социалисты совали их в руки неповоротливым хамалам. Дюжие широкоплечие геркулесы в лохмотьях стали появляться на конференциях и жадно слушали разъяснения о «прибавочной стоимости», попадавшей в карманы ватафов. Эту сторону дела они поняли скоро

В один прекрасный день в Тульче разразилась стачка грузчиков. Огромный морской пароход загудел, описал огромный круг и пристал к дамбе. Ватафы забегали по набережной сгонять грузчиков, но хамалы спокойно сидели на откосах, курили трубки и философски глядели на пароход, как сторонние зрители. С ватафами они не желали иметь никакого дела, а капитану объявили, что пойдут работать не иначе, как за удвоенную плату. Пароход стоял, пыхтел, гудел и ушел кверху, к Галацу, не разгруженный.

Неожиданная стачка поразила всю страну. О ней писали в газетах, говорили в парламенте. Консервативные органы требовали вмешательства власти. Социалисты и либералы возражали, что было бы странно штыками принуждать румынских подданных работать на иностранцев дешевле, чем те же капитаны платят за границей. Положение становилось напряженным. Ватафы пробовали заменить профессиональных грузчиков всяким сбродом. К приходу пароходов выходили на берег солдаты. Катриан и клубисты употребляли все усилия, чтобы не допустить столкновения. Грузчики держались образцово, спокойно наблюдая, как непривычные штрейкбрехеры роняли в воду тюки. Однажды грек-ватаф, юркий, тщедушный и горячий, выведенный из терпения философским спокойствием своих недавних рабов, ударил по щеке гиганта-албанеса или турка. Тот вздрогнул, но, помня наставления, удержался и только стал озираться кругом с видом такого комического недоумения, что берег

огласился хохотом, а для вмешательства полиции и властей все-таки не оказалось повода.

Стачка была выиграна. Иностранным капитанам пришлось впервые отметить в расходных книгах плату тульчанским грузчикам в таких же размерах, как и австрийским. Катриан на некоторое время стал знаменитостью и решил расширить поле своей агитации.

На среднем гирле Дуная, у впадения его в море, стоит Сулин. Его длинный волнолом вдается далеко в море, вглядываясь по вечерам в туманные морские дали последними огнями Европы. На взморье стоит огромное здание европейской комиссии, регулирующей дунайскую навигацию. Тут превосходная набережная, электрическое освещение, музыка, туалеты прямо из Парижа. А немного в стороне, в жалких переулках, прижавшихся к дунайской плавне и часто заливаемых болотной водой,— лихорадки, грязь, нищета и лохмотья. На косе, обмываемой Дунаем и взморьем,— блеск европейской культуры встречается как будто с задворками Азии.

В один прекрасный день сюда явился домну Катриан в своей черной паре, с узловатой дубинкой и беззаботно самоуверенным видом. Вечером он расхаживал с несколькими молодыми ремесленниками по набережной у европейской комиссии, жестикулируя и громко излагая свои идеи. На следующий день нанял помещение, а на третий объявил властям, что сегодня он открывает собрания рабочего клуба. С утра красное знамя, с сакраментальным призывом к пролетариям всех стран, впервые развернулось в Сулине.

Румыния — страна противоречий и неожиданностей. Наряду с свободнейшей конституцией деревенская масса, темная и забитая, от которой, как от ледяной глыбы, веет на всю страну темнотой и бесправием. Это дает простор для ярких контрастов свободы и произвола, особенно на добруджанской окраине. В Сулине в то время префектом был человек цельного темперамента, кажется, выходец из Бессарабии, мало читавший газеты, еще меньше придававший им значения, привыкший на своей

косе любезничать с Европой и не церемониться с домашними. Узнав, что какой-то сапожник из Тульчи вывесил «красное знамя», префект распорядился просто: двое полицейских в самом начале «конференции» бесцеремонно схватили оратора и повлекли его в кутузку, где и заперли впредь до распоряжения. А с распоряжением префект не торопился. Вечером он беззаботно играл с европейцами в карты, забыв и думать о таком пустяке, как сапожник в кутузке.

В Сулине все шло по-старому: горело на косе электричество, звенел над морской гладью оркестр, гуляла нарядная публика. Над плавней висела меланхолическая луна, заглядывавшая и в узкий переулок, где из-за решетки виднелось бледное лицо Катриана. Но вот из густой тени вынырнули две фигуры. Это молодые представители сулинского рабочего класса прокрались, чтобы навестить своего апостола в темнице. Так, вероятно, много веков назад молодые иудеи подходили к римской каталажке, где сидел апостол Петр. Катриан тотчас же подозвал их и выбросил в окно листок бумаги. Это была телеграмма. Телеграф — учреждение европейское, действующее независимо от взглядов префекта. Щеголеватый телеграфист с любопытством прочел текст, усмехнулся и сдал в аппарат. Аппарат застучал, и слова побежали по проволоке через пустынные плавни. На следующий день социал-демократическая газета «Новый мир» (Lumea Nova) появилась с телеграммой из Сулина и с громовой статьей о грубом нарушении консервативной администрацией основных законов страны. К вечеру все вечерние прибавления либеральных газет ударили в набат.

В сущности то, что сделал сулинский префект, в Румынии не такая уж редкость и при других обстоятельствах легко сходит с рук. Но не всегда. И в этом «не всегда» может быть пока заключено все значение таких неокрепших конституций. Решительный поступок сулинского «бессарабяна» совпал с назревавшим кризисом. Консерваторы начинали колебаться. Всякий их шаг подвергался страстной и придирчивой критике, а король

Карл начинал подумывать, не пора ли ему опять выступить в роли конституционного акушера, содействующего родам нового политического курса. И вот, в такую минуту все либеральные газеты бурно накинулись на «вопиющий произвол» сулинского префекта.

Первый же верховой пароход выкинул на улицы Сулина эту бурливую волну газетного негодования. Префект уже ранее получил суровый запрос от министра. Требовали официального опровержения...

Беспечный администратор схватился за голову и немедленно командировал комиссара, чтобы выпустить Катриана. Комиссар пришел с странным известием, что Катриан не идет. Требует составления протокола. Пробовали удалить силой. Оказывает сопротивление и хватается за решетки. У окон собирается толпа.

Пришлось составить протокол, и только тогда, подписав бумагу, Катриан вышел из каталажки, встреченный восторженными криками «ура». На следующий день клуб был торжественно открыт, причем, наряду с черными от угля блузами грузчиков, виднелись модные рединготы и парижские шляпки, а ближайшая почта принесла известие об отставке префекта. Падающее министерство успело еще выместить досаду на неловком администраторе, не сумевшем обойтись более «тактично».

В Сулине, конечно, тотчас же разразилась стачка грузчиков, и, как пожар полосой соломы, забастовки пробежали по всему Дунаю от Сулина до Галаца и Браилы... Казалось, молодой румынский социализм растет по часам и готов победно охватить всю страну. Либеральное министерство и печать в свою очередь стали задумываться над «грозным движением». Но вскоре оно так же неожиданно упало, как поднялось. Грузчики добились своего и с этих пор, кажется, плата в этой отрасли никогда уже не падала до прежнего уровня. Но затем пожар, поглотив весь наличный горючий материал, угас на рубежах широких степей с их нивами, виноградниками и очеретяными крышами. Даже неблагодарные грузчики, добившись своего, перестали ходить на конферен-

ции, предпочитая им собственные конференции за графинами дешевого вина, в корчмах или просто на открытом берегу Дуная... Молодой социализм, напугавший всех своим богатырским ростом, умирал у пределов неподвижной и загадочной земледельческой степи.

Тогда Катриан, живой и деятельный, стал обращать глаза в сторону этой неведомой деревни и думать о пробуждении «правового сознания» в неповоротливых, тяжелодумных мужичьих головах.

Вот почему он охотно принял предложение доктора ехать в полудикую «Русскую Славу», чтобы толковать с липованами о вопросах, не имеющих ничего общего ни с классовой борьбой, ни с прибавочной стоимостью в капиталистическом производстве.

Я решил присоединиться к нему, чтобы посмотреть на месте моих земляков — липован из «Русской Славы».

IV

ЛУКА И ЕГО ЖЕНА

Я не знаю, как пели певцы древней Эллады. Знаю только, что нет ничего ужаснее современного греческого пения. Образчики этой новогреческой гармонии перешли в некоторые наши монастыри в виде афонского столпового напева. Это хоровой крик в унисон, нескладный и дикий, устраняющий всякую греховную прелесть мелодии и рождающий суровую идею о воплях грешников в аду.

В узеньком переулке, как раз против квартиры доктора, у которого я гостил в Тульче, помещался маленький греческий ресторанчик, в котором порой от заката солнца до восхода происходили греческие оргии. Тульча город музыкальный, да и вообще румынские города летом наполнены пением и порхающими звуками оркестров. Но все это обыкновенно стихает около полуночи. Только новогреческая муза почему-то оказывалась в то время совершенно неугомонной. Может быть, это совпало с какими-нибудь экстренными успехами в торговле, и греки праздновали их усиленными возлияниями,

но только целые ночи напролет из-за старенького забора с запыленными акациями неслись такие ни с чем не сравнимые звуки, что соседи обратились, наконец, к городским властям. Поэтому временами, когда музыкальный восторг греков достигал высших пределов, к садику, насквозь пропахшему ароматом вина, пива и аммиаку, подходил полицейский, стучал по забору своей палочкой и говорил печально-снисходительным голосом:

— Poftim, domnilor! Poftim! (пожалуйста, господа, пожалуйста).

Греки стихали, но ненадолго. Через некоторое время пьяные голоса опять заводили свою какофонию, сначала осторожно, потом громче и громче. Над нестройным хором, грохотавшим, как начинающийся прилив на каменистом берегу, взлетало резкое женское сопрано, и за ним крик мужских голосов, подобный реву целого стада буйволов, опрокидывался на переулок. А так как при этом, отказав грекам в тонкости слуха, природа наградила их необыкновенной силою легких, то их пение вылетало далеко за пределы переулка и неслось над спящим городом за реку. Опять раздавался стук палочки и голос полицейского, казавшийся теперь особенно музыкальным.

— Domnilor... Poftim, domnilor... La ora asta e interzis [1].

Впрочем, он имел в виду, по-видимому, не столько практические результаты, сколько удовлетворение общественного мнения... Бессонные соседи получали приятную уверенность, что власть делает с своей стороны, что может, хотя это выходило еще хуже. Едва я привыкал, наконец, к неистовому реву и начинал забываться,— стук палочки и голос полицейского вносил новую ноту и прогонял чуткий сон. Поэтому я искренно обрадовался, когда в конце переулка послышалось дребезжание кованых колес по круглым булыжникам мостовой. Это едет Лукаш, со своею каруцой, на которой мы с Катрианом отправимся в «Русскую Славу».

Я открываю окно и выглядываю наружу. Уже рассвело. В перспективе переулка подкатывается к нам ка-

---

[1] В эти часы петь запрещено.

руца, запряженная парой крепких лошадей. На козлах сидит человек лет тридцати в толстом широком пиджаке, под которым виднеется шитая рубашка и красный шерстяной пояс. На голове барашковая шапка. Лицо загорелое, и сквозь загар проступает румянец. Волосы черные, глаза тоже черные, не быстрые, скорее медлительные, задумчивые и глубокие. В чертах какая-то грубоватая печальная мягкость. Каруца останавливается у наших ворот.

В ней сидит женщина, одетая наполовину по-деревенски. Платье на ней слишком широко и обвисает складками. Голова повязана простым платочком, из-под которого глядит худое, истомленное и истонченное страданием молодое лицо. В черных глазах усталость и какая-то особенная печаль.

Лука кладет бич, заматывает вожжи и немного неуклюже, с медвежеватой манерой слезает на мостовую. Подходит к воротам, пробует калитку и, подняв глаза кверху, видит меня в окне.

— Чи май фаче (здравствуйте),— говорит он по-румынски и потом спрашивает: — Доктор хибà еще спить?

— Скоро встанет.

— Ну, хорошо. Вы отоприте фортку (калитку)... Я вот тут бабу свою привез. Больная, так к доктору.

Я наскоро одеваюсь, сбегаю вниз и открываю калитку. Лука подходит к сидению, останавливается около и говорит: «ну»... Худая женская рука ложится ему на плечо. Лука сразу сильным и осторожным движением подымает женщину на руки. Я подхожу ближе, чтобы помочь ему, но это оказывается лишним: он уже держит ее, как ребенка. Бледное лицо молодой женщины лежит на его плече с трогательной улыбкой страдания и неги.

Пение греческого хора уже смолкло. Стучит калитка, и греческая компания выходит на улицу. Дюжие крепкие фигуры, несколько сутулые спины, загорелые лица, глядящие исподлобья. Из-под черных шляп выбиваются вперед матово-черные волосы. На одном — круглая шапочка с галунами. Это юноша, почти мальчик. За ним

появляется и певица. Ее белое лицо с русыми волосами выделяется, точно светясь, среди черных, как головешки, греков. Глаза у нее голубые, большие и выразительные Ночь кутежа как будто совсем не отразилась на их блеске.

Увидев Луку с больной женщиной на руках, она на мгновение останавливается, как будто в легком испуге Крепкая, пышущая здоровьем фигура ее обрисовывается с какой-то особенной, кричащей пластичностью, а выражение испуга сменяется насмешливой наглостью. Она вся подается вперед, вглядывается с жадным любопытством, говорит что-то вполголоса и смеется. Греки тоже останавливаются и с пьяной тупостью смотрят на Луку, который быстро поворачивается и несет жену на крутую панель, потом по двору и вносит в приемную доктора. Это собственно застекленные сени с неприхотливой мебелью. Легко, как перышко, он усаживает больную на диван, подкладывает подушки и вздыхает глубоко и тяжело, хотя, казалось, ноша не стоила ему особенного усилия. Потом поворачивается и тихо уходит. Женщина раскрывает усталые глаза и смотрит ему вслед. В этих глазах видна жалость не к себе, а к этому человеку, пышущему здоровьем и силой.

Он привез ее к доктору и оставит здесь. Через час, когда мы уедем, за нею приедет Федор, городской «биржар», большой приятель Луки. Он так же бережно возьмет ее на руки и отвезет за город, где у Луки дом и хозяйство. По городу Лука не ездит. Он пашет землю и гоняет почту. Теперь он повезет нас в «Русскую Славу», так как этого хочет доктор.

Лука — «хохол». Это название довольно употребительно в Добрудже в отличие от старообрядцев, великороссов и потомков некрасовцев. Предки Луки вышли из Запорожья после «зруйнования» днепровской Сечи и поселились сначала в австрийских пределах на Дунае. Потом спустились в низовья, заняли южное кытерлезское гирло, выбили некрасовцев, которые ушли в Анатолию, а сами расселились затем по Добрудже, не смешиваясь

ни с румынами, ни с липованами. Дома с отцом, братом и женой Лука говорит на чистом украинском языке. Для внедомашнего употребления у него есть своеобразное общедобруджанское «руснацкое» наречие. В нем формы русских глагольных окончаний смягчены по-украински и, кроме того, вошло не мало румынских и турецких слов и оборотов. Этот особый смешанный, наивно неправильный говор — результат междуплеменного лингвистического компромисса, слышится часто в пестрой толпе добруджанских базаров и вообще над Дунаем. Его, кажется, выработали липоване в период своих передвижений через Стародубщину и Буковину и за время пребывания в Добрудже. Напоминает он отчасти и то испорченное русское наречие, которое можно слышать в Херсонщине и около Одессы и которому, кто еще знает, какая роль предстоит в судьбах нашего языка...

Лука выходит опять к лошадям. Я за ним. Остановившись за воротами, он кидает быстрый взгляд вдоль переулка, как будто кого ищет. Лицо Луки печально и несколько угрюмо. Он взволнован. Может быть, судьбой этой хрупкой больной женщины, может быть, еще чем-нибудь. Его наивные черные глаза слегка затуманены.

В переулке просыпается движение: над забором садика появляется туча пыли, открывается калитка, и бледный кельнер, не спавший всю ночь, выбрасывает на улицу сор, клочки бумаги и осколки стекла. Турок Измаил, высокий, с красивыми умными глазами, открыл свою cafeana (кофейню). Глаза его тоже туманны: всю ночь он толок в деревянной ступе кофейные зерна. Он гордится тем, что никто лучше его не умеет приготовить черного кофе, и, кажется, видит в этом свое назначение.

Мы с Лукой подходим к нему первыми. Он кланяется, выносит маленький столик и два стула и ставит на узком тротуаре. Мальчишка в феске подает кофейник и две крошечные чашки. Лука берет одну из них своею загорелой грубой рукой. Осман становится в дверях, опершись о притолоку, и смотрит на Луку сочувст-

венным взглядом. Он видел, что Лука привез больную жену.

— Болезнь и здоровье от бога,— говорит он по-румынски своим глубоким приятным голосом.

Лука ставит чашку на стол, как будто обдумывая то, что сказал турок, и потом говорит мне:

— Етой турок, господин Владимир, дармà што неверный. Ну, справедливый человек. А бедный... Работаеть, работаеть, а денег у себя не имееть.

Осман несколько понимает распространенное в Добрудже «руснацкое» наречие и говорит опять:

— Богатство и бедность тоже от бога.

Лука кивает головой.

— Ну, и ето опять правда... А почему бог так делаеть, что одным даеть счастье, другим не даеть... Етого тоже никто не можеть знать.

— Аллах один все знает... Сам делает, сам и знает.

— Правда! Вот у мене баба. Молодая, ну, хворая. Отчего хворая? От работы. Надорвалась, глупая. Теперь страдаеть. И я с нею.

— Бог велит людям терпеть.

— Терплю. Докторам одним сколько переплатил. Возьмите себе усё. Лошади у мене,— продам! Две каруцы. И каруцы продам. Дом... выделюсь от отца, тоже продам. Все себе возьмите, только сделайте так, чтоб была она здоровая. Будет здоровая, возьму ее за руку, пойдем у двоих по свету новой доли шукать... Лечили. Деньги брали. Много. Не помогли.

— Доктор не...— пытается Осман выразить свою мысль по-русски.— Думне-зеу... Аллах.

Для большей вразумительности турок торжественно показывает на небо.

— Аллах значится по-ихнему бог. Думне-зеу,— ето опять бог по-румынски,— поясняет мне Лука.— Хорошо. Бог! Ето правда. Значит, не надо лечить?

— Ну-й треба (не нужно), — говорит турок убежденно.

— Ну, ето брехня,— говорит Лука в раздумьи.— Когда бы не лечил, давно бы в могиле была... Вот я вам, господин Владимир, скажу, как ето было. Рамуны лечили, лечили, нет пользы. Как тут приезжает русский доктор. У Букарештах был. Вернулся. Приходит ко мне, осмотрел ее...— «Слушай ты, что я тебе буду говорить: хочешь ты, чтобы жива осталась?» — Хочу.— «Верно, говорить, хочешь? Помни: работница она тебе не будеть».— Ето ничего не значыть. Хочу я, чтоб была живая. Чтоб дыхала, глядела на свет. Чтоб зо мною говорила. Больше ничего не надо... — «Ну, хорошо. Вызову я, говорить, одного тут доктора из Букарештов. Рамун молодой. Он из нее хворь вынеть».

Лука залпом выпивает остывший кофе, задумывается под сочувственным взглядом Османа, потом продолжает. В голосе и глазах его печаль и точно удивление. Как будто он рассказывает странный нелепый сон.

— Привез. Посмотрели. Резать надо (Осман чмокает губами и неодобрительно мотает головой). Когда бы не доктор Александр Петрович, не дал бы. Ну, резали. Потом зашили. Александр Петрович, может, ночей пять не спал. — «Ну, говори, дурак, слава богу. Живая будеть, на ноги встанеть». Я заплакал! «Бери теперь у мене усё». А он говорить: «Дурак ты. Корми лучше больную бабу. Она не работница. Ничего не надо».

Лука поднимает на меня свои черные глаза, в которых неподвижно стоит растроганность, печаль, недоумение, и заканчивает с какой-то особенной силой внутреннего одушевления:

— Я ему говорю: слухай, Александр Петрович. Что ты за человек, я не знаю. Ну, только скажи ты мне, пока я живой: Лука, лезь у воду. Богом клянусь: полезу. Скажешь, иди, Лука, у огонь. Слова не скажу, у огонь пойду. Помни: я теперь твой человек до самой смерти.

Он поднимается, смотрит вдоль переулка помутившимся взглядом, потом говорит:

— Катриан не йдёть. А вы, господин Владимир, пе-

ленку́[1] со мною выпьете? Не хочете? Оно и правда: спозаранку нехорошо. А я... выпью.

Улица густо усеяна пивными. Лука направляется к гостеприимно открытой двери, над которой виднеется вывеска: «Birt iconomik. Vin si bere». Хозяин Николаки встречает его с почтительной радостью. Напротив другая пивная, Георгия, где тоже есть vin si bere (вино и пиво). Прежде Лука посещал Георгия, но хитрый шинкарь и вместе ростовщик раз ухитрился взыскать с простодушного Луки двойные деньги по векселю. Лука заплатил и с тех пор к нему ни ногой. Плохая месть за двести франков, но по лицу Георгия видно, что в нем кипит желчь при виде своего посетителя в заведении противника. Лука заказывает графин за графином. Пить он может много, и это бывает заметно только в его речи: постоянная задумчивая меланхолия принимает в таких случаях торжественный оттенок: говорит он еще медленнее, протяжнее, с паузами, слегка нараспев.

В конце переулка появляется фигура домну Катриана. В одной руке у него белый узелок, в другой — палка. Славное свежее утро, по-видимому, бодрит его: он идет размашистым шагом и по временам ударяет своей суковатой палкой по булыжникам. Ему, кажется, доставляет удовольствие звонкий лязг, отдающийся от каменных стен. Он видит ожидающих лошадей, оглядывается кругом и быстро входит во двор. Я расплачиваюсь с турком и иду за Катрианом. Застаю его в передней. Он с особенной дружественной галантностью жмет руку жене Луки и говорит ей по-румынски комплименты. На бледном лице молодой женщины выражение застенчивого любопытства. Она смотрит на молодого человека с выражением интереса, как на редкий для нее экземпляр человеческой породы ..

Через десять минут, готовый ехать, я выхожу из комнаты. Больная спит, откинув на подушки бледное лицо.

---

[1] Пеленок — местное вино с полынью. Считается полезным от лихорадки.

Лука стоит в дверях и смотрит на нее. Лицо его еще более покраснело, может быть оттого, что он выпил у Николаки с Катрианом. В глазах особенное выражение. Увидев меня, он отворачивается, будто слегка застыдившись, и говорит тихо:

— Будем ехать...

Катриану нужно было еще заехать на магалу (предместье, окраина города) над Дунаем, чтобы отдать заказ, над которым он просидел почти всю ночь. Поэтому мы поворачиваем к реке и едем берегом. Европейская комиссия, регулирующая русло Дуная, производит тут какие-то работы. Берег оживлен: каменщики стучат молотами, пильщики работают между штабелями леса. Солнце кидает вдоль берега густые золотые лучи, и на реке сверкают тела купальщиков.

— Теперь налево,— говорит Катриан. Но Лука будто не слышит и гонит лошадей прямо по насыпи; лошади бегут быстро, а Лука подергивает вожжами.

Невдалеке, у самой насыпи, я замечаю знакомую пару: белокурую певицу, выходившую утром из греческого садика, и молодого грека. Она идет без платка, подставляя солнечным лучам свои белокурые мокрые волосы. Они, очевидно, только что выкупались в Дунае. Увидев Луку, она остановилась у насыпи, удержав за руку и своего спутника. Когда мы были близко, она подняла свое красивое лицо с мягкими округленными чертами и сказала навстречу Луке румынскую фразу:

— De çe ai dus mostele la doctorul... Du le la cimitir...

Фраза была кинута с таким невинным видом, в лице было столько красивого, приветливого расположения, что я не сразу понял ее оскорбительный смысл. Лаская Луку взглядом голубых глаз, красивая девушка спрашивала, зачем он привез к доктору «мощи», и советовала свезти их на кладбище...

Наша коляска вдруг дрогнула и качнулась. Мне показалось, что мы летим под откос и что Лука уже наполовину свалился. Но это было только мгновение. Быстрым, как молния, движением Лука наклонился с козел и

взмахнул бичом. Что-то резнуло воздух, коляска опять выровнялась и тихо покатилась по насыпи. Лука оглядывался, повернув смуглое лицо, с странно внимательными глазами.

Я тоже оглянулся. Молодой грек с смешным выражением стоял без своей шапки с галуном, которая лежала в пыли, и держался за щеку. На полном плече женщины виднелась полоса: плотно натянутый рукав был разрезан, точно ножом, разошелся и обнажил тело с резким красным рубцом.

Лука задержал лошадей. Лицо его было спокойно, в глазах можно было заметить одно только любопытство. Он будто ждал чего... Но грек все с тем же выражением испуга и недоумения наклонился, поднял шапку и стал тщательно обтирать ее рукавом...

Лука мотнул головой и подобрал вожжи. Но тут произошла новая неожиданность: едва молодой грек надел свою шапку, как женщина размахнулась, ударила его изо всей силы по щеке, так что звук разлетелся далеко по берегу, а сама опустилась на штабель бревен и заплакала. Плакала громко, жалобно, по-детски. Ее круглые плечи вздрагивали, как у огорченного ребенка. И на левом плече проступала из рубца кровь...

— Кы́неле гречяска (греческая собака),— пробормотал Лука про себя и повернул коляску тихо назад. Мы еще раз проехали мимо этого места. Грек имел вид все еще изумленный. Это был почти мальчик, рослый и стройный... Он испуганно посторонился, услышав близко шуршание колес; женщина закрыла лицо руками и заплакала еще сильнее... Когда каруца поравнялась с нею, все ее большое красивое тело сильно дрогнуло, как будто она ждала нового удара... Но она не посторонилась, только плач ее стал судорожнее; плакал уже не обиженный ребенок. Плакала женщина, сильная, чувственная и жестоко оскорбленная...

— Зачем вы это сделали, Лука? — спросил я с невольной досадой...

Лука не ответил.

Катриан насупился и покачал головой...

Коляска въехала в переулок предместья, и берег Дуная исчез из наших глаз.

V
НА МАГАЛЕ

Мы остановились у маленького, крытого черепицей дома. Тут же под навесом здоровенный бондарь, рослый, светловолосый и курчавый, с лицом славянского типа, набивал обручи на новую винную бочку. Увидев Катриана, он оставляет работу и кричит:

— Лилйка! Лилйка!

Красивая маленькая румынка появляется на пороге дома. Катриан бережно с самодовольным видом вынимает из платка пару новеньких лоснящихся ботинок, при виде которых лицо Лилики вспыхивает. Она закрывает лицо поднятой рукой и, глядя из-за локтя застенчиво восхищенными глазами, говорит:

— О, думне-зеу! Зачем такие? Ведь дорого!

Дюжий бондарь самодовольно смотрит то на свою крошечную жену, то на полусапожки с круто выгнутыми каблуками, сверкающие на солнце чернотой и яркими бликами. Он берет один из них так осторожно, точно боится, чтобы он не разлетелся в его грубых руках, и говорит с оттенком удивления:

— И может это прийтись на человеческую ногу?..

— А вот посмотрим,— самодовольно говорит Катриан.— Poftim, cucoana (пожалуйте, сударыня)... Прошу примерить.

Женщина все с тем же нерешительным видом садится на опрокинутую кадушку и говорит:

— Ах, нет! нет! это не годится... и очень дорого... И, наверно, не придется по ноге.

Как бы для того только, чтобы доказать, что *это* действительно не годится, она проворно снимает старый башмак, стыдливо ставит его за кадушку и надевает новый. Ее маленькая нога в черном полусапожке становится на белые стружки.

— Точно вылито, смотрите, пожалуйста! — говорит она с притворным удивлением и уже не может оторвать глаз от своей ноги. Катриан становится на колени, застегивает, обглаживает и начинает хвастать: посмотрите подъем. Трудно найти другой такой в Тульче. Но надо также артиста, чтобы так обрисовать его. Ну, смотрите спереди, сбоку, сзади... Каково? А?

Бондарь доволен. Он искоса поглядывает на жену, которая на разные лады поворачивает ногу, и его рука лезет в карман.

— Ну, сколько же?— спрашивает он.

Катриан поднимается с колен. Лицо его становится серьезно.

— Доу-зе́чи де леу [1],— говорит он небрежно.— Я ведь говорил уже...

Женщина испуганно вскидывает глазами на мужа и тихо стаскивает башмак. Бондарь озабоченно сводит брови.

— Доу-зе́чи?..— повторяет он.— И не дорого это за такие маленькие штучки?.. Я за эти деньги должен сработать две средние бочки. Выпилить клепки, выстрогать, пригнать, набить обручи. Четыре дня работы, а то и больше. А ты их сделал в два дня... Суди сам, товарищ, разве это справедливо?..

Бондарь посещает clubul muncitorilor, слушает конференции Катриана и «приетеней-студентов» и теперь пытается применить к частному случаю формулу трудовой стоимости и обмена. Между ними начинается оживленный спор, который я понимаю только отчасти, так как говорят по-румынски. Катриан горячо говорит о «квалифицированном труде». Он увлекается, приводит примеры, жестикулирует. На говор выходит сосед-столяр и кузнец с молотобойцем. Слушают внимательно... Бондарь возражает неуверенно и слабо, потом хлопает оратора по плечу и вынимает кошелек. Он, видимо, доволен. Доволен маленькой женой, доволен башмаками, доволен, что он заказчик, что Катриан ждет от него уплаты, до-

---

[1] Двадцать левов (франков).

волен, наконец, даровой конференцией, прочитанной здесь известным оратором собственно для него. Довольны также и слушатели: каждый из них нашел свое место в стройной теории, а это всегда радует человека. При этом оказалось, что чистых пролетариев во всей компании только два: Катриан и молотобоец. Столяр, кузнец и бондарь — мелкие капиталисты и проприетары... Более всех, однако, довольна маленькая бондариха. Видя, что муж сдался и вынимает деньги, она с жадной быстротой хватает ботинки, завертывает их в передник и убегает, забыв даже попрощаться.

Только Лука с своих высоких козел смотрит тяжелым взглядом. Может быть, он вспоминает, что у его жены такая же маленькая нога, что он мог бы заказать ей такие же полусапожки и она так же радовалась бы, если бы была здорова.

VI

ГОРА ДЕНИЗ-ТЕПЕ

Тульча осталась назади. На гребне возвышенности видны еще валы бывшей турецкой крепости, разрушенной после берлинского договора. Последние следы владычества турок на берегах Дуная. По ним теперь ходят овцы, и фигура чабана долго рисуется, неподвижная в чистом небе.

Становится жарко. Солнце высоко. По степи, не успевшей остыть за ночь, уже тянет опять теплый ветер. Четыре пары подков ровно стучат по твердой дороге. Вдали, колеблясь, пробегают пыльные вихри, падают, встают опять в другом месте, точно это пространство они пробегали невидимками... С отдаленного Дуная, затерявшегося у мглистого горизонта, чуть слышно долетает гудок парохода... От молчаливого волнистого простора Добруджи веет смутными воспоминаниями, точно это встают в убаюканной памяти какие-то сны, которые видели, может быть, еще наши предки...

Все кажется сердцу странно знакомым и еще более странно чужим. Это неуловимое общее впечатление сопровождает меня всюду в моих скитаниях по этим придунайским степям.

Большое село как бы выползает из оврага, и, когда мы приближаемся, оно растет и ширится. Овраг разделяет его на две части.

— Каталуй ето,— вяло говорит Лука, указывая кнутом.— На етой вот половине, направо, тальяны живуть...

И через некоторое время прибавляет:

— Откуда взялися — неизвестно... Давно живуть...

За тальянами, в Ени-кее, живут болгары. Беленькая приветливая «кырчма» отбежала от этого села к самой дороге. Стены ее сверкают на солнце, и в двери видна густая заманчивая тень. Лука приворачивает сюда, разнуздывает лошадей и подвязывает им мешки с овсом. Нам ставят столик в тени, подают вино и кашкавал (простой овечий сыр). Я соблазняюсь зарисовать эту корчму, стоящую в чистом просторе, без садика, без деревца, без тына. Пока я рисую, Лука наливает мутноватое вино и каждый раз чокается с Катрианом. Потом требуют второй графин. Теперь наливает Катриан и чокается первый. Лука рассказывает ему что-то медленно, серьезно, с видом человека, который интересуется предметом, но не может его понять. Катриан — слушатель экспансивный: он весь подался через стол, чмокает губами (выражение крайнего внимания) и порой издает восклицания. Говорят по-румынски, но я улавливаю отдельные фразы. Речь идет о певице, которую Лука хлестнул кнутом. Никто не знает, откуда она, кто ее родители. Привез ее какой-то немец, который давно умер. С тех пор перебывала во многих местах. То появляется, то исчезает. Знает четыре языка: немецкий, румынский, греческий и немного руснацкий. Водится теперь с греками, но сама не гречанка. Кажется, Лука считает ее немного колдуньей и... сам удивляется своей заинтересованности... Катриан презрительно смеется... Закипает какой-

то спор, но, когда я подхожу к столу, Лука смущенно смолкает... Он показывает мне вдаль, где почти на горизонте виднеется синеватая цепь холмов, покрытых лесом. Она разделена в одном месте перевалом.

— Вот нам куда надо: у етой дял будет лезть,— говорит Лука.— Далеко еще. Поздно выехали. Как бы дощ не застал у балканах...[1]

Опять ровный топот копыт. . Долго... Часы... Клонит дремота. Солнце перешло на другую сторону неба. Однообразная равнина начинает волноваться. В одном месте из-за близкого горизонта мелькнула круглая верхушка горы. Мелькнула и скрылась и потом встала вся от вершины до подошвы огромным курганом. Она будто бы выбежала сюда одна от далеких гор и стала одиноко и сурово со своей тенью, как передовой страж, господствуя над равниной Стучат копыта, каруца катится, гора растет. Зовут ее Дениз-тепе,— может быть, потурченное название горы Диониса, забредшего далеко на север в страну варваров и здесь одичавшего эллинского бога... По сторонам ее широким кругом, охватывающим гору, виднеются, каждый со своею тенью, меньшие курганы. Движение коляски производит странную иллюзию: кажется, что огромная и грузная гора стоит на месте и только растет к небу, а курганы передвигаются, обходят нас стороной, охватывают, окружают магическим кругом... Это — как будто старый лагерь... Ставки неведомых вождей или маленькие алтари вокруг гигантского жертвенника... От всей группы веет загадочной торжественностью, застывшею старою тайной...

Лука поворачивается ко мне, указывает кнутом и говорит:

— Етыя могылы, господин Владимир,— усё люди поделали... Народы какие-то... А какие народы, я не могу знать... И никто не знает...

Потом, помолчав, прибавляет:

— Теперь от тых народов не осталось, может, ни од-

---

[1] Балканы, нарицательно,— горы. Дял (deal) — долина, разделяющая горный кряж.

ного человека... Нигде на усём свете. Только одни могилы...

Есть в этой простой фразе Луки и в его глубоком голосе, когда он ее произносит, что-то особенное... Или это только мне кажется потому, что мы уже въехали в синюю тень Дениз-тепе. Сначала в нее нырнули лошади, потом, зыбью пробежав по их вздрагивающим спинам, она покрыла Луку и легким веянием холодка обдала наши лица. И кругом нас сразу стало холоднее и печальнее. По бокам что-то осторожно шептала сухая степная трава, и чудились какие-то давние времена, и странная ночь, и чуждое небо, и не нынешняя луна и звезды, и неведомые «народы», собиравшиеся здесь для неведомых дел. Для войны? Для мира? Для совета?.. И на этих мелких курганах горели огни?.. А на вершине совершалась тайна?.. Лилась жертвенная кровь? Гремели заветы грозного божества?.. И кругом во тьме склонялись тысячи людей, в молитве и ужасе, и по склоненным спинам пробегали трепетные отблески огней...

Катриан в наивном удивлении смотрит на курганы. Он вздыхает, качает головой, и его резкий голос вспугивает обаяние минуты.

— Ах, господин Володя (так он величает меня по болгарской привычке к уменьшительным именам). Какой народ был глупый... Для чего потерял свой труд? Для чего потерял свой капитал?..

Я невольно улыбаюсь. Чем-то удивительно наивным звучит этот возглас. Лука поворачивается, смотрит на Катриана в упор и говорит:

— Тебе не спытали...

— Мене спытал бы,— с той же наивной простотой отвечает Катриан,— я бы не позволял. Это есть одна глупость. Лучше строить школа, народного дворца, театра. Для чего столько земля таскал? Какой надобность столько земля таскать у одно место? Мало горà на свете?..

Вопрос поставлен так ясно и просто, что Лука не находит возражения и глубоко задумывается. Мне чудит-

ся, что какие-то смутные симпатии связывают его простую душу с тайной этого места, где давно исчезнувшие поколения оставили после себя эти курганы и смутные тени давно исчезнувшей веры. Но резкий рациональный голос Катриана распугивает смутные ощущения: зачем, в самом деле, таскать столько земли в одно место?..

Ответить Лука не умеет. Он задумчиво покачивает головой и гонит лошадей, чтобы они поскорей унесли его от неразрешимого вопроса...

VII

СОБСТВЕННЫЙ ЦЫГАН ЛУКИ

Навстречу, по дороге, огибающей Дениз-тепе, ползет воз и скоро тоже ныряет в тень.

Это кочевая телега цыгана. Он идет впереди один. Под навесом телеги — его нехитрый скарб и, вероятно, семья. Далеко не доезжая до нас, он торопливо сворачивает с дороги, останавливает лошадь. Я с удивлением вижу, что он вытолкнул из-под навеса черного лохматого цыганенка, а другого, поменьше, взял за шиворот и волокет к дороге, по которой мы должны проехать. Тут он швыряет ребенка на шоссе и кидается сам на землю. Все трое лежат почти на середине дороги...

Лука замедлил бег лошадей и сворачивает в сторону. Лошади осторожно пробираются краем, прижимаясь друг к другу, колеса сухо шуршат по щебню... Навстречу нам с земли глядят с странным выражением три пары цыганских глаз, точно в рамке из матовых черных лохматых волос... Поравнявшись с ними, Лука тихо замахивается кнутом и покрывает всех ласково-шутливым ударом. Цыганы, точно по команде, приподнимаются на колени и начинают порывисто кланяться вслед нашей тихо удаляющейся каруце. А сбоку таинственно, серьезно и одобрительно смотрит на эту картину загадочная гора Дениз, окруженная своими курганами.

— Что это такое? — спрашиваю я с удивлением у Катриана.— Они просят милостыни?

Катриан пожимает плечами.

— Ну штиу (не знаю),— говорит он.— Че аста (что это), Лукаш?

Лука стыдливо вытягивает лошадей кнутом и говорит после короткого молчания:

— Ето Янку... мой цыган.

— Зачем же он ложится на дорогу?

Лука некоторое время молчит, думает о чем-то.

— Такой у его обычай...— говорит он затем серьезно.— Моду себе такую узя́л. Как мене завидить, так сейчас и ляжеть. И детей покладеть на шлях .. Значыть: поезжай, Лука, через мене, через моих детенков. Топчи копытами, ничего.

— Но зачем же?

— Так...

Он опять застенчиво смолкает. Но потом, соображая, что мы в недоумении, говорит как-то неохотно и вяло:

— Ты, Катриан, знаешь, где тут за горою Европа Ду́най ровняла и дорогу строила...

— Знаю.

— Ну, выкопали они тут фосу (канаву) и шанец насыпали. А потом сверху, может от Железных ворот, а то от Семендрии вода по Ду́наю пошла и покрыла усё ето место, и шанец, и фосу, геть усё... Ничего не видно... Ну, а етой цыган не знал. Он кочуеть далеко: пойдеть себе степами на Констанцу, в Туречину залезеть, пропадаеть долго... Поехал етым местом, задумал коней купать... Отпрег, повел у воду. Думает себе, дурной, что тут мелко. Дошел до етой фосы,— бух у воду с головою, давай уже тонуть... Когда бы не глупый был, то не выпустил бы повода. Лошади бы его выволокли. А он дурной: боится коней втопить, отпустил...

Лука усмехается и качает головой...

— Ну? — живо понукает Катриан.

— Так и утоп бы собака Да на тую пору мене черт принес: еду себе над Ду́наем из Сарыкоя; вижу, что-то у воды чернеется. Покажется и мырнет опять. А по берегу цыганчата эти самые бегають, лопочуть, руки кверху

здымають. Когда вижу: лошади над шанцом показались. Тут уже я догадался. Соскочил сейчас, орчики от каруцы отчепил, дышло вынял да с дышлом у воду.

— Так и вытащил цыгана? — смеясь, спрашивает Катриан.

— Сам было утоп,— серьезно отвечает Лука.— Цыган мой уж одурел: я ему дышло у нос, а он того понятия уже не имееть, чтобы ухватить руками... Что тут делать у такой беде? А сам я плавать тоже не умею. Ну, побежал на берег, схватил буланка, вожжу ему за шею подвязал, да у воду. Спрыгнул с коня у фосу, хлестнул его, сам левою рукою за вожжу держусь, другою цыгана ухватил за чуприну... Он, дурной, мене на дно тянеть, буланка на месте бьется, аж вода кипить, по берегу цыганчата бегають, кричать...

Он усмехнулся.

— Совсем было пропал с проклятым цыганом. Надо бы кинуть, а мене уже зло взяло. Пущай же я его, дурного, вытащу, а то и сам пропаду, когда мне, может, такая смерть написана... Ну, все-таки выволок нас буланый до шанца,— руку мне вожжой всю ободрал. Взял я етого цыгана на руки, донес до берега, положил лицом униз, вытряс из его воду. Может, с ведро. Душа вернулась. Вот он с тех самых пор все мне и кланяется... еду я, он на дорогу ляжеть. У городе встренеть, руки цалуеть... Цыган, цыган, а душа такая же. «Я твой человек». А на что ты мне, дурной, здался?..

— Ты есть алтруист,— говорит Катриан серьезно.— Omul brav (храбрый человек). Тебе треба у нашего клуба писаться.

— Не понимаю я, чего ты говоришь.— Лука пожимает плечами и переводит разговор на другую тему.— Тут вот могылочка будеть, так в ей хохол с Херсонщины усё клад шукаеть... Вот и теперь тут...

Дениз-тепе назади. Теперь гора повернулась к нам освещенной стороной и в ровном косом свете кажется далекой. В тени чуть заметным пятнышком маячит цыганский воз... По мере движения нашей каруцы странно пе-

редвигается цепь курганов; последние из них подбежали к нашей дороге, как бы загораживая выход из магического круга...

Один подошел вплоть. В его бока врезалась канава. Из ямы, точно ком земли среди других комьев, видна лысая голова с седыми усами. Живые глаза провожают нас внимательно, подозрительно и враждебно. Лука кланяется с обычным серьезным видом. Катриан громко смеется.

— Nebun (сумасшедший),— говорит он бесцеремонно.— С малого труда хочет большой дохода... С малого труда не надо большой дохода... Правда, господин Володя?

«Балканчики» все ближе. Над ними мутные тучи тихо клубятся, громоздясь друг на друга, но как будто не решаясь покинуть гряду, чтобы двинуться к долине. Над нами и за нами еще светло и весело. Вьется жаворонок, рассыпается где-то невидимой трелью и, как черная грудочка земли, падает в сухую траву. Высоко пролетают ласточки, искрещивая воздух зигзагами. Вверху, освещенный солнцем, парит степной орел.

Лука и Катриан давно уже ведут о чем-то беседу по-румынски. Беседа деловая. Начал ее Лука: «Аскульта́, Катриане»,— сказал он, слегка повернувшись, а затем медленно, как будто сконфуженно стал ему говорить что-то о функционаре, который приходил к нему и о чем-то его просил... Катриан сначала смеялся, потом заговорил так быстро, что я перестал улавливать смысл его румынской речи; он привставал к Луке, опять кидался в сидение и даже стучал кулаком по ладони.

Наконец редкие реплики Луки совсем стихли. Он ехал молча и наклонив голову набок, не то изучая побежку лошадей, не то раздумывая. Потом заговорил по-русски, обращаясь уже ко мне:

— Вот, господин Владимир... Мы тут с Катрианом майструем у двох над одным делом...

— Каким?

— Хочем так сделать, чтоб одного человека оставить без хлеба.

Я невольно улыбаюсь. Катриан лукаво подмигивает на Луку. А Лука продолжает своим медлительно-вдумчивым голосом:

— Видите... Какой тут марахвет вышел. Приходять раз ко мне у двор помощник перчептора (по-вашему сборщик) и два епистаты. Значить, по-вашему сказать, жандармы. Усе пьяные. Вышла к ним тут теща моя, старая женщина. «Что вам надобно?» — Подавай подать... Слыхали? — Ну, она ему отвечает: «Что ты у бабы подать пытаешь? Умный ты или дурак?» Он ее — бить... Выбежала жена...

Он поворачивается ко мне. Глаза его сверкают жалостью и гневом.

— Вы ее видали: больная. Он и ее, подумайте, господин Владимир,— ногою вот сюда, под грудки... А меня не было́. Я с отцом и братом на га́рмане был. Во́рочаюсь до дому: жена моя лежить на постели. С этых пор вот опять до доктора вожу...

— Hotz, tilhar, bürokrat! — гневно сверкая глазами, произносит Катриан.

— Ну, правда,— поясняет мне Лука.— Тильга́р, гоц — значится разбойник. И верно, что разбой... А у меня, сказать вам, и подать давно заплачена. Оны, значить, хотели с етых женщин на вино себе выманить... Что, господин Владимир, у вас так бываеть, у России?

— Случается тоже...

— Что тогда делают у вас люди?

— Что ж... жалуются, конечно.

— Ну, так... И вы то же самое говорите. А у нас, господин Владимир, прежде при ту́рчине был другой обычай... При ту́рчине, то взял бы я себе добрый атаган... нож значить, или пушку, по-вашему рушницу, и пошел бы на дорогу дожидаться. Когда бы он пошел дорогою, то уже кому бы бог дал. Или ему, или мне. Кому, значить, какое счастие. Мне бы бог помог, я бы ему голову разбил. А если бы ему бог дал, то он бы меня уклал на шляху. До кого бы, значить смерть пришла, то от

смерти никому нельзя убежать... Ни одному человеку... При ту́рчине у прежнее время оно так было...

— Глупый народ был,— категорически отрезывает Катриан.— Феодальный време рушница действовал. Буржуазный време — закон!

— Ну,— мотает головой Лука.— Прежде так было́. Отец у меня, конечно, человек старинный. Такая, говорит, видно, твоя доля, а что покинуть этое дело нельзя... Ну... пошел я к доктору. Прощай, говорю, домну докторе. Чи увидимся, чи, может, уже не увидимся, я не знаю. Ну, он распытал мене. «Хочешь ты, дурной, мене послухать?» — Я завсегда, говорю, должен тебе послухать.— «Так покинь ты этые турецкие глупости. Не надобно. Лучше я тебе одного человека пошлю... Он тебе дасть пора́ду...» И прислал вот его, Катриана.

Он тычет, повернувшись, ручкой бича по направлению к Катриану и продолжает:

— А он, Катриан, вот какой человек, вы его еще, может, не знаете. Башмачник, чеботарь, черная кость. Худородный, как все одно я или другой. А никого не стыдится. И имеет силу...

Катриан самодовольно улыбается.

— Помнишь Костю? — говорит он.

— Я не об том,— говорит Лука,— что ты Костю свалил. Мене не свалишь. У тебе сила большая, а короткая... А я, господин Владимир, вот о чем: приходит, например, у ресторацию или у градину (сад), где сидеть сам прехвект. Здоровкается за руку. Запалюеть цигарку, сажается себе на стул...

— Ты смотришь на префект, как на один бог,— говорит Катриан.— А я не смотрю на его, как на один бог. Затово́ что он народный слуга. Пишись, глупый царан, у нашего клуба, будешь понимать все.

Лука задумчиво стегает лошадь и, оставив восклицание Катриана без ответа, продолжает:

— Пришел Катриан ко мне в дом, распытал. Аштяп (подожди), говорить. Ты покаместь не мешайся в этое дело. Мы будем у газету писать. Потом, когда уже газе-

та не поможеть, напишем петицу...[1] На что мне, я говорю, твоя газета и петица? Газета — бумага, а он у мене бабу бил. Я ему, тилгару, кишки выпущу, как он ее под грудки вдарил.

Катриан иронически усмехается.

— А как он тебе кишки выпустить? А? Или посадят тебе у пенитенциар... Бабе лучше будет?

— Вот! — подтверждает Лука.— Это правда опять. Давай, говорить, мы у етых людей кусок хлеба из роту вырвем. Это им будеть лучше атага́на и рушницы. Теперь он получает себе шестьдесят левов каждый месяц... А мы у его отберем...

Лука качает головой, как бы удивляясь, и продолжает:

— Написал у газету. Пришла газета из Бухарештов до нас. Люди читали,— газета, газета!.. Ну, а дальше что? «Аштяп,—говорить, значить: погоди.—Не твое дело. Ты только побожись на образ, что без мене не будешь с ним мириться никак». Ну, я побожился. Почему побожился? Я их в то время живыми бы у землю рад закопать...

Катриан при упоминании о клятве на образ лукаво улыбается и подмигивает на Луку...

— Ну, хорошо,— продолжает Лука.— Прийшла газета, кличуть мене у прехвектуру. И он там, перчептор и епистаты с ним. Стоять, чисто овечки. «Правда у газете написана?» — А как же! — «Били они?» — Били. И сейчас баба больная.—«Как же вы,— говорит функционар,— можете прийти к проприетару в дом и бить его куко́ну? Это не дозволяется никак... За этое дело ответите строго». Ну, и что вы думаете: пройшло дня, может, три или четыре, приходить ко мне той перчептор. Бух у ноги... «Ярта ме пентру думние зеу...» Значить: прости ты мене для бога.

Голос Луки становится жалобным.

— Прости, говорить. Не попомни того дела... Ноги целуеть. Потому что, видите вы, господин Владимир,— у него тоже баба и два дитёнка. Чем им кормиться?.. А?..

---

[1] Petitia — жалоба.

— Ну, и что же вы, простили?

Лука некоторое время молчит, Катриан сидит, сдвинув брови. Потом Лука говорит с особенной медлительностью.

— Я вам правду скажу: хотел попуститься. Жалко. И жена просила. Ну, нельзя: присягал. А он, Катриан, не позволяет никак ..

Катриан делает резкое движение и говорит:

— Вот, господин Володя, смотрите вы на этого народа: из рушница хотел стрелять, атаганом хотел резать, голова хотел разбивать,— теперь хочет отпускать вовсе...

И, привстав с гневно сверкающими глазами, он спрашивает у Луки:

— Он только у тебя в доме бабу бил?

— Это правда, господин Владимир,— смиренно отвечает Лука,— у других тоже бил. Мужики из дому, они у дом. Которые бабы испугаются, дадут лева три, а то четыре, они идуть дальше... А которая не дасть — бить...

— За эта причина нельзя простить,— отчеканивает Катриан, обмусливая скрученную папиросу.— Asta afacere cetacenesca (это общественное дело). Когда ты увидишь одна змия,— убий его!.. Убий, чтобы не укусил другому...— заканчивает он тоном глубокого бесповоротного убеждения.

Бледное лицо социалиста покраснело от волнения. Лука молчит сконфуженно и покорно.

VIII

ЛИПОВАН ИЗ «ЧЕРКЕССКОЙ СЛАВЫ»

Перелесок. Дорога грязная. Здесь недавно шел дождь, редкие капли проносятся в воздухе и висят на листах. Из-за деревьев видны недалекие крутые вершины лесистых гор, задернутых дождливой пеленой. Слышен шум тихий и ровный. Разбежавшиеся лошади чуть не набегают на препятствие. На повороте, у кустов, стоит воз с хворостом, наклонившийся на сторону. Правые

колеса по ступицу ушли в колею. У воза хлопочет липован в маленькой шляпенке и кожаных постолах, вымокший, грязный и вспотевший. В перспективе лесной дорожки равнодушно поскрипывает другой воз и скоро исчезает за кустами. Липован хлещет взмокшую лошаденку поперек спины, потом по шее, по глазам Лохматый конек тужится, выгибает худой хребет. Воз не трогается.

Лука останавливает каруцу, медленно подвязывает лошадей, потом несколько секунд стоит молча, изучая положение воза.

— Топор есть? — спрашивает он у липована.

Тот достает топор, покорно подает его Луке и потом, сняв шляпу, отирает мокрое лицо и слипшиеся на лбу волосы. Лицо усталое, апатичное. Он, видимо, дошел до тупого отчаяния, когда человек уже ни на что не рассчитывает и готов хлестать дорогу, деревья, оглобли и, конечно, лошадь Лошадь больше всего, потому что она способна чувствовать его отчаяние: она вся дрожит мелкою дрожью ужаса, и умные глаза ее плачут крупными частыми слезами.

Лука качает головой неодобрительно и жалостливо. Потом берет топор, двумя-тремя ударами срубает мешающие ветки, а затем вырубает толстый корень у самой ступицы. Воз оседает и накренивается на Луку, но вдруг подымается опять. Это Катриан, заметив опасное положение приятеля, быстро подставил плечо и порывисто нервным усилием приподымает воз Липован подхлестывает лошадь, воз выползает на ровное место.

Лука одобрительно смотрит на Катриана... Липован снял обеими руками мокрую шляпенку. Его рубаха изорвана, с одной ноги обувь свалилась и тянется сбоку на ремешке, лицо удивленно-радостное и благодарное.

— А что же твои тебе не помогли? — спрашивает Лука, указывая головой в ту сторону, откуда еще слышно потрескивание корней под колесами.

— Не свои,— отвечает липован,— это из «Русской Славы», астрицкие. Мы, стало быть, с Черкесской. Беспопские.

— Ну, так что же? — говорит Лука поучительно.— У беде человеку надо помочь. Когда бы твоя конячка не была сдвинула сама, то я бы тогда выпряг своих... Нельзя человека в такой беде покинуть.

Он подходит к липованскому коню и жалостливо гладит его по шее.

— А коня, брат, надо кормить. На биче не уедешь. Главная сила у зерне. Лошади дай зерна, потом пытай работу. Без понятия вы, славские. Вот у Сарыкое ваши тоже. Липованы. А посмотри ты коня, посмотри воз... Все справно.

Липован слушает смиренно, потом вдруг спохватывается. Широкое лицо его расцветает улыбкой.

— Пожди-ка,— говорит он, лукаво подмигивая, и кидается к возу. Из-под хворосту он достает объемистую посудину и большой стакан. В посудине цуйка — местная сливяная водка, мутная, плохо очищенная, но необыкновенно крепкая. Он наливает себе стакан, говорит: «Господи благослови» — и быстро опрокидывает в рот. Потом подносит Луке и Катриану. Они выпивают. Липован наливает по другому стакану.

— А сам? — спрашивает у него Лука, выпив после Катриана.

Липован смотрит с наивным сожалением и чешет в голове.

— Не догадался, вишь... Теперича нельзя мне: посудину вы опоганили.— Он кидает стакан в кусты и прибавляет простодушно: — Ну ничего! Для добрых людей не жалко.

Каруца катится лесом, который становится все выше. Бессонная ночь и тихое ровное движение берут свое: я начинаю дремать. Будто сквозь сон слышу, как Лука говорит:

— Тут вот долгоусы живут А что за народ — неизвестно.

И в моих дремотных глазах мелькает лесная вырубка, хатки, синий дымок на фоне зелени и черная голова на тонкой шее, с длинными усами, расходящимися над

бритым подбородком. Два глаза с темными, как угольки, зрачками. Потом какой-то цыганский поселок с землянками. Подобие женщины с черными лохмами и обнаженной терракотовой грудью...

Потом лес, сплошной, высокий, с однообразным убаюкивающим шумом.

IX

СТОЛКНОВЕНИЕ

— Для чего ты у наш клуб не пишешься? — доносится ко мне медленный голос Луки...— Хочется ему, чтоб я записался у clubul muncitorilor. Ну, мне не надобно... Почему не надобно?..

Он обращается ко мне, и я просыпаюсь...

— Он, господин Володя, боится, что мы у бога не верим,— живо подхватывает Катриан.— Боже мой! — поворачивается он к Луке.— Кто тебе запретит? Верь ты у свой бога, только будь солидàр... Чтобы не давать своего труда кушать другому...

Лука не отвечает. Катриан закуривает. Опять долго едем молча. Вечереет. Вверху над лесом проносятся красноватые облака, точно торопятся на ночлег... И опять, очнувшись от дремоты, я слышу разговор.

— Так и не будешь жениться? — спрашивает Лука.

— Не буду,— отвечает Катриан и выпускает в воздух длинный густой клуб дыма...

— Не хочешь... Ну, а как дитенок будеть?..

— Дитенок родился уже,— говорит Катриан живо.— Один большой мальчишка... Четыре кило тянет.

— Ты уже его на кàнтаре [1] важил?

— Важил.

— Т-а-ак. А крестил?

Катриан молча пожимает плечами.

— У какую ж ты его веру окрестишь? — с глубоким интересом продолжает Лука.— В церкву понесешь?

— Зачем у церковь? Не надо мне церква.

---

[1] Cântar — весы.

Лука поворачивает голову.

— Неужто у синагогу потащишь?

— Не надо мне синагога,— равнодушно отвечает Катриан. Лука слегка откидывается и весь поворачивается к сидению.

— Как же он у тебя будеть?..

— Никак...

Глаза Луки делаются круглыми и на несколько секунд как бы застывают... Он как будто не может дать себе ясного отчета в слышанном и начинает уяснять его себе, пустив лошадей. Потом опять поворачивается.

— Слышите вы, господин Владимир... Вот у его баба. Жидовка. Жениться он не хочеть. У нас у Румании это можно: либер, хочь з христианкою, хочь з татаркою венчаться можно. Неправду я говорю, Катриан?

— Правда,— подтверждает Катриан.

— Ну, он не хочеть. Значит, так збежалися как собаки у одно место... Свадьба...

Папироса в губах Катриана слегка вздрогнула. Его бледное лицо еще побледнело, а в серых глазах вспыхнул гневный огонек.

— Ну,— продолжает Лука успокоительно,— это их дело. У нас тоже много так живут... Грех, конечно, ну, ничего. А вот что он теперь говорит... Это как?

— Слушай, Катриан,— говорит он странно переменившимся, почти просительным тоном,— ты мне этого не говори... Пож-жа-луйста не говори! Я тебе прошу... Ну, не хочешь у церкву, неси у синагогу... Будет он у тебе жиденок. Всё-таки вера... Понесешь?

— Не...

— В мечеть неси. Будет он турчин.

— Не надо мине мечеть. Никакая вера не надо...

Каруца катится совсем тихо. Лука смотрит на Катриана. Катриан, крепко зажав в зубах папиросу, смотрит на Луку. Я с несколько тревожным любопытством смотрю на обоих.

Трудно представить двух людей, менее похожих друг на друга. Лука — крепкий, прямоугольный. Все на нем

прочно, широко, сшито с запасом Движения немного неуклюжи, но в них чувствуется какое-то грузное, медвежье проворство. Лицо смуглое, трудно выдающее душевные движения Черные глаза глубоки, и в этой глубине все смутно. Точно в голове и сердце этого человека клубятся и передвигаются медлительные чувства и мысли, похожие на облака ночью над курганами Дениз-тепе... Катриан, сухой и нервный, весь точно на пружинах Так как в горах сыровато и холодно, то я дал ему пелерину от своего непромокаемого плаща. Из-под нее виден черный сюртук. Все это как-то странно и случайно. В фигуре Луки чувствуется быт, по которому тяжело прошли вековые перемены. Фигура Катриана вся — сегодняшний, может быть, завтрашний день . На бледном от нездорового труда лице проступает быстрый, непрочный, нервный румянец...

— Будешь крестить? — спрашивает Лука медленно.

— Не буду,— говорит Катриан.

— И в турецкую веру не окрестишь?

— Отвяжись от мене...

Лука останавливает коляску и говорит:

— Вылазь из каруцы .. Вылазь из каруцы,— повторяет он крепче.— Ты мою каруцу опоганил. Я добрых людей вожу. Вылазь из каруцы!

И затем медленно, замотав на облучке вожжи, он слезает с козел.

Едва он ступил на землю, как Катриан, быстрым, как молния, движением, выпрыгнул из каруцы и стоял против него в своей шляпенке и моей пелерине, но не смешной. Он весь выпрямился, как тугая пружина. Глаза его сверкали, тонкие черты стали красивы и значительны.

— Как ты смел говорить так о моей жене? — заговорил он по-румынски звенящим голосом.

— А что ж тебе сказать? — медленно, тоже по-румынски отвечает немного оторопевший Лука.

— Ты .. ты глупый царан,— почти задыхаясь, заговорил Катриан,— зверь лесной... Ты вот это дерево, ты

вот этот камень, ты ничего не можешь понимать. Ты не имеешь разума... И ты смеешь так говорить о моей жене. Она честная женщина, мать моего ребенка...

Он нервно засмеялся и, указывая пальцем на Луку, заговорил, обращаясь ко мне, опять на своем руснацко-румынско-болгарском жаргоне. В голосе его слышался горький сарказм:

— Посмотрите на его, господин Володя: это есть один моралист, один христианин. Он учит мене, как держать моя семья. А сам...

Он остановился и, пронизывая Луку горящим взглядом, прибавил:

— Имеет одна жена у селе и одна любовница в городе... Скажи: неправда я говорю?

Лука, ожидавший, по-видимому, более простого разрешения этого спора, видимо, растерялся. Он смотрел на противника округлившимися несоображающими глазами.

— Ха-ха! — нервно захохотал Катриан.— Он, господин Володя, сегодня ударял кнутом эта девушка. За чего ты ударял Марица?.. За того, что она тебе бросала, пошла к грекам. А за чего ты ее бил? Это я считаю низкость, бить одна слабая женщина. И ты... ты говоришь о моей жене...

По бледному лицу социалиста прошла судорога. Серые глаза вспыхнули. Он подскочил к Луке и схватил его левой рукой за грудь.

Я выскочил из каруцы, чтобы предупредить столкновение, которое, я чувствовал, могло быть ужасно. Катриан, надорванный городской жизнью, потомок сильных предков, обладал все-таки запасом той «короткой», как говорил Лука, нервной силы, которая дает вспышками огромное напряжение. Лука подался назад, тяжело дыша и озираясь, как медведь, поднятый из берлоги.

Так прошла одна или две секунды, которых я никогда не забуду, с этой лесной дорожкой, с тихим шорохом листьев и с журчанием невдалеке невидимого источника. Одна лошадь повернула голову, вытянула шею и широко зевнула...

Лука отвернул лицо и тихо отстранил руку Катриана.

— Пусти,— глухо сказал он и тяжело, точно спросонья, перевел дух...

Это тоже было неожиданно. Катриан, выпустив пиджак Луки, остался в той же позе.

Тяжелое недоумение разрешили лошади. Они тихо двинулись по дорожке и через несколько секунд вынесли каруцу на площадку, где у подножия холма оказался небольшой каменный водоем. На стенке виднелись завитушки арабского изречения из корана. Водоем был, очевидно, сделан в турецкое время. Вода тихо стекала по желобку с мелодическим примирительным журчанием и звоном. Мы втроем пошли за каруцой...

Лука снял недоуздки, и, когда лошади принялись жадно пить, он повернул ко мне печальное смуглое лицо и сказал тихо:

— Это, господин Владимир, все... правда. Только ты, Катриан,— повернулся он к недавнему врагу,— не знаешь мою душу... Ни один человек не может знать чужую душу... Ни один... На всем свете. Только вот кто знает. .

Его черные глаза печально поднялись кверху... А в голосе звучала глубокая, хватающая за сердце тоска...

Катриан вынул из кармана портсигар, достал оттуда две сигаретки и, подавая одну Луке, сказал, покрывая весельем не вполне еще улегшееся волнение:

— Давай, хахол. Выкурим по одна сигарка...

По кустам шел тихий шорох... Красные облака вверху уже потухли. За балканчиками село солнце. Булькала вода, вздыхала напившаяся лошадь... Казалось, в тихом, застывающем воздухе слышен полет уходящей минуты

X

ВЕЧЕР В БАЛКАНАХ

...Над балканами тихо. Вечер, должно быть, еще ранний, но мне кажется почему-то, что уже глубокая ночь. Мы едем то темными лесными ущельями, то взбираем-

ся на крутые вершины, и тогда над нами широко и далеко раскидывается ласковое, чистое небо, на западе еще светящееся отблеском отошедшего дня. Нигде не слышно стука колеса, человеческого голоса, собачьего лая, живого звука... Кругом — крутые горы, лесистые, молчаливо-таинственные. Где-то здесь забилась в ущельях «Черкесская Слава», где-то есть хутора. Все притаилось, замолкло, может быть, уже заснуло. И если порой послышится в сторонке частый топот и побежит рядом с нами шорох колес, смолкая и опять гулко отдаваясь в чутком воздухе, то это только звуковой призрак: по ущельям бежит за нами наше эхо...

Катриан много курит. Огонек его сигареты вспыхивает красной искрой. Тогда я вижу его бледное лицо, с глазами, поднятыми к небу. Оно неопределенно задумчиво, почти мечтательно... В этих поездках он переживает самый поэтический период своей жизни. Детство в тесных, кривых улицах полуазиатского, полуевропейского большого города. Утомительный труд в душной мастерской... Ни отдыха, ни игры, ни ласки, ни просвета. Недолгое обязательное учение в школе... Потом грубый разгул с товарищами подмастерьями, потом случайная встреча с социалистической молодежью и яркие, нетрудные, простые откровения, в которых он, как ему казалось, понял всю свою жизнь, как можно узнать коридоры и переходы в большом доме... Переезд из столицы в Добруджу, опьяняющий успех пропаганды и непонятная ее остановка. . Потом — деревенская темнота, деревенская стихийность. Лука, который становится его приятелем, но по непонятным причинам не пишется в клуб... а сегодня на минуту стоял перед ним смертельным врагом. Широта и раздолье степей, по которым рассеяны величавые памятники человеческой глупости, и ночь в лесных балканах, может быть, первая в жизни, проводимая таким образом.

Смутный звук, точно дальний призыв или стон, пробегает в чутком воздухе. Ночь от него вздрагивает, и эта дрожь замирает в ущельях. Потом другой, третий...

— Че аста (что такое)? — спрашивает Катриан почти с испугом.

— У ченобии [1],— отвечает ему Лука,— к вечерне вдарили.

— Значит, «Слава» близко? — спрашиваю я.

— «Слава» близко, а монастырь далеко. Это вот тут дялами (ущельями) доносить...

Действительно, мы оставляем за собой устье ущелья, и звон смолкает... Опять тихо. Навстречу из-за деревьев поднимается бледный серп луны, свеженький, точно сейчас обмытый дождями и росами. Он то пробегает, будто играя, за сеткой зелени, то скрывается, падая за какую-нибудь вершину, то опять появляется, торопливо карабкаясь по веткам. И вдруг смело пускается плыть по чистому небу... Катриан следит за этими его проделками и поворачивается ко мне. Лицо его здесь, на открытой горной площадке, видно мне довольно ясно. В нем недоумение и вопрос, очевидно, выходящий из обычного круга его мыслей.

— Господин Володя,— говорит он медленно,— что я хочу вас спрашивать?

— Пожалуйста, домну Катриан...

Он продолжает следить за луной, как будто отыскивая на ней какую-то свою заблудившуюся мысль, и потом, в забывчивости, говорит по-румынски:

— Vezi asta luna... Посмотрите на этого луна. Был круглый... потом не было. Теперь маленький...

— Совершенно верно,— что же?

— Я хочу знать: это все один месяц? Или все новый?

— Домну Катриан,— говорю я с невольным удивлением,— разве в школе вам этого не объясняли?

— Я учился мало,— печально говорит он.

Я кратко объясняю фазы луны человеку, который понял сложные вопросы прибавочной стоимости и ее распределения, но еще в первый раз задумался о том, что каждую ночь глядит на землю вечною заманчивой тай-

[1] Киновия, монастырь.

ной. Катриан внимательно слушает. Лука едва ли интересуется моими объяснениями. Он знает это небо и эту луну по-своему... Когда я кончаю, он тоже смотрит кверху и говорит:

— А будет дощ. Завтра у полдни...

— Почему? — спрашиваю я.— Небо чистое.

— Оно чистое. А зо́ри невеселые...

Действительно, вверху протянулся почти незаметный, тонкий туман. Зо́ри — это, на языке Луки, звезды Они видны ясно, но точно светящиеся паучки протянули в тумане огненные лапки...

XI

НОЧНОЙ СХОД В «РУССКОЙ СЛАВЕ»

Каруца плавно катится по отлогому склону, как будто падая в темноту широкой долины. И по мере того, как она падает, на противоположной стороне неба ширится и растет огромная гора, точно мглистая туча, занявшая половину горизонта. Она все подымается, поглощая вверху звезду за звездой. А внизу, у ее подножия, вдруг загораются огоньки. Один. Другой. Третий . Потом огоньки посыпались кучками, выползая из невидимого ущелья... Среди них, чуть освещенная снизу, вырисовалась на фоне горы белая колоколенка...

Это «Русская Слава».

У въезда — околица, как у нас в России, и у околицы огромный бородатый старичище поднимает фонарь и смотрит на нас с выражением той почтительной враждебности, с какой и у нас глухая деревня встречает неведомых приезжих господ... Становой? Исправник? Податной инспектор?.. Префект? Перчептор? Землемеры?

На небольшую тесную площадку, сжатую надвигающимися склонами горы, приветливо светит раскрытыми окнами большая корчма Свет падает на группу осокорей, у которых стоит спутанная кучка телег. На одной тихо плачет маленький ребенок. Детский голос постарше тянет, хныкая, жалобно и певуче:

— Тять-ка! А, тятька. Тять-ка-а-жё! Че-орт.

А тятька, должно быть, сидит за корчемным столом, свесив буйную русую голову, побежденную хмелем, и забыв, что пора ехать из села лесными дорогами, куда-нибудь на хутор, в темное ущелье...

От «Русской Славы» с первых шагов веет на меня наивным юмором и наивною печалью родины...

У корчмы на крыльце и на завалинке маячат фигуры. По тому сдержанному и молчаливому вниманию, с которым смотрят на нас, пока мы вылезаем из каруцы и когда входим в корчму,— я чувствую, что нас здесь ждали, о нашем приезде много говорили, может быть, много спорили, до хрипоты, до взаимного озверения, и разошлись с неразрешенными спорами и с гневом.

В светлой «кырчме» за прилавком кырчмарь — человек серьезный и дипломатичный. Он вежливо и сухо кланяется нам. На вопрос Катриана о Сидоре, к которому его направил доктор, корчмарь поворачивается к служащему с кратким приказом:

— Поди. Позови.

В ожидании мы заказываем кофе и сыру. В избу потихоньку входят мужики с широкими бородатыми лицами, смотрят на нас пытливо, недоброжелательно и серьезно. Точно Катриан приехал не по просьбе их односельцев и не по их собственному делу, а с неизвестными, может быть, враждебными намерениями. И мне кажется, будто из этих глаз или через эти головы к нам заглядывает в открытое окно темная лесистая гора, которая закрыла над «Славой» полнеба своею мглистою тенью.

Приходит Сидор, тот самый, который последним говорил с доктором и выражал опасения насчет отношения Катриана к богу. Он без шапки. Жесткие белокурые волосы угрюмо торчат в разные стороны. В глазах странное выражение сдержанной, неизвестно еще куда направленной злобы... Он неприветливо кланяется нам и садится на лавку, быстро и пытливо оглядывая густеющую толпу.

Катриан наскоро допивает кофе, обтирает платком тонкие усики и говорит:

— Ну. Мене послал доктор.

Молчание.

— Такое дело,— произнес Сидор, и опять его угрюмый, сверкающий взгляд быстро вонзается в толпу...

— Доктора довольно знаем,— произнес кто-то благожелательно.

— Доктор, так и доктор,— холодно говорит другой...

— Доктор лечи... Наше дело особое...

— Не брюхи болять...

Сидор вдруг вспыхивает.

— Умные больно стали... Откеда набрались стольки ума...

В его голосе что-то закипает, плечи нервно шевелятся.

— В люди за етим не ходим,— отвечают ему...

— То-то вот. Не хоти́тся вам людей послушать. Своим умом наживете добра.

— Чаво не наживем,— раздается несколько голосов сразу.— Скольки время жили, не жа̀лились... Завсегда миром... Сопча̀...

— При турчине мало делов бывало?.. Паша не грозился? Черкес не приходил?.. А?

— А чего взяли?.. Дрючков не попробовал он?

— Не об турчине дело! — кричит Сидор, вскакивая с места.— Тольки вы, старики, и знаете, что турчина поминать. Теперь не те времена.

— Чаво не те...— Толпа гудит на разные голоса, точно улей.— То-то и есть, что не те... За турчина хуже что ли было̀?

— Не об этом и речь, что хуже или лучше... Порядки были другие... Турчин землю никогда не мерял!..

— И рамуну не дадим мерять, вот те и все. Не поддадимся...

— Не поддадишься ты...

— Чаво толковать: держись уместе, больше ничего... Ходоков послать у Букарешты...

— Чаво не ходоков... Не видали там лапотников...

— Боярин тоже сыскался.

— И то, братцы, боярин. Гляди, бороду-то уж постригать стал.

Кругом нашего стола становится тесно, душно, потно и жарко. Я беру свой стакан и выхожу из толпы, провожаемый пытливыми взглядами. В другой комнате почти пусто. В открытые окна веет свежестью, видна площадка, небольшие домики, колокольня, кусок чистого неба с звездами и серпом месяца над обрезом горы.

А сзади кипят споры, которые отсюда я различаю яснее. «Русская Слава» разделилась на две партии. Сидор и его сторонники, уже слегка подстригающие бороды, стоят за Катриана, который своим звонким голосом убеждает липован выступить с отдельными личными исками. Другие считают, что это подвох и необходимо стоять всем одной безличной, сплошной мужицкою тучей. Им не страшно стать толпой хотя бы и против вооруженной румынской силы. Но страшно в одиночку выступить, хотя бы только с жалобой в гражданском суде...

— Поди-ка! Сунься к ему...

— Он тебе покажеть.

— Дряпт, дряпт (dreapt —право)...— передразнивает кто-то Катриана.— Он тибе дряпнет, погляди!

— Не бывало, что ли?

— За турчина... При черкесе...

— Держись уместе, больше ничего!

Снаружи, у дверей, какой-то топот... Новая кучка людей вваливается в комнату. Говор сначала смолкает, потом раздается еще шумнее, из общего гула выделяется тонкий, надтреснутый, как будто знакомый мне голос:

— Пустите, братцы... Я его поспрошаю сичас.. Ты кто по здешнему месту? А?.. Зачем пожаловал?

Вопрос, очевидно, направлен к Катриану, и среди восстановившейся тишины раздается несколько удивленный ответ:

— Я? Я есть Катриан, социалист. А ты кто?

— А-а?.. Я кто? — передразнивает спрошенный та-

ким тоном, как будто уличает Катриана в преступлении.— Не зна-а-ешь?

И вдруг, переходя на басовые ноты, говорит грозно:

— Я кто? Дыды́кало я. Ялба́р[1]. Вот я кто! Православный христианин... Был купец, теперя писец. Вот кто. За православных постою крепко, с господом, с Николаем чудотворцем... Дыды́кало напишет — рамун зубом н выгрызет.. Вот кто я...

И вдруг, затопав ногами, он закричал громко, визгливо, как тогда на улице, когда гнал всех липован за ненадобностью:

— Можешь ты мне отвечать, сукин сын! Отвечай: кыт есте термин де касацие[2]... Ежели тебе джудикатор де паче[3] сделал рефуз[4],— куда ты пожалишься? А? Не зна-а-аишь, тынер, мукос (мальчишка, молокосос) У трибунал, вот куда! А ежели трибунал рефузует? Иди у куртя де апел. А еще куда? Еще у куртя де касацие... Не зна-аешь?.. А суешься! Туда же — петицу писать! Ты знаешь, за это что бывает... За петицы? А?..

Сбитый с толку, под этим градом бессмысленных вопросов, которыми старый плут засыпал его, не давая времени для ответов, Катриан, по-видимому, растерялся. Некоторое время его не слышно. Перед славским миром состязались как будто два кудесника, спорившие за преобладание в неведомой и таинственной области румынских законов, и старый знахарь, видимо, одолевал молодого. Когда он упомянул, наконец, о возможных грозных последствиях сепаратных петиций, корчма опять зашумела:

— Петицу, петицу!.. Не надобно петицы!.. Не надо, не надо... Поезжай, отколь приехал... Доктор прислал? Доктор лечи!.. Платили, больше ничего!.. Квиты́ у нас .

— Платили, платили. А сколько платили?..— кричит Сидор.

---

[1] Ходатай по делам.

[2] Какой срок для кассации?

[3] Мировой судья.

[4] Отказ.

— Сколько! Как и прошлые годы, столько же и теперь...

— Так ведь слухайте вы, разумные головы: тогда была земля немеряна! А теперь обмерял. Дурак он по-вашему, хоть бы и рамун?.. Ты вот сколько платил, Тимохвей?

— Чаво сколько! Сколько у людей, столько и у мене. Сингур (одинаково). Чаво пытаешь?

— Нет, вре-ешь... У тебя сколько лишку?

— А тебе што... Тебе за мене платить, што ли?..

— То-то нахватали вы, богатеи... Мир за вас пропадай. Войски он пришлеть, рамун, вы рады в мутной воде рыбу ловить...

— Чего брешете?

— Не брешеть он... Правда!

— Ах, бог мой,— выносится еще раз звонкий голос Катриана.— Какой народ. Как вы не понимаете простого дела...

— Ты понимаешь!.. Отколь взялся учить. Молоко не обсохло...

Дыды́кало стучит палкой и кричит визгливым голосом:

— Братцы! Православные! Он в бога не веруеть... Ему, вишь ты, и бог не надобен...

Шум становится сплошным, и мне начинает казаться, что поездка домну Катриана с целью пробуждения правосознания среди моих земляков едва ли окончится успешно. Но в это время на сцену выступает новая действующая сила.

Мне в окно видна тихая площадь, облитая мягким лунным светом. По ней, в направлении к корчме, идет группа из трех человек, и на одном поблескивают галуны. Когда эта группа подходит к крыльцу, в корчму врывается фраза, которая вдруг заглушает крики и шум:

— Примàр...

— Примàр идет... И нотар с ним.

— Третий — епистàт.

Примàр — это сельский староста, нотар — писарь, епистàт — полицейский. В Румынии должность сельского мэра считается выборной, но это только фикция; общество выбирает трех кандидатов, местная администрация прибавляет еще двух, и из составленного таким образом списка высшая администрация назначает одного. Нечего и говорить, что этот счастливец всегда бывает из рекомендуемых администрацией. В Добрудже в то время, особенно в русских селах, примарями были почти исключительно греки. Чуждые и по культуре, и по происхождению местным жителям,— они являлись просто правительственными чиновниками, престиж которых поддерживался властью... Измельчавшая традиция прежних турецких порядков, когда таким же образом Высокая Порта навязывала балканским народностям даже князей из фанариотов.

В корчме водворилась выжидающая тишина. Я поднялся и заглянул через головы в комнату. На пороге стоял пожилой человек в партикулярной серой клетчатой паре, небольшой, весь квадратный, с четырехугольным лицом и торчащими волосами с сильной проседью. Усы и борода у него тоже были серые, и только глаза выделялись ярко и властно из-под черных густых бровей. Лицо сельского владыки было спокойное и твердое. Он смотрел прямо перед собой, как будто считая ниже своего достоинства обращать внимание на отдельные фигуры этой серой толпы. И только на Катриане взгляд авторитетного «начальника» остановился пытливо и внимательно. Нотáр,— молодой румын с закрученными кверху усиками и с претензиями на щегольство, и эпистáт, недавно командированный в «Славу» для порядка,— почтительно и корректно стояли сзади.

Я с любопытством присматривался к энергичному и неглупому лицу грека. Что он думает и какую «политику» проводит среди этого брожения умов? Оно может разрешиться сепаратными жалобами, которые, в сущности, будут означать подчинение новым порядкам и обмеру земли, или... тупым массовым сопротивлением,

вызовом войск, усмирением... Что нужно ему лично? Только порядок, как администратору? Или, наоборот, ему улыбается картина глупого замешательства, за которым последует дешевая распродажа скота и имущества глупых русских дикарей? В лице умного грека нельзя было найти ответа на эти вопросы.

Остановившись на мгновение и сразу изучив положение дела, он сказал твердым и спокойным голосом:

— Че интрунйре аста (что это за собрание)?

Затем, сделав несколько шагов среди расступившихся липован, подошел прямо к Катриану и спросил в упор, по-румынски:

— Кто вы? И по какому праву собираете здесь сборища?..

Сотня внимательных глаз обратилась на Катриана, который стоял у самого прилавка, прямой и спокойный. Лицо его оживилось, в серых глазах переливалась и поблескивала насмешка. Теперь, лицом к лицу с привычным противником из администрации, он, видимо, чувствовал себя в своей тарелке.

— Я — Денис Катриан, социалист... гражданин свободной страны, пользующийся своим правом.

Может быть, это заявление не особенно подействовало бы на примаря... В румынской деревне, особенно в деревне добруджанской, ссылка на гражданские права звучит не особенно сильно. Но примаря немного озадачила насмешливая уверенность, с которой говорил этот странный пришлец. Как будто играя недоумением авторитетного сельского чиновника, Катриан, все улыбаясь глазами, медленно вынул записную книжку, достал оттуда небольшой кусочек белого картона и подал примарю.

— Vedz asta, domnule (посмотрите это, сударь),— сказал он, продолжая насмешливо улыбаться...

В комнате стало так тихо, что можно было слышать шелест осокорей под ночным ветром снаружи. Перед затаившим дыхание славским миром происходило новое действие из той самой таинственной и непонятной обла-

сти, в которой закон и власть сплетаются в магический узел. Еще недавно этот молодой человек, казалось, был побежден старым знахарем Дыды́калом. Теперь старик стушевался, и его хитрые глазки лишь злорадно заглядывали из-за чужих плеч, ожидая последствий... Молодой стоял лицом к лицу с энергичным греком. Белый кусочек картона в руках примаря привлек все взгляды, как талисман. Подействует ли? — думали славцы. Молодой человек все так же весело поблескивал глазами...

Начинает действовать: грек, властный, умный и хитрый, по-видимому, растерялся. Он еще раз прочитал карточку, повернул ее, осмотрел с изнанки и, отдавая обратно, сказал довольно угрюмо:

— Bine (хорошо), домнуле... Вы можете делать свое дело...

И окинул глазами тесно набитую корчму. Теперь он вглядывался в отдельные лица, по-видимому, только затем, чтобы скрыть некоторую неловкость положения и внушить этой руснацкой толпе, что власть его остается по-прежнему твердой, хотя... в виде этого лоскутка белой бумаги сюда, в глухое ущелье, заглянуло что-то новое... Она определила курс нового министерства, обязательный хотя бы на некоторое время.

Примар повернулся и вышел. За ним последовали щеголеватый нота́р и молчаливый полицейский.

В корчме пронесся общий вздох, и я почувствовал сразу, что дело Катриана теперь окончательно выиграно. Его аргументы значили мало, но факт решал дело. Сила молодого горожанина в недоступном и таинственном мире закона и власти была доказана. Толпа сразу перекрасилась настроением Сидора и его сторонников.

— Что, узял? — заговорил наивно-весело какой-то молодой голос.— Отскочил сразу...

— Найшлось и на них слово...

— Молодой, молодой,— а гляди ты на его... А?

— Доктор знает, кого послать, зря не пришлеть ..

— Ну, чего тут,— сказал, выступая вперед, Сидор. Лицо его было спокойно и даже вихры не торчали так

сердито, как в начале беседы.— Давайте кончать,— прибавил он деловито.— Поздно. Пиши петицу, домнуле... Кто хочет подписывать?

В толпе слегка замялись. Кому-нибудь нужно было подписать первому, а это все-таки требовало решимости.

— Я подпишу,— выступил, расталкивая мужиков, рослый человек в полугородском костюме.

— Герасим подписует,— заговорили в толпе.

— Откуль взялся? Не было его?

— С Ду́наю вернулся. Сиводни...

— Да он землю-то разве орал?

— Орал... жуматати ектар (полгектара), — сказал насмешливо какой-то старик, очевидно, из противной партии и, наклоняясь к соседу, сказал хорошо слышным полушепотом: — Что ему? Такой же отчаянный... Молоко в пост в городу хлебает... Сам видал...

— Что говорить. Остатние времена пришли,— сказал тот, и оба повернулись к выходу.

Катриан потребовал у корчмаря перо и чернил и на маленьком столике открыл походную канцелярию. Два или три экземпляра «петиции» были у него заготовлены. Герасим, завернув рукав и наклонив большую кудрявую голову, вывел свою подпись.

— И мене пиши,— выступил из толпы другой, тоже в пиджаке и с слегка подстриженной бородой.

— И менс, когда так...

— И мене...

— И мене пишите!

Тот, кто вошел бы сюда в эту минуту, мог бы подумать, что здесь спокойно и просто делается обычное дело От прилавка, держа в руке стакан с вином, смотрел на Катриана Лука своими глубокими черными глазами, не выдававшими ворочавшихся в его голове мыслей. Мне казалось, впрочем, что он доволен успехом приятеля.

— Basta! — сказал Катриан, захлопывая в бумажнике две или три подписанные петиции.

Когда Лука подал лошадей, луна светила уже с самого зенита. По площади расходились липоване, тихо разговаривали и скрывались в тени домов. Под осокорями было пусто: телеги разъехались и теперь, вероятно, поскрипывали плохо смазанными колесами по темным лесным дорогам, в ущельях «балкана».

Уехал и плакавший мальчик. Я представлял себе, что его тятька, вероятно, храпит на возу, а он держит вожжи и всматривается в темноту круглыми, робкими, внимательными глазами.

Когда мы опять выехали за околицу, направляясь по дороге в монастырь, на сельской колокольне ударило полночь. Задумчивый, медлительный звон разносился над долиной, заглядывал в сонные ущелья, умирал, оживал вновь и бродил над лесом, и искал чего-то, и о чем-то спрашивал, закрадываясь в глубокие тайники уставшей души.

И от всего окружающего веяло опять печальным юмором и насмешливой грустью нашей родины...

Через час мы стучали в запертые ворота старообрядческого монастыря, погруженного в глубокий сон за крепкими каменными стенами... Эхо отдавалось в темном лесу, и мне казалось, что какие-то чары перенесли нас в седую глубину прошедших времен.

Катриан, наклонившись ко мне, говорил своим наивно удивленным голосом:

— Ах, господин Володя. Для чево народ такой глупый?.. Таскал гора на ровном месте. Строил монастыря, чтобы другие жили без труда. Ах, боже мой... Для чего это?..

Когда, года через два, я опять приехал в Добруджу, Катриан все еще продолжал стучаться у дверей деревенского правосознания и читал изредка свои конференции для ремесленников города Тульчи.

Луки не было на свете. Погиб он бессмысленно, глупо, стихийно, из-за той самой девушки, которую ударил кнутом.

Но это уже другая история, о которой когда-нибудь после.

1909

Нирвана

ИЗ ПОЕЗДКИ НА ПЕПЕЛИЩА ДУНАЙСКОЙ СЕЧИ

Отрывок

...В 6 часов утра стук тележки под окном рассеял легкие признаки чуткой дремоты, которая лишь под утро начала спускаться на меня вместе с холодком, веявшим из раскрытых окон.

Я быстро оделся и вышел.

Домну Яни Фардуле, грек из Кытерлеза, уже сидел в тележке, запряженной в одну лошадь Сулинская улица около гостиницы «Beula vista» была еще почти пуста, только около угольных складов, как муравьи, копошились грузчики. На Дунае начиналось движение. Гремела якорная цепь, пыхтели машины, и посвежевший за ночь воздух начинал опять впитывать в себя бурую копоть и дым ..

Густой сад около дома «европейской компании» был переполнен в чащах голубыми тенями, а на солнце сверкал росой. «Русская магала́» (предместье) уже проснулась. Мужчины отправились на работу, женщины переходили через улицы с деловым видом занятых хозяек. Какой-то рослый белокурый субъект с кувшином в руке звонко выкрикивал:

— Lapte, lapte!

— Молока не угодно ли? — обратился он ко мне по-русски, сразу узнав земляка. — Куда это с греками отправляетесь? У Кытерлез?

Промчались к Дунаю два водовоза с пустыми бочками. Одну везла тощая ленивая лошадь; другую — маленький резвый ослик. Лошадь ковыляла, точно ноги у нее были деревянные. Ослик, наоборот, бежал резво и при ударах кнута лягался так высоко, что задние копыта мелькали в воздухе, а водовоз, здоровый веселый детина, откидывался на бочку. На эту картину с крыльца «кырчмы» смотрел тусклыми глазами только что опохмелившийся соотечественник. Бочки пронеслись, и на улице опять повеяло скукой начинающихся будней.

Мы выехали из магалы и поехали между пятнами воды, выступавшими из зеленой плавни. Затем, повернув на юг, стали приближаться к морскому берегу. На песчаном холмике около каких-то сараев нас ждал румынский солдат в рогатой шапке и «вамиш» (таможенный чиновник). С видом людей, сознающих всю бесполезность своего существования на этой песчаной косе, они все-таки подошли к тележке и стали совать руки сначала в сено, а потом и в узелки домну Фардуле. Сулин, как известно, porto franco, и румынская таможня следит, чтобы окрестности не присваивали себе его привилегий... По окончании этой операции тележка наша покатилась по самому обрезу морского берега, причем правое колесо шуршало по крепкому песку, а левое плескалось в воде.

Дорога была очень оригинальна. Передо мной далеко на юг лежала прямая, точно по линейке, полоса морского берега. Море сверкало точно растопленное серебро, начинавшее расплавлять у горизонта даже тяжелую синеву неба. Вблизи оно плескалось, тихо и ласково, в берег. Волна набегала, заворачивалась пенистой верхушкой и с мелодическим глуховатым плеском валилась прямо на песок, озадачивая нашу молодую и, видимо, непривычную лошадку. Очутившись внезапно в воде, она останавливается, мотает головой и пытается оглянуться на хозяина. Но в это время песок жадно всосал волну, и лошадь опять чувствует себя на суше. Она порывисто пускается дальше, но у самых колес опять шлепается другая волна, за ней третья... Вблизи и вдали, на узкой полосе берега, движение, блеск, пена и мелодические всплески, точно мерное дыхание моря.

Я оглядываюсь. Сулин исчезает за зеленою плавней, которая подступает совсем близко к берегу Виднеется

еще пестрая полоска крыш, потом только башня обсерватории, ведущая таинственные переговоры с морем посредством флагов... Потом лишь верхушка маяка и несколько дымков на море указывают еще место Сулинского порта...

Исчезают и они. Перед нами пустынное море, бесконечная зеленая плавня и сжатая между ними полоска берегового песка...

Тихо, молчаливо, пустынно. В синем небе зарождаются очертания белых кучевых облаков. Над плавней парит орел. Большая чапура (цапля) перелетает с места на место, то и дело вспугиваемая нашей тележкой. Глупая птица не может догадаться, какая нам надобность гнаться за нею по узкому берегу... Наконец она отлетает в камыши и оттуда следит за нами. Ее глупая голова на длинной шее напоминает ручку плохо изогнутой трости. Белые чайки кокетливо и грациозно играют с волной, как будто стараясь подрезать ее серповидными тонкими крыльями. Тяжело и солидно пролетает аист. Неуклюжие «бабы» (пеликаны) проносятся с моря, изогнув шеи и выставив вперед толстые зобы, наполненные мелкой рыбешкой. Семейственная птица несет детям в плавню ранний завтрак, и ей некогда заботиться о легкости и грации полета.

— Гляр лети... чепура лети,— говорит на своеобразном греко-румыно-болгарском диалекте домну Фардуле, провожая праздным взглядом то аиста, то цаплю...

— Porco din mare...*— кивает он головой, указывая на берег. Там лежит и стихийно разлагается дельфин с жирным круглым туловищем и вспоротой грудью. Дальше нам попадались еще такие же безвестно погибшие мертвые тела... Какие-нибудь неведомые драмы в морской глубине... Быть может, нападение разбойничьей стаи пилы-рыбы на мирного морского обывателя или просто бесславная смерть на широкой прибрежной мели, куда занесло волнение... Мало ли таких драм на белом свете!

Мало ли видели их и эти пустынные берега и вся эта тихая страна с ее плавней, солнцем и мелодией морского прибоя!..

---

* Морская свинья, дельфин *(рум.)*.

Все то же море, все та же синяя полоса воды, все те же вечно повторяющиеся и вечно изменчивые формы облаков, тот же ветер, те же колыхающиеся над ним камыши плавни...— И тысячи лет пролетают над ними, и тысячи лет все так же поют и плещут волны...

О чем?..

Ни паруса на море, ни крыши на земле, ни человека, ни лошади, ни собаки... Так и кажется, что вот-вот над близким, тяжелым обрезом морского горизонта покажется внезапно легендарный корабль аргонавтов, или скиталец Одиссей на разбитом ночной бурей плоту, или, наконец, изгнанник цезарского Рима Овидий, быть может оставлявший след своих сандалий на песке этих печальных берегов своего изгнания...

Ad piceres nudos sine fronde, sine arbore campos...
Heu, loca, felici non adeunda viro...[1]

Мы едем уже часа два. Домну Яни молчит. Может быть, и ему напевают что-нибудь эти рокочущие волны.

— Плавня кончил,— произносит он наконец.— Кулиба видно.

Действительно, плавня, все время прижимавшая нас к самому морю, сначала отступила от берега, потом исчезла назади, а к берегу подошли песчаные дюны. Из-за них в овражке выглядывала остроконечная камышовая верхушка рыбацкой кулибы. Перед ней виднелся навес с развешенными рыбачьими снастями. Не доезжая до нее, мы свернули под прямым углом от моря и поехали унылою степью.

Несмотря даже на обилие дождей в низовьях Дуная,— травы здесь плохи: осока, острец, кое-где суетливо и тревожно мечется под степным ветром метлица, дикий лук торчит стрелками,— все это отдельными кустами и полосами, как будто даже травы чувствуют здесь потребность в родственной солидарности и робко жмутся друг к другу. В каждой низинке все еще буйно держится

[1] Как известно, поэт Овидий Назон умер в ссылке на берегу Черного моря (вероятно, близ Констанцы). Описывая равнину нагую, без деревца, без зелени, он восклицает: «Места, к которым не подходите и близко, счастливцы!»

остаток плавни, зеленый камыш, а впереди проглядывает сухой песок и солончаки.

В стороне ненадолго появляется темная крыша; высокие ворота рисуются в небе, как виселица. Это «кышла», помещение для стад и пастухов, где люди живут, вероятно, жизнию, довольно точно описанной еще Гомером. Вскоре и эти признаки человеческого жилья исчезают. Только ветер шатает жидкие травы, беспомощно пригибающиеся к земле. Вот пятнами белеют овцы, и обугленный солнцем чабан, с кнутом на плече, провожает нас своим неподвижным взглядом...

И от всего этого — от солончаков, от травы, от чабана с его стадом — опять веет в душу особое ощущение. Я спрашиваю себя,— что это такое? Тихое прозябание, бессознательная жизнь, накопляющаяся годами, десятками лет, веками,— веющая стихийной гармонией и в шелесте этой травы, и в клекоте орла, и в отчаянном крике испуганной, быть может, погибающей степной птицы, и в незаметном созревании зерна, и в темных глазах загорелого чабана румына.

О чем он думает, провожая взглядом нашу тележку, ныряющую по степным ухабам?.. И думает ли о чем-нибудь? Солнце над ним всходит, солнце над ним заходит, взмывают и ширятся тучи, льются дожди, садятся росы... Чабан мокнет вместе с травой и своим стадом и вместе с травой и стадом высыхает на жгучем солнце. И тот же опять ветер обвеет его загорелую грудь и та же опять непогода пронесется над головой... Пасутся и жуют сухую траву овцы, потом вяло ищут воды и тени,— и чабан плетется за ними... Так он растет, мужает, становится рослым, обгорелым на солнце, сильным. И тогда в нем происходят какие-то стихийные перемены, что-то встает в душе, зовущее, яркое, бесформенное, дразнящее. Иначе звенит птица, иначе шелестит трава и о чем-то новом шумит в уши ветер. И по-новому его «кымпойул» отзывается на голоса природы. На просторе придунайских степей и на пастбищах горных Карпат он создает мелодические «дойны», на которые задрожит ответными звуками всякое человеческое сердце. В его песне веет степной ветер, и шелестит трава, и шумят верхушки деревьев, и кроме того плачет, и нежится, и тоскует душа человека...

Он ли, впрочем, создавал эту песню? Она вырастала веками в поколениях этой черноземной силы человечества, сменявших друг друга, как сменяются травы в степях. Он не знает истории этой страны, но все нашествия, напоившие землю кровью его предков, и греческое, и римское, и турецкое владычества, и притеснения своих «бояр»,— все это отложилось в его думах так же тихо, незаметно и неуклонно, как откладываются соки родной земли, и родное солнце, и степной ветер в зерне травы или в цветке. Что он заимствовал из песен своих предшественников, звучавших, как стоны ветра, и что взял у степного ветра, звучавшего, как смутная песня,— он не скажет и сам. Банды цыган подхватят дойну и разнесут ее по свету. А степной поэт и не знает своего успеха. Он по-прежнему смотрит на божий мир своими не то тупыми, не то бесконечно глубокими глазами и по-прежнему смутно ищет исхода тому, что дрожит в глубине сердца в ответ на призывные голоса природы. Порой он находит то, чего искал, в черных глазах такой же полудикой девушки, иногда стареет бесприютно и одиноко, как пень над степною балкой... Но, пока наступит старость и присыплет снегом его жесткие черные волосы,— он становится порой опасен для женщин, проходящих по степи мимо его стада...

И это человеческая жизнь!.. И сколько их, таких жизней, расцвели, распустились и увяли, сменяя друг друга, как ковыль, зрея и увядая по очереди, без сознательной борьбы, без стремлений, не зная ни сомнений, да, пожалуй, не зная и веры...

Есть что-то особенное в этой степи, и в этом солнце, и в ровном дыхании степного ветра, и в загадочном, как горное озеро, взгляде румынского пастуха... Что-то усыпляющее и влекущее, какое-то волшебство степной нирваны, всего этого бездумного хора первичной жизни... Какая-то летаргия человеческого духа, наполненная смутными поэтическими грезами, проходящими в виде обрывков в каждой отдельной человеческой душе и только на расстоянии столетия кристаллизующимися в цельную мысль или цельный образ... в вереницу образов и в одну каплю мысли...

Протяжный гул телеграфной проволоки. Да! Вот ряд столбов с протянутой на них проволокой пробежал

степью, погрузился и потонул в зеленой плавне. Это линия от Констанцы на Бухарест и далее в Европу. В Констанце происходят какие-то торжества по поводу постройки или открытия замечательного моста через Дунай... Говорят речи. Какой-нибудь министр непременно говорит и об этой степи, и о том, что она вскоре будет приобщена к благам румынской свободной конституции. Это лучшее патетическое завершение для политических речей румынских государственных ораторов вот уже несколько десятилетий .. И еще вчера по пути в Сулин я читал на пароходе отголоски этих речей и слушал горячие споры по этому поводу. И меня это волновало, и часть моих нервов сгорела над чуждым газетным листом по поводу чуждых мне румынских политических вопросов.

Теперь в этом прозябающем степном просторе все это казалось мне таким далеким, как быстро улетающий из памяти сон... Что за дело до всего этого степной траве, этому стаду и чабану с кнутом за плечами?.. Либералы, консерваторы... политическая борьба... все это бледнело, отодвигалось и исчезало, как след дыхания на стекле, как на воде круг от брошенного камня, как звуки приснившегося когда-то шумного оркестра. Каким чудаком казался мне старик Овидий, с его порываниями к столице мира и с его жалобами:

Heu, loca, felici non adeunda viro!

Какие пустяки! Vanitas vanitatum! * Что хорошего виделось ему в этом Риме, с его суетными стремлениями к мировому господству, с его жалкими полубогами и кесарями, с изнервничавшейся, высокомерной и раболепной чернью, с безнаказанной тиранией Тибериев или бесплодным самоотвержением Гракхов... Не счастливее ли этот блаженный сон полусознания, эта спокойная летаргия человеческого духа, в слиянии с природой, живой, но не мыслящей, чувствующей, но не страдающей болями сознания... Слиянии, накопляющем черноземные силы человечества... Не здесь ли истинное блаженство, завершение всякой философии! Степная нирвана, сладкое усыпление, во время которого снится только синее небо, только белые облака, только колыхание травы, только

---

* Суета сует! *(лат.)*

клекот орла, только веяние ветра, только смена дней и ночей, только зной и грозы, только дыхание вечно могучей, вечно живой и всесильной, никогда не размышляющей природы...

Стук тележки на солончаковом ухабе. Я гляжу вокруг теми же глазами, но они видят все иначе. Я действительно спал. «Кышла», и чабан, и его стадо давно исчезли. Исчезло и обаяние степной нирваны... Перед глазами песчаные бугры, над которыми рисуется синяя полоса воды, ряд чистеньких малороссийских хаток, деревянная церковь... Все ближе и ближе... Перед селом — старое сельское кладбище. Восточный ветер наметает на него песок — белый и тонкий, сыпучий и легкий, вьющийся как дым с приморских дюн... Моряна точно хоронит вторично давно схороненных покойников.

Кытерлез!..— Одно из первых поселений запорожцев на Дунае...

1913

Пленные

С натуры

Война застала меня на юге Франции, в небольшой деревне под Тулузой.

Как известно, начало войны было для Франции очень несчастливо. Прорвавшись через Бельгию и раздавив несчастную страну, германская армия хлынула с севера и подвигалась к Парижу, как грозная лава, среди насилий и пожаров...

Это было время, полное тяжелой тоски для всех французов, но у Юга было еще свое особенное горе. В большой битве один полк подвергся неведомо откуда налетевшей панике и, как всегда в таких случаях, понес жестокие потери. Полк состоял из уроженцев Юга, экспансивных в героизме и панике; в нем было много тулузян. В городе и в пригородах замелькали траурные платья, появились заплаканные женские лица, в храмах после мессы то и дело виднелись черные женские фигуры, печально склоненные у алтарей... Порой их потрясали судорожные рыдания.

При таких обстоятельствах стали прибывать первые партии раненых. Сначала своих, потом немцев... Густая толпа в мрачном молчании смотрела, как с санитарного поезда на вокзале Matabiau сходили «боши»... Иных санитары сносили на носилках. Порой виднелась кровь, проступавшая через повязки, порой слышался легкий сдерживаемый стон.

Толпа молчала угрюмо и враждебно. Гнев сдерживался видом страданий.

Но гнев все-таки жил во всех сердцах. У многих были личные потери, все переживали страх. А страх, как известно, плохой советник. За страхом обыкновенно идет жестокость и месть. И вот, по мере того как с севера на юг потянулись вереницами поезда с пленными, тулузская администрация стала обнаруживать беспокойство.

Первый такой поезд пришел как-то незаметно. Около вокзала Matabiau выставили усиленный отряд войска, и солдаты вежливо, но твердо отстраняли публику, горизонтально загораживая проходы ружьями...

Из толпы неслись гневные крики. Кое-где полетели какие-то комья. Но первую партию все же удалось провести без вспышек.

Предстояло прибытие второй. В городе появились афиши от префекта и городского мэра, популярного социал-демократа, в которых сквозь увещания и предупреждения звучала тревога.

Я шел по улице нашей Лярден, когда в узкой перспективе деревенского переулка, меж двух стен виноградников, увидел толпу. Мужчин в ней не было. Были только женщины...

Женщины здесь особого, «тулузского типа», отмечаемого этнографами. Черные блестящие глаза, носы с горбинкой, смуглые лица с густым румянцем, правильный овал лица и часто черные усики над пунцовыми губами. Они рано полнеют и рано стареют, порой все-таки сохраняя следы красоты и сверкающие страстью глаза... Говорят они быстро, очень певуче и выразительно.

— Ah, monsieur le russe *,— выступила ко мне знакомая молодая лярженка. Лицо ее побледнело, насколько позволяли смуглота и хронический румянец, а глаза горели.— Вы слышали: завтра привезут этих монстров, дьяволов, этих проклятых... Вы пойдете?

— Не знаю, а вы собираетесь?

— Мы все собираемся... Вот мэр печатает афиши... Призывает к спокойствию...

Женские голоса возбужденно зашумели...

---

* Ах, господин русский (*франц.*).

— Спокойствие!.. Какое тут спокойствие!.. Разбойники, убийцы, грабители...

— Да, с ними слишком церемонятся... Возят в вагонах, собираются лечить. Я — так вот что с ними сделала бы... Вот что!.. вот что!..

И она с силой стала тереть кулак о кулак, как будто размалывая между ними воображаемого «боша». И ее глаза горели ненавистью...

На следующий день огромная толпа стояла у вокзала Matabiau. Солдаты были серьезны и угрюмы. Их чувства к немцам были близки к чувствам толпы, но было видно, что среди этого подвижного, колеблющегося и волнующегося человеческого моря эти люди в голубовато-серых шинелях и красных штанах выделяются на свой особый лад. Армия во Франции очень дисциплинированна. Солдаты знали, *зачем* их сюда привели... Это удерживало в них личное, сковывало их всех какой-то однородной невидимою цепью. Они сознавали и чувствовали эту связь. И толпа тоже чувствовала. Она любила своих солдатиков. И они любили ее тоже... Но и солдаты и толпа боялись, как бы между ними «чего не вышло»... Чувства одни—действия будут разные. Надвигалось что-то третье, неведомое, чуждое, что, однако, может стать сильнее взаимной симпатии солдат и родной толпы.

И это что-то уже надвигалось... Сначала дальним свистком, который крикнул издалека и заглушенно. Как будто: берегитесь! Потом ближе... Тяжелый гул подкатывающегося поезда за стеной... Короткий свисток прямо за вокзалом, резкий, отчетливый, угрожающий... Лица толпы застывают, глаза останавливаются, шеи тянутся вперед... Голубые шинели подтягиваются как на пружинах, и между ними точно пролетает невидимая электрическая искра, охватившая их одним объединяющим током, напряженно чутким в отношении к толпе...

Долгие минуты тяжелого молчания. Потом в стене скромного вокзала широко раскрывается стеклянная дверь, где-то в глубине слышна короткая команда; торопливо оглядываясь по сторонам, выбегает офицер, другой, два-три городских сержанта... Все они окидывают быстрыми взглядами большую площадь, запруженную народом, и становятся по сторонам. И во взглядах можно уловить тревогу.

Вот... они!.. В четырехугольнике дверей показываются ненавистные «боши»... Они идут в ряд по четыре человека довольно густой колонной. Рослые, грузные, грубоватые и теперь как-то по-особенному неприятные фигуры. Традиционных касок с острыми медными верхами на них нет. Нет и фуражек. Почему-то в дороге с пленных снимают головные уборы. Круглые, остриженные немецкие головы обнажены. Выражение лиц угрюмое: с таким видом, вероятно, когда-то в древности проходили под ярмом пленные легионы...

В толпе проносится глубокий, тяжелый вздох, минута была полна электрического напряжения... Заряд накопился уже весь и готов был разрядиться... Точно оттуда, из-за невысокого здания вокзала, переползала тяжелая грозовая туча, готовая соединить все в неудержимой, все заливающей вспышке.

Солдаты вытянулись и замерли, как окаменевшие статуи... Толпа напирала, как вздымающийся прибой.

Пройдя по каменной площадке, первый ряд пленных подошел к невысокому спуску. Мгновение — и несколько тяжелых немецких сапог застучали по каменным ступеням. Вся колонна, точно одно живое существо, перегнулась и потянулась вниз. Вот первые ряды уже на мостовой, меж двух живых стен, откуда из-за цепи солдат впились в них тысячи враждебных, горящих ненавистью взглядов.

И вдруг что-то дрогнуло... Вот оно... начинается... «Ça commence»,— с захваченным дыханием прошептал кто-то около меня. Солдаты резко задвигались и, все еще ничем не нарушая своей железной цепи с горизонтально протянутыми ружьями, откинулись плечами назад, в какой-то готовности.

Было что-то автоматическое и сильное в этом однородном нервном движении...

— Что это там?.. Что такое?.. Что? Что? Что?

— Это женщина... Une femme, une femme...

— И двое детей...

— А!..

И все как будто забыли на это мгновение собственные страсти, собственную ненависть, собственный гнев... Колонна немцев и — женщина с детьми... Voyons! По-

смотрим, что этим проклятым чудовищам скажет женщина... Французская женщина с двумя сиротами на руках...

Французы прежде всего любопытны. А зрелище должно было стать захватывающим.

Женщина внезапным стремительным порывом прервала цепь. Истая южанка, рослая и крепкая матрона тулузского типа, с римским носом и густыми бровями над парой горящих глаз, она бежала среди растерявшихся караульных, готовая еще работать оттопыренным локтем, волоча за собой двух детей, из которых одна, девочка, свешивалась в неудобной позе у нее на руке, а другой, мальчик, тащился за другой ее рукой... Казалось, женщина забыла, что это ее родные дети, что им неудобно, что они испуганы до смерти, что их могут, если подымется свалка, изувечить... Она видела только впереди себя этих «бошей», собственно даже только одного. Это был огромный ландверман, широкоплечий, немолодой, сильный и несколько неуклюжий, как все они. Взгляд его был мрачен или печален, но спокоен. Он смотрел на приближающуюся красивую фурию, за которой уже неловко и растерянно бежали вприпрыжку два голубых солдатика. «Женщина, что поделаешь с женщиной!..» — казалось, говорили их сконфуженные фигуры...

Женщина подбегала наискось и чуть-чуть навстречу колонне, и уже было ясно видно, к которому именно пленному она подбежит. Высокий ландверман обменялся с нею взглядом, увидел детей и как будто дрогнул.

Это было мгновение, какие имеют такую огромную власть над французами. Вспыхивала драма, и толпа, за минуту полная собственного возбуждения, стала вдруг толпой зрителей... Что будет? Женщина бежит к немцам... Что она сделает, что скажет им, каково будет действие эффекта, такого неожиданного, непосредственного, стихийного?

Женщина подлетела к колонне и, глядя горящими глазами на ландвермана, с силой кинула мальчика к нему. Мальчик ударился в ноги немца и жалко запищал. Казалось, она так же швырнет и девочку, но в последнее мгновение в ней проснулся материнский инстинкт,

и она только тыкала девочку немцу протянутыми руками.

— Tiens! — кричала она исступленным голосом.— Убил отца,— возьми и детей... Бери же, проклятый, бери, бери!..

Казалось, она не видит никого больше на свете, кроме этого рослого немецкого солдата. И она лезла к нему с той слепой страстью, с какой покинутая любовница кидается на изменника.

— Бери, бери. Не надо мне... Убил отца... Возьми себе детей...

Немца сразу как будто шатнуло назад. Он остановился, и остановилась сразу вся колонна. Площадь замерла в ожидании...

— Tiens, il veut parler... хочет говорить... хочет говорить...— пронеслось в толпе.

— Mais, que diable,— как же он будет говорить, черт возьми?.. На своем проклятом языке?.. Oh... Oh... Тише, тише, слушайте...

Немец действительно хотел что-то сказать. Он, конечно, не знал языка этой женщины, и она не знала его языка. Но он ее понял и нашел язык для ответа. Он поднял свою обнаженную голову к небу, потом повернулся назад... Казалось, он глядел туда, откуда привез его поезд... В то прошлое, что осталось назади, там, где еще недавно, быть может, он ходил за своим плугом. Потом он посмотрел кругом, как будто хотел говорить не одной этой женщине, но всем женщинам, всем вообще людям на этой враждебной площади, и поднял кверху руку... На ней были растопырены пять пальцев.

— Cinq...— невольно сосчитал кто-то в толпе.

— Да, пять...

— Нет, шесть,— поправил другой...— Смотрите, смотрите...

Теперь у немца были приподняты на обеих руках шесть пальцев. Он подержал их так несколько секунд, чтобы все, вся многолюдная площадь могла сосчитать их, и потом широким выразительным жестом как бы отбросил их назад, туда, куда только что оглядывался...

Все поняли: там, на далекой родине, отделенной от него теперь полосой вражды и пламени, у него их осталось шестеро...

Стало так тихо, как будто не было на площади никого и ничего больше, кроме этих двух человек — мужчины и женщины, отца и матери, и их детей: тех, что здесь, и тех, что там, далеко... И было еще огромное несчастье, налетевшее на людей без их желания и ведома...

Немец махнул еще раз рукой и, опустив голову, двинулся вперед, и с ним двинулась вся колонна. Теперь они шли как будто легче. В солдатах исчезла электрическая напряженность ожидания, в толпе исчезла напряженность вражды.

Отчетливо слышался ровный тяжелый топот подбитых гвоздями немецких сапог...

В тот же день я приехал на одном из трамов в нашу Лярден. Приближался тихий и ясный вечер. Вдали — белые, спокойные, видные лишь в исключительно ясные дни,— проступали на горизонте призрачные громады Пиренеев. Казалось, кто-то далекий, светлый и радостный заглядывает из другого мира в нашу смятенную страну... У входа в наш переулок, как раз на перекрестке, опять чернела кучка женщин. Несколько из них, очевидно, приехали еще с предыдущим трамом и остались, задержанные не бывшими в городе. Моя вчерашняя знакомая была тут же. Увидев меня, она опять выступила на несколько шагов...

— Bonjour, monsieur...* Помните, мы вчера говорили...

— Да, помню, конечно. Вы были на Matabiau?

— Была... И вот эти мои приятельницы тоже были... Нас было много...

— Ну, и что же? — спросил я, внимательно вглядываясь в выразительное лицо.

Черты ее судорожно передернулись...

---

* Здравствуйте, сударь (*франц.*).

— О, monsieur,— сказала она с выражением почти детской беспомощности...— Он... он говорит, что у него там осталось шестеро детей... И... и его жена не знает теперь, есть ли у них отец...

Это был уже распространенный перевод выразительного жеста пленного... Лицо ее морщилось в гримасу, и теперь мне стало ясно видно, что эта француженка такая же мужичка, как наши деревенские бабы. Вдруг она широко взмахнула руками, точно раненная в сердце приливом бурного сожаления к себе и к ним... Ко всем этим отцам, убитым или в плену, к матерям, оставшимся с сиротами на руках... И из ее груди хлынули рыдания.

— Ah, quel malheur, monsieur, quel malheur!.. Какое несчастие, какое страшное несчастие!.. И подумать только, что во всем виноват этот ужасный человек, этот Вильгельм!.. Ведь они так же пошли по его приказу за свою родину, как мы за свою... Разве они знали?

— О, да! Это все он, все Гильом...— подхватили с одушевлением другие...— Приговор был произнесен: эти французские мужички из Лярден оправдали немецкого мужика из Баварии или Гессена...

Вильгельм для них был той определяющей высшей силой трагедии, которую древние называли роком, а такие же простодушные немки, быть может, называют теперь именем какого-нибудь английского министра.

От порога противоположного дома смотрела на нас молодая лавочница. Ее известили на днях, что муж ее пропал без вести где-то еще в Бельгии. Хорошо, если он теперь в плену... А на углу, в дверях бывшей булочной, теперь опустевшей, стояла молодая блондинка с грудным ребенком на руках. О, она была бы так счастлива, если бы у нее оставалась хоть маленькая надежда, что ее муж в плену... Но он умер там, на фронте, в полевом лазарете, а ей прислал с выздоравливающим товарищем медальон с портретом и крестик... А моя экспансивная знакомая думала, наверное, о своем Жане, с которым она повенчалась так недавно и который теперь в самом аду... И тоже хорошо, если попадет только в лазарет...

Всем было о ком подумать. И моя мысль тревожно бежала за моря на далекую родину. И там тоже горе... и туда в тихие деревни и города приходят страшные вести, и много простодушных детей моей родины, о которых с такой нежностью думается всегда на чужой стороне, несут теперь тяжкий плен среди суровых врагов... Ах, если бы и над ними, над этими врагами, думалось мне, если бы над всеми людьми, охваченными взаимной враждой, пронеслось веяние этой трагической правды...

1916

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

БЕЗ ЯЗЫКА

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1895, №№ 1, 2, 3 и 4, с подзаголовком «Рассказ из заграничных очерков»; первым отдельным изданием — в 1902 году (в новой редакции).

В рассказе использованы непосредственные впечатления и наблюдения Короленко, полученные за время поездки в 1893 году на Всемирную выставку в Чикаго в качестве корреспондента журнала «Русское богатство».

Поездка в Северо-Американские Соединенные Штаты (как тогда называли США) не была случайностью в идейной и творческой биографии Короленко. Незадолго до своего заграничного путешествия писатель закончил художественно-публицистический цикл «В голодный год» — книгу о бедственном положении русской деревни, о трагическом «разрушении» крестьянства, разрушении, которое было следствием безнадежной отсталости русского общественно-политического строя и в то же время выражалось в росте буржуазных отношений в деревне. США олицетворяли тогда новый строй — капиталистический — в пору его расцвета. Писателя поэтому интересует не Америка сама по себе, а, так сказать, моральная и психологическая «пригодность» для русского крестьянина того общественного строя, который определил бытие Америки и властно вторгался в русскую жизнь.

По-видимому, еще до поездки у Короленко сложился художественный замысел — изобразить судьбы русских людей, искавших счастья на чужбине. «Еду я в Америку более с беллетристическими, чем с корреспондентскими целями, хотя дал уже обещание написать в «Русское богатство» о Чикаго и о выставке,— писал Короленко 16 июня 1893 года П. С. Ивановской. — Это, конечно, будет «общий взгляд». В Чикаго я буду недолго, — мне очень хочется посетить русские колонии в Америке».

Американские впечатления ложились на подготовленную почву. Так, еще в годы ссылки Короленко встречался с бывшими русскими эмигрантами в Америку — среди них были участники народнического движения Я. О. Девятников и И. Л. Линев. О Девятникове, как одном из прототипов главного героя рассказа Матвея Лозинского, Короленко писал в «Истории моего современника»: «Это был дюжий на вид, коренастый и, по-видимому, сильный белорус, успевший побывать в Америке в исканиях правды и лучшей жизни. На первый взгляд он походил на медведя, и, когда я описывал в своем рассказе «Без языка» лозищанина Матвея и его борьбу с вызвавшим его на бокс американцем,— передо мной отчасти рисовалась фигура Девятникова, с которым был именно такой случай»

Рассказ был начат 9/21 августа 1893 года в Чикаго. Под этой датой находим запись в дневнике Короленко. «..начал рассказ (со слов Егора Лазарева) о латыше в Америке» (В. Г. Короленко. Дневник, т. II, ГИЗ Украины, 1926, стр. 82). Об этом «латыше», выходце из России, сохранилось свидетельство самого Е. Е. Лазарева: «Эмигрировал с сестрой, ехал к устроившемуся уже знакомому в Миннесоту. Сестру потерял, адреса не знает, доехал из Нью-Йорка на последние деньги до Милуоки. Жил на станции здесь три дня, его стали спрашивать, он не понимает, плачет, целует руки, колени, что-то говорит на неизвестном всему живущему в Америке люду языке. Его приняли за сумасшедшего, который кусает за колени.. Славный мужик такой. Силища чудовищная — богатырь богатырем» («Литературная Россия», 1964, № 38, стр. 17).

По-видимому, на первых порах работа шла довольно быстро, о чем Короленко писал жене, Е. С. Короленко, 15/27 августа 1893 года: «..я до половины написал небольшой рассказец о похождениях поляка в Америке..» Однако по мере того как замысел усложнялся, работа над произведением замедлилась, многократно прерывалась и была завершена лишь в начале

1895 года (письмо к А. И. Иванчину-Писареву от 3 марта 1895 года).

Для первого отдельного издания Короленко подверг рассказ коренной переработке, учитывая, в частности, и те критические суждения, которые были высказаны в рецензиях на журнальную публикацию рассказа,— об известной недосказанности, «торопливости», художественной неровности произведения. «В первой редакции мы имели несколько обрубленный остов рассказа о происшествии анекдотического характера, в стиле сказки-складки, прелестно изложенной мастерским рассказчиком, с чудесными описаниями моря, с юмористическим изображением некоторых внешних особенностей американской цивилизации, с проникновенным воссозданием наивной души «простака-лозищанина»...»— писал один из критиков, сравнивая две редакции рассказа («Мир божий», 1903, № 2, библиографический отдел, стр. 97). Во второй редакции появляется чрезвычайно значимый идейно и художественно образ Нилова (прототипом его был И. Л. Линев), более полно разработан образ крестьянской девушки Анны и т. д.

Интересно, что Короленко считал рассказ «Без языка» наиболее подходящим — из всех своих произведений — «для кинематографической аранжировки» (письмо к Р. А. Перскому от 7 июля 1915 года).

Стр. 6. *...были когда-то «реестровыми» казаками* .— «Реестровые» казаки — войско из украинских казаков, принятых на военную службу польским правительством и внесенных в особый список — «реестр»; было учреждено в конце XVII века.

...исповедывали.. греко-униатскую веру.. — Уния — объединение православной и католической церквей под главенством папы, при сохранении православных обрядов, образовалась в конце XVI века на украинских землях, граничащих с Польшей.

Стр. 7. *тяжба.. из-за чинша...*— Чинш (польск.) — плата за бессрочную наследственную аренду.

Стр. 10. *.. не останется.. ни одного молодого человека к филипповкам...* Филипповки — филипповский, или рождественский, пост, после которого обычно игрались свадьбы.

Стр. 29. *Однодворцы* — мелкие служилые дворяне, владевшие лишь одним двором и облагавшиеся податью наравне с крестьянами.

Стр. 36. *..если бы за него не платили от Тамани-холла.*—

Т а м а н и-х о л л — политическая организация, влиявшая на ход и результаты выборов в государственные и муниципальные органы США путем использования незаконных средств.

Стр. 47. *Конгрегешен* (англ.) — религиозная община, церковь.

Стр. 59. *...о том, как двое молодых людей пришли в Содом к Лоту и как жители города захотели взять их к себе.* — В сознании Матвея Америка ассоциируется с библейским городом Содомом, жители которого погрязли в грехах и разврате, за что бог покарал их, и город был разрушен огненным дождем и землетрясением; лишь добродетельному Лоту удалось спастись.

Стр. 83. *Духоборы* — одна из религиозных сект, не признававшихся официальной православной церковью и преследовавшихся в России.

Стр. 96. *Тамбур-мажор* (франц.) — старший барабанщик.

Стр. 105. *...достопочтенного реверенд-Джонса...* — Р е в е р е н д (англ.) — преподобный, то есть служитель культа, священник.

Стр. 117. *суровый квакер...* — К в а к е р ы — религиозная секта, отличавшаяся строгими моральными требованиями, аскетизмом.

Стр. 124. *...из секты Лео Толстого...* — то есть толстовец, последователь нравственного учения Л. Н. Толстого, одно из требований которого — так называемое «опрощение», участие в «мужицком», земледельческом труде.

ФАБРИКА СМЕРТИ

Впервые — в «Самарской газете», 1896, №№ 11 и 12.

Очерк построен на впечатлениях Короленко от посещения Чикагской бойни. Об этом посещении писатель рассказал в подробном письме к жене, Е. С. Короленко, от 18—19/30—31 августа 1893 года. Это письмо, в сущности, и является первоначальным наброском рассказа.

Стр. 147. *Пульмановский городок, где пьют кровь из людей..* — Имеются в виду заводы Пульмановской вагоностроительной компании, безжалостно эксплуатировавшей рабочих.

Стр. 149. *Множество лошадей коу-бойсов...* — К о у - б о й с ы (англ.) — пастухи, ковбои.

...в виде... полстей.. — П о л с т ь — покрывало для ног седока в экипаже, сделанное из шкуры животного.

Стр. 156. *Шаспо* — ружье, названное по имени изобретателя — французского оружейника Шасспо.

Впервые — в журнале «Северный 1886, № 10. Написан в 1886 году.

Рассказ носит полемический характер. Проникнутый духом свободы и борьбы с насилием, он направлен против распространившихся к середине 80-х годов в народнических кругах тенденций отхода от освободительной борьбы, забвения революционных традиций 70-х годов.

«. В лице «Русского богатства» народничество вопиет о «непротивлении». В лице «Недели»... шлет проклятия конституции и стоит за самодержавие...»— записывает Короленко в своем дневнике 24 октября 1888 года (В. Г. Короленко. Дневник, т. I, ГИЗ Украины, 1925, стр. 175).

В рассказе слышится и прямой спор автора с толстовской проповедью «непротивления злу насилием», захватившей в те годы часть русской интеллигенции.

Короленко, «бойцу по натуре», как сказал о нем один из его современников, знавшему, что такое гнев и ярость, страстному общественному деятелю, всю свою жизнь боровшемуся со всякого рода проявлениями несправедливости и насилия, были органически чужды непротивленческие идеи Л. Толстого.

«Сила руки — зло, когда она подымается для грабежа и обиды слабейшего, когда же она поднята для труда и защиты ближнего—она добро... Огонь не тушат огнем, а воду не заливают водой. Это правда. Но камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу — силой...»— этим идеям, высказанным в рассказе устами Менахема, Короленко остался верен до конца жизни.

Стр. 158. *Ликторские пучки* — пучки прутьев (т. н. фасцы) с воткнутыми в них секирами, которые несли ликторы — почетная охрана высших сановников в Древнем Риме.

Стр. 159. *Волчец* — колючий сорняк.

Стр. 160. *После кесарей Юлия и Августа воцарился свирепый Тиверий, а за ним — Кай... после слабоумного Клавдия,— жесточайший из людей Нерон...* — Имеются в виду римские императоры: Август (27 до н. э.— 14 н. э.), Тиверий (14—37 н. э.), Кай (Калигула) (37—41 н. э.), Клавдий (41—54 н. э.), Нерон (54—68 н. э.).

Стр. 161. *Праздник опресноков* — еврейская пасха. Опресноки — лепешки из пресного теста — пасхальная еда.

Стр. 163. *..не походил... на гордых фарисеев, ни на смиренных ессеев, ни на саддукеев...* — Фарисеи, ессеи, саддукеи —

представители различных религиозно-политических партий у древних евреев.

Стр 167. *..бросились через Везефу...* — **Везефа** — гора, которой проходила часть городской стены Иерусалима.

Стр. 171. *Закон Моисея* — **Моисей** — библейский пророк, которому приписывается авторство еврейского законодательства.

Стр. 173. *Рабби* (евр.) — учитель.

ТЕНИ

Впервые — в журнале «Русская мысль», 1891, № 12.

Рассказ в его первоначальной редакции, под названием «Тени богов», был написан осенью 1889 года в Крыму.

Работа над произведением продолжалась и в последующие два года вплоть до опубликования его в печати.

Глубокие философские проблемы истинной ценности человеческого существования, жизни и смерти, веры и безверия, поставленные в «Тенях», давно и мучительно волновали Короленко. Так, в 1887 году он пытается решить их в оставшемся незаконченным рассказе «Чужой мальчик» (опубликован в томе XV Полного посмертного собрания сочинений В Г Короленко, ГИЗ Украины, 1923, стр. 100—124).

В период работы над рассказом Короленко занимался изучением греческой истории и философии. В дневнике писателя за 1889 год находим записи из сочинений Ксенофонта; начальные страницы черновика рассказа заполнены выписками из сочинений Платона, главным образом его сократических диалогов. Из Платона он заимствует отдельные детали, образы, характеристики, например, сравнения Сократа с оводом, жалящим совесть своих сограждан, и с рыбой торпиль, приводящей человека в оцепенение; разговор Сократа с Критоном о побеге из тюрьмы, характеристику Ктезиппа и т. д. (Г. А. **Бялый**. В. Г. Короленко. ГИХЛ, М.-Л., 1949, стр. 174).

Однако Короленко не ставил перед собой задачи точного воспроизведения фактов греческой истории или философско-политических идей Сократа. «Тени» — отражение его собственных исканий и размышлений, что обусловило и довольно заметные отступления от источников.

Несомненно, что художественному оформлению рассказа способствовали южные впечатления Короленко: в Крыму он находит следы и воспоминания о классической древности; величественные картины крымской природы служат ему прекрасной натурой для создания фона в рассказе.

Интересен отзыв о «Тенях» И. Е. Репина: «Какая гениальная вещь его «Тени»... Удивительно, непостижимо! Как мог он так близко подойти к святая святых язычества!..» (И. Е. Репин. Письмо к К. И. Чуковскому от 31 января 1926 года.— К. Чуковский. Собр. соч. в шести томах, т. 2, М., 1965, стр. 122).

Стр. 180. *...постановили смертный приговор философу Сократу...*— Сократ (р. ок. 469— ум. 399 до н. э.) — древнегреческий философ, выступивший в Афинах с устным изложением своего учения и объединивший вокруг себя многочисленную группу учеников. Общий критический дух воззрений Сократа сделал его проповеди опасными в глазах правителей Афин. Он был привлечен к суду и приговорен к смертной казни. Умер, выпив куб›к яда.

Стр. 181. *...делил он с ними при Потидее труды и опасности...*— Потидея — колония в южной части Македонии, с которой афиняне вели войну, принуждая ее вступить в Афинский союз.

...пурпуровые паруса острогрудого корабля делосских празднеств. — Делос — небольшой остров в Эгейском море, считавшийся у древних греков священным. Здесь находился храм Аполлона, в честь которого на острове ежегодно устраивались празднества.

Стр. 182. *...восхваляя мудрость демоса и гелиастов...* — Демос — народные массы в государствах Древней Греции. Гелиасты — члены афинского суда присяжных — гелиэи.

...убежит от цикуты к варварам... — Цикута — сильнодействующий яд. В Древней Греции его давали выпить приговоренным к смертной казни. Варварами древние греки называли соседние с ними племена и различные народы Азии.

Мина — крупная денежная единица в Древней Греции.

Стр. 183. *Эриннии* — в древнегреческой мифологии — богини мщения.

Стр. 184. *Листьям в дубраве подобны сыны человеков...* и т. д.— из «Илиады» Гомера (шестая книга, стихи 146—149, перевод Н. И Гнедича).

Стр. 185. *Дочери Нерея* — в древнегреческой мифологии — нимфы моря. *Нерей* — древнее морское божество.

Стр. 187. *Пан* — в древнегреческой мифологии — бог и рощ.

Стр. 188. *...нет ни дороги, ни герма* . — Гермы (греч.) — столбы с изображением бога путников и дорог Гермеса. Гермы ставились на дорогах через каждую тысячу пар шагов.

Стр. 189. *Орк* — римское божество смерти, доставлявшее тени людей в подземное царство.

Стр. 191. *Парки* — в древнегреческой мифологии — богини человеческой судьбы.

Стр. 192. *Гекатомба* (греч.) — жертвоприношение из ста быков (или иных животных).

Стр. 195. *Перикл* (р. ок. 490 — ум. 429 до н. э.) — один из талантливейших государственных деятелей древних Афин, полководец, политик, оратор

Стр. 196. *Кронид* (Зевс) — в древнегреческой мифологии — верховный бог, царь и отец богов и людей. Постоянное местопребывание Зевса — гора Олимп.

Стр. 204. *..как будто эгид выпал из ослабевшей руки громовержца* — Эгид (эгида) — в древнегреческой мифологии — один из атрибутов Зевса — щит, потрясая которым он наводит страх на врагов.

«НЕОБХОДИМОСТЬ»

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1898, № 11.

На черновике рассказа проставлены даты: «Ноябрь 1894», ниже· «Сент. 1898».

Замысел рассказа возник еще в 1880 году. В одной из тетрадей Короленко сохранился набросок этого рассказа (опубликован в томе XXI Полного посмертного собрания сочинений В. Г. Короленко, ГИЗ Украины, 1924, стр. 135). В нем иронически повествуется о «мудром и богобоязненном факире», который приходит к тем же выводам относительно роли необходимости в жизни человека, что и старцы Дарну и Пурана из рассказа «Необходимость»: «..Что бы я ни сделал — все согласно с верховной волей...»

Стр. 208. *...не было браминов, более мудрых, чем Дарну и Пурана.* — Брамины — каста жрецов в Индии, почитающаяся как избранники бога (Брамы).

Шастры — в индийской литературе — книги с признанным авторитетом, чаще всего сборники законов.

...никто не погружался глубже в древнюю мудрость вед. — Веды — священные книги древних индусов, представляющие собрание гимнов, богослужебных формул и объяснений к разным особенностям религиозного ритуала.

Стр. 219. *...Дарну, стоявший на самом пороге Нирваны..* — Нирвана — в древнеиндийской религии — высшее состояние человеческой души, характеризуемое абсолютным спокойствием, отсутствием всяких страстей и эгоистических стремлений.

МГНОВЕНИЕ

Впервые — в газете «Волжский вестник», 1886, № 286, под названием «Море». Впоследствии Короленко существенно переработал рассказ и в 1900 году напечатал его в новой редакции в сборнике «На славном посту» под измененным названием «Мгновение».

Этот аллегорический этюд, воспевающий романтику борьбы, проникнутый предчувствием освободительной бури, был широко известен в среде передовых русских читателей.

Ф. Д. Батюшков, вспоминая о том впечатлении, какое произвел на русскую публику очерк Короленко «Огоньки», замечает: «...Короленко чутьем угадал настроение огромной массы русских интеллигентов... В тоне настроения того времени был и его другой очерк, «Мгновение»... (Ф. Д. Батюшков. В. Г Короленко как человек и писатель. «Задруга», М., 1922, стр. 94).

Стр. 225. *Инсургент и флибустьер.* — Инсургент — повстанец, участник вооруженного восстания против правительства Флибустьеры — морские пираты, объединенные в особые организации и боровшиеся в XVII веке с испанским колониальным владычеством.

Стр. 227. *Мониторы* — военные корабли.

В КРЫМУ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1907, № 11, под названием «Из рассказов о встречных людях».

Рассказ написан на материале наблюдений и встреч Короленко во время поездки в Крым, предпринятой им осенью 1889 года. Тогда же в письмах к жене, Е. С. Короленко, он подробно рассказывал о своих впечатлениях, рассматривая, по-видимому, эти письма как первоначальные наброски будущих произведений. «Когда приеду,— писал он 25 августа 1889 года,— буду по письмам освежать свои воспоминания о путешествии». В письме от 29 сентября из Карабаха (под Алуштой) Короленко передал то ощущение, которое вызвал у него Крым и с описания которого начина-

ется первая часть рассказа — «Емельян». «Крым, — сказано в письме, — производил на меня впечатление какой-то пустыни, красивой рамки, без картины, впечатление пейзажей, которые очень нравились, но в которых я не замечал совсем человека и его жизни». Канва второй части рассказа — «Рыбалка Нечипор» — намечена в письме от 1 сентября 1889 года.

«В Крыму» — рассказ, проникнутый одним настроением, одной мыслью, тесно связывающей его с рассказом «Над лиманом»,— мыслью о неустанных, но трагически бесплодных попытках человека из народа найти свое счастье.

Стр. 233. *...храм, где была жрицей Ифигения.* — Речь идет о древнегреческом мифе, положенном в основу трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде». Ифигения была жрицей храма богини-охотницы Артемиды в Тавриде (Крыму). Ее брат Орест должен был, по повелению бога Аполлона, похитить из храма священное изображение Артемиды. Племя тавров приносило перед этим изображением в жертву чужеземцев. Такая участь грозила и Оресту, но он был спасен Ифигенией и вместе с нею бежал в Грецию.

Стр. 241. *...потом стали звать Гайдамакою...* — В XVII—XVIII веках «гайдамак» — украинский казак-повстанец.

Стр. 242. *Калым* — выкуп, вносимый женихом родителям невесты.

Стр. 245. *Шопенгауэр какой-то...* — Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ, согласно учению которого познание ведет к безразличию и аскетизму.

Стр. 250. *...люди в фесках...* — Феска — турецкий головной убор — шапочка в виде усеченного конуса.

НАД ЛИМАНОМ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1897, № 11, с подзаголовком «Из записной книжки путешественника».

«Над лиманом» — первое произведение Короленко, посвященное Румынии. Написано в июле — августе 1897 года в Тульче.

В первый раз Короленко оказался в Румынии в сентябре 1893 года, на обратном пути из Америки. 14 сентября в Париже он получил известие о смерти дочери Лены, проводившей лето у родственников Короленко — Малышевых, в Саратовской губернии. Он должен был сообщить эту горестную весть жене, гостившей в Тульче, в румынской Добрудже, у брата — В. С. Ивановского (см. о нем в прим. к циклу «Наши на Дунае»). Хотя первое пребыва-

ние Короленко в Румынии было недолгим (около месяца), он все же посетил ряд мест, где селились «липоване» — русские старообрядцы, бежавшие некогда из России в поисках «воли» в южные степи, в пустынные места по берегам Черного моря.

Вторично Короленко посетил Румынию летом 1897 года. На этот раз он много путешествовал по Добрудже, вновь побывал в «липованском» селе Сарыкиой, ездил в старообрядческие монастыри, на рыбные промыслы в Кытерлезе. Впечатления от этих поездок Короленко подробно заносил в дневник и записные книжки (см. «Дневник», т. III, ГИЗ Украины, 1927; «Записные книжки (1880—1900)», М., ГИХЛ, 1935).

Как и во многих других произведениях Короленко, в центре рассказа оказываются «искатели» из народа, упорно, но трагически безнадежно ищущие счастья и правды. «Есть... правильный-то закон господень,— говорит старик-крестьянин.— Ударил гдей-то, как шнур. Прямо, правильно! Да мы-то вот, шукаем его да блукаем, как слепые, найти не можем».

Эту особенность взгляда Короленко на «мужика» — внимание к «подспудной, но неустанной мысли» народа — отмечала современная писателю критика (см., например, Ф. Д. Батюшков. Критические очерки и заметки о современниках, ч. 2, СПб., 1902, стр. 33).

В рассказе появляется и еще одна тема, ставшая центральной в цикле «Наши на Дунае»,— столкновение крестьянского «мира» с буржуазным государством.

Стр. 267. *Белокриницкая и беспопская... беглого священства...*— различные религиозные секты, первая называлась еще австрийской («астрицкой»), так как ее центр — Белая Криница — находился на территории тогдашней Австро-Венгерской империи.

...на турецкой магале...— Магала́ — предместье.

Стр. 272. *Ехвендий* (эфенди) (турецк.) — господин.

Каймакан (правильнее — каймакам) (турецк.) — начальник уезда.

Заптии (турецк.) — жандармы.

Калавуры — караулы.

Стр. 290. *Молокане* — одна из религиозных сект, отрицавших обряды официальной церкви.

Пресвитер — священник.

Мосон.— Масон, или франкмасон, т. е. свободный каменщик (франц.) — последователь масонства, религиозно-политического движения, возникшего в XVIII веке.

Стр. 291. *...что такое спиритизьма..* — Спиритизм — учение о возможности общения с потусторонним миром.

Стр. 298. *...к багаджию* — виноградарю (искаж. турецк.).

Стр. 300. *Миро* — благовонное вещество, употребляемое в христианских обрядах.

НАШИ НА ДУНАЕ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1909, № 12.

Черновые наброски цикла «Наши на Дунае» относятся к 1897 году, времени вторичного пребывания Короленко в Румынии. Основной жизненный материал, легший в основу цикла, собран писателем именно в летние месяцы этого года, о чем свидетельствует записная книжка Короленко, где подробно описана, например, поездка с хохлом Лукою и румынским социалистом Стерианом (прототипом Катриана) в липованское село «Русская Слава». 9 января 1910 года, вскоре после публикации очерков «Наши на Дунае», Короленко писал о них П. С. Ивановской: «Многое из описанного взято с натуры, кое-что и придумано. «Ходоки» к доктору действительно приходили, и в «Русскую Славу» мы с Стерианом ездили как раз по этому поводу. Разговор Луки с Катрианом (Стериан в действительности) о крещении в жидовскую или в турецкую веру происходил, и Лука гнал его по этому поводу из каруцы Только мне удалось ссору прекратить ранее».

Завершен цикл был уже в 1909 году, после еще трех посещений писателем Румынии, когда его интерес к этой стране углубился и обогатился, в частности, в результате общения с такими представителями русской эмиграции, натурализовавшимися в Румынии, как «русский доктор» Петр Александров (изображен в «Наши на Дунае» под именем Александра Петровича) — Василий Семенович Ивановский (1845—1911), активный участник народнического движения 70-х годов, шурин писателя, и Константин Доброджану-Геря (С. Кац, 1855—1920) — видный деятель румынской социал-демократии, литературный критик и публицист. 25 января 1904 года Короленко писал Доброджану-Гере: «Мне очень интересно все, что у вас там делается, тем более что когда-нибудь я все-таки напишу о Румынии».

Уже в очерках «Над лиманом» была намечена тема столкновения старого общественно-бытового уклада и религиозного миросозерцания крестьян-старообрядцев с новым общественно-политичес-

ким строем — буржуазным. Румыния представлялась писателю крестьянской страной, вступившей на новый, буржуазный путь,—и в этом ее сходство с Россией. «Румыния — страна противоречий и неожиданностей. Наряду со свободнейшей конституцией деревенская масса, темная и забитая, от которой, как от ледяной глыбы, веет на всю страну темнотой и бесправием».

В очерках «Наши на Дунае» появляется еще одна общественная сила — рабочий класс и его представитель — социалист Катриан. В центре очерков стоят две контрастирующие фигуры —патриархальный крестьянин и рабочий-социалист. Композиционный узел цикла — столкновение Луки и Катриана, вызванное их несовместимыми моральными представлениями. По этому поводу Короленко замечает в «Записной книжке». «Лука и социалист. Бездна отделяет деревенское миросозерцание от городского» («Записные книжки», стр. 327). В самих очерках находим следующее сопоставление. «В фигуре Луки чувствуется быт, по которому тяжело прошли вековые перемены. Фигура Катриана вся — сегодняшний, может быть — завтрашний день».

Короленко не считал свою работу над циклом «Наши на Дунае» завершенной. В последних его строках писатель обещает вернуться к трагической истории Луки. «Очень мне хочется написать еще несколько очерков из того же самого быта, — писал Короленко в уже цитировавшемся письме к П. С. Ивановской от 9 января 1910 года.— Один из первых был бы «Лука и Марица», то есть та девушка, которую он ударил кнутом. Этот эпизод тоже выдуман, но бедный Лукаш действительно погиб из-за девушки. А жену любил горячо и искренно. Вот мне и хочется изобразить эту трагическую борьбу сильной плоти с «духом». Лука считает, что он околдован... Таких вещей я еще не писал и удастся ли — не знаю». Это намерение писателя осталось неосуществленным.

Стр. 305. *Домну докторе* (рум.) — господин доктор.

Стр. 308. *Функционар* (рум.) — чиновник.

Стр. 316. *...над «чайником» (ceaпіcu) болгарина Николая...*— «Чайник» — здесь: чайная, трактир.

Стр. 325. *«Биржар»* — извозчик.

Стр. 334. *Проприетары* (рум.) — собственники.

Стр. 341. *Аскульта* (рум.) — послушай.

Стр. 344. *Пенитенциар* (рум.) — тюрьма.

Стр. 346. *...астрицкие... беспопские...*— см. прим. к стр. 267.

Стр. 361. *...Высокая Порта навязывала балканским народностям даже князей из фанариотов.* — Высокая Порта — официальное наименование правительства в султанской Турции. Фа-

нариоты — греки, занимавшие видные административные посты в турецкой империи.

НИРВАНА

Впервые — в Полном собрании сочинений, изд. А. Ф. Маркса, СПб., 1914, т. 6.

20 мая 1897 года Короленко записал в дневнике: «Утром поездка в Кытерлез с греком Яни. Путь по самому берегу моря. День в Кытерлезе» («Дневник», т. III, ГИЗ Украины, 1927, стр. 300). Однако лишь через много лет это далекое воспоминание приобрело форму замечательного философско-лирического «стихотворения в прозе», завершившего ряд произведений Короленко, вызванных его румынскими впечатлениями. И здесь главная тема писателя — историческая жизнь народа, народная поэзия как память о многовековом прошлом, как воплощение народного миросозерцания и идеалов.

Стр. 366. *Нирвана* — см. прим. к стр. 219.

Стр. 367. *Сулин... porto-franko* — порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров.

Стр. 369. *...легендарный корабль аргонавтов...*— Древнегреческий миф повествует об аргонавтах, моряках с корабля «Арго», отправившихся из Греции в далекую Колхиду (так называли греки Черноморское побережье Кавказа) за «золотым руном» — шерстью волшебного золотого барана.

..*скиталец Одиссей* — герой «Одиссеи», древнегреческой эпической поэмы Гомера.

...изгнанник цезарского Рима Овидий... — Публий Овидий Назон (43 до н. э.— 17 н. э.) — поэт, сосланный из Рима в г. Томы (ныне — Констанца) императором (цезарем) Августом.

ПЛЕННЫЕ

Впервые — в журнале «Русские записки» («Русское богатство»), 1917, № 2—3.

Начавшаяся летом 1914 года 1-я мировая война застала Короленко во Франции. Он жил в это время в пригороде Тулузы, местечке Ларденн, где завершал работу над Полным собранием сочинений, издававшимся А. Ф. Марксом в 1914 году. 21 января/3 февраля 1915 года он пишет П. С. Ивановской: «Пытаюсь кое-что сказать о происходящем...». Среди этих новых работ о «текущих событиях» было, по-видимому, и незаконченное

произведение под названием «Мысли и впечатления. Перед пожаром», в которое как отдельная глава входило описание эпизода с немецкими военнопленными. Позднее, уже вернувшись в Россию, Короленко выделил этот эпизод и разработал его в беллетристическом «наброске с натуры», об окончании которого («сейчас закончил») он сообщил П. С. Ивановской 13 февраля 1917 года: «Писал я это с большим захватом и чувствую, что удалось сказать то, что хотел» (письмо к П. С. Ивановской от 16 февраля 1917 года).

Произведя некоторую дополнительную правку, Короленко включил рассказ в не вышедший из печати 10-й том Полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1918, по тексту которого рассказ и печатается в настоящем издании.

С Селиванова, К. Тюнькин

ПОПРАВКА

В 3-м томе настоящего издания в части тиража на странице 32 последнюю строку следует читать:

сияла золотая риза и голова богоматери склонялась темным пят-

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

В. Г. КОРОЛЕНКО.
Собрание сочинений
в шести томах.
Том IV.

Редакторы тома
К. И Тюнькин
и
С. Д. Селиванова.

Оформление художника
Р. Г Алеева

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 16/X 1970 г.
Подписано к печати 7/V 1971 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108 1/32.
Объем 21,42 усл печ. л. 21,63 уч.-изд. л.
Тираж 375 000 экз. Изд № 868. Зак. № 3042.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А 47, ГСП,
улица «Правды», 24.

Индекс 70679

90 коп.